Тим Скоренко
ЛЕГЕНДЫ НЕИЗВЕСТНОЙ
АМЕРИКИ
Нереальная проза

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Великий автогонщик Рэд Байрон и прекрасные сёстры Сазерленд, скрывающийся от правосудия нацистский преступник и слепоглухонемая девушка, первое посольство США в Москве и военные действия в китайском Нанкине, провинциальные гангстеры 30-х и диковинный паровоз инженера Холмана. Казалось бы, между героями и реалиями этой книги нет ничего общего: многие из них вымышлены, иные же существовали на самом деле, реальность смешивается с фантазией, XVIII век мерно перетекает в XXI…

Удивительные истории, захватывающие сюжеты, живые легенды, сплетающиеся на страницах романа, охватывают значительный временной период, и единственное, что их объединяет,- это то, что все они могли произойти на самом деле. Или - пусть остаётся крошечная вероятность! - на самом деле произошли. Это книга о сильных людях. Возраст, болезнь, гримаса судьбы - еще один залог их силы.

- Предисловие составителя
- Россия, тридцать шестой
- Последняя гонка Рэда Байрона
- Ковёр из женских волос
- Шкатулка с пряностями
- Офицеры рейха
- Наследие мистера Джеймса
- Господин Одиночество
- Хитроумный Холман
- Окно на шестом этаже
- Монолог охотника за привидениями
- Вэрик
- Несгибаемые
- Фотограф
- Возвращение в Нанкин
- Магистрал. Женщина на ростре
- Авторские комментарии к новеллам

Предисловие составителя

Меня зовут Джеймс Хьюстон. Я старик, глубокий старик. У меня есть дом, пенсия и потрёпанный «Понтиак», на котором я выезжаю в город за покупками. Я не нажил друзей и врагов, у меня никогда не было семьи, я легко расставался с теми, кто мог бы стать частью меня.

Но есть у меня кое-что другое. Моисей ходил по равнине сорок лет. Я ездил по Америке — пятьдесят. За полвека я собрал сотни историй. Их рассказывали мужчины и женщины, дети и старики, доктора наук и подсобные рабочие. Я собирал эти истории, обрабатывал, располагал в хронологическом порядке и хранил. В принципе, этот труд ещё не окончен, но я посчитал нужным отобрать четырнадцать историй, которые запомнились более всего, — и поместил их в эту книгу.

Они разные. Действующие лица большинства историй — известные люди. Великий автогонщик Рэд Байрон, журналистка Айрис Чан, семь сестёр Сазерленд, изобретатель Холман и многие другие существовали на самом деле и обрели славу ещё при жизни. Вы можете найти их биографии в различных справочниках и энциклопедиях. Некоторые истории совершенно нереальны: скорее всего, рассказчики их просто выдумали.

Собирая все эти истории, я руководствовался одним-единственным принципом. Я хотел показать вам настоящую Америку. Не ту, что вы видите в кино. Не ту, о которой читаете в детективах. Не ту, о которой вам рассказывают в новостях.

Поверьте мне, Америка — совсем другая. Когда-то в ней жили — да и теперь встречаются — смелые, сильные и благородные люди. Они не боялись войти в огонь, чтобы спасти друга, они всегда были готовы к авантюрам, они умели жить на полную катушку, на максимальной скорости, потому что не хотели жить иначе.

Я люблю эту страну. И хочу, чтобы вы хотя бы на время прочтения попытались посмотреть на Америку моими глазами. На мою, неизвестную вам Америку.

Россия, тридцать шестой

Меня зовут Джедедайя Джонсон. Мне нечего бояться. Времена, когда моё имя могло мне повредить, давно прошли; сегодня я — никому не нужный старик на окраине империи. Впрочем, современная империя ни в чём не сравнится с той, которую я застал пятьдесят лет назад.

Мой отец двояко относился к собственной фамилии. С одной стороны, он гордился ею и частенько начинал очередную фразу словами «мы, Джонсоны…». С другой стороны, он стеснялся обыденности этой фамилии, её распространённости. И поэтому наградил меня достаточно редким именем. Я благодарен ему: когда я учился в школе, в моём классе было одиннадцать Джонов. А Джедедайя — один.

Но моя история не об этом. Моя история — о человеке по имени Андрей Кульковский, моём друге. Я горд тем, что могу написать о нём «мой друг» и при этом не покривить душой. Я никогда не встречал подобных ему людей на своей родине, в Соединённых Штатах. Не подумайте плохого, я люблю свою страну. Но мы начинали мельчать уже тогда, в тридцатые, нас подкосила Великая депрессия и дешёвые сигареты, мы стали пустым местом на карте. А они… Они тогда были сильнее нас. И сейчас они — сильнее нас.

Я снова отвлекаюсь. Мне можно простить, я надеюсь. Восемьдесят девять лет — немало.

Осенью 1933 года в Соединённые Штаты приехал Максим Литвинов, министр иностранных дел СССР. Насколько я помню, у них это называлось не министерство, а народный комиссариат, хотя мне привычнее говорить «министерство». Гораздо позже я узнал, что человека с русской фамилией Литвинов на самом деле звали Меер-Генох Валлах, и он был чистокровным евреем. Я, американец, могу сказать вам: быть евреем трудно даже здесь, в США. В СССР, насколько я знаю, это было просто невозможно.

Литвинов был неприятным, полным, под шестьдесят лет человеком с туповатым взглядом. Таким он мне показался во время нашей первой встречи в тридцать третьем. Но с Рузвельтом он беседовал за закрытыми дверями, и итогом этой беседы стало соглашение о сотрудничестве двух великих держав. Впрочем, я не думаю, что в этом была заслуга русского министра. Рузвельт никогда не скрывал, что рассматривает Советский Союз в качестве огромного рынка. Впоследствии он воспользовался этим

рынком в полной мере, поставляя технику и товары по ленд-лизу, но это уже совсем другая история.

В том же году начали спешно готовить группу, должную стать посольством США в Москве. Послом был назначен Вилли Буллит, худой, загорелый, лысоватый, необыкновенно умный человек, который умел говорить любую чушь так, что ему безоговорочно верили.

Как раз тогда мне исполнилось сорок три. Я был уже не юн, но больших успехов в жизни не добился. Единственное, к чему у меня был талант, так это к языкам. Я свободно говорил по-французски, по-итальянски, по-испански, а также по-русски и по-польски (особенно трудно мне дался последний). Буллит знал меня как хорошего переводчика и пригласил в свою команду.

Мог ли я отказаться? Конечно, нет. Последнее американское посольство в России закрылось в 1919 году, и в течение четырнадцати лет отношения между нашими странами были очень напряжёнными. Какие-то отдельные американцы в СССР бывали, но средний гражданин США не мог и подумать о том, чтобы посетить эту огромную и страшную державу. И я схватился за такую возможность. Побывать в СССР, чтобы потом вернуться и всем рассказывать о нём.

Кстати, тогда Сталин ещё не был столь легендарной фигурой, как сейчас. К тому времени он находился у власти всего лишь девять лет (или около того — я до сих пор не могу понять, кто правил страной в последние два года жизни Ленина) и не успел создать вокруг себя ореол страха.

В общем, в декабре 1933 года мы отправились в неизведанное. Каждый представитель делегации воспринимал это плавание по-своему. Буллит был весел и хладнокровен — его ничто не могло пробить, тем более он уже бывал в Союзе на ответных переговорах, связанных с организацией посольства. Мартин Гэбриэл почему-то боялся, что его в Советской России сразу убьют. Он был евреем, а слухи о невесёлой жизни евреев в СССР дошли и до наших ушей. Мы успокаивали Гэбриэла, мол, он же гражданин США, и для него никакой опасности нет. Лидс хотел взять с собой супругу, но они о чём-то повздорили и она отказалась ехать, поэтому Лидс был в гнусном настроении. Некоторые, напротив, радовались поездке в Москву.

Буллита поселили в старинном особняке Второва, или Спасо-Хаусе; там же жили ещё некоторые члены миссии, в том числе личный переводчик Буллита Чарли Тейер. Но в Спасо-Хаусе по-прежнему квартировались обычные советские граждане, которые принимали весть о своём выселении крайне неохотно. В течение всего 1934 года Спасо-Хаус был, скорее, Спасо-Хаосом — он

одновременно выполнял функции посольства, гостиницы, жилого дома, там постоянно не было воды, а телефон ни дня не работал по-человечески. Буллит всё ожидал, что для американского посольства будет построено отдельное здание, но так и не дождался.

Нас, рядовых сотрудников, разместили в гостиницах или на квартирах в самом центре города. Большинство поселили в старом доме, выходящем окнами на одну из маленьких московских улочек. Особенно я любил гулять по центральным переулкам зимой, вдыхать морозный воздух и говорить себе: я в Москве, в России, — и при этом не верить собственным словам.

В этом же доме жили несколько чиновников из коммунистической партии, а также обычные граждане. Позже мне объяснили, что обычных граждан рядом с иностранцами быть не может — конечно, все они были сотрудниками соответствующих органов, наблюдателями. Но, честно говоря, ни разу за всё время проживания на квартире я не почувствовал напряжения. Они приходили к нам в гости с домашними огурчиками и вареньем, шёпотом рассказывали околополитические анекдоты и сетовали на то, что в магазинах не хватает тех или иных продуктов.

Примерно в то же время я с удивлением узнал, что ещё в начале 1933 года в стране буйствовал голод. Хлеба не было, не было ничего, люди напоминали узников немецких концлагерей (конечно, никаких лагерей тогда ещё не было, но сейчас это сравнение кажется мне наилучшим), село вымирало. Тогда я так и не понял причин голода. Советский Союз представлялся мне огромной житницей — его полей и лугов хватило бы, чтобы накормить весь мир и ещё отложить на чёрный день.

Надо сказать, что и в 1934 году жизнь была не слишком сытой. У нас было вдоволь всего — хлеба, масла, мяса, молока, шоколада; более того, нам поставляли продукты зарубежного производства, а одежду мы получали из США. Простой советский человек жил нище. Продукты нельзя было купить, только получить по продовольственным карточкам; рабочим полагалась в месяц такая порция, которой мне хватило бы едва ли на неделю.

Ладно, не буду дальше расписывать ужасы советского быта. Потому что на самом-то деле это были весёлые, неунывающие, приятные люди, которые не сдавались, а жили так, как умели.

***

Квартира, которую выделили мне, была трёхкомнатной, с высоченными, за двенадцать футов, потолками. Прогреть её было совершенно невозможно, хотя дрова нам поставляли исправно (как прогревали свои квартиры простые люди, я не понимаю до

сих пор). Насколько я знал, в городе царствовало уплотнение: люди жили по трое-четверо в комнате; в моём же распоряжении была целая квартира.

Нам рекомендовали не ходить по городу без сопровождения, хотя в теории американский гражданин мог свободно посещать любые районы Москвы и смотреть на обыденную жизнь советских граждан. Как раз в это время производился массовый перевод на паспортную систему учёта населения; кто раньше был записан разве что в церковно-приходской книге (это условное обозначение — я вообще не знаю, как учитывали граждан в Союзе до введения паспортов), тот получал документ, по которому приписывался к определённому месту жительства. Переезды с места на место стали затруднительны, особенно для крестьян, которые во время голода активно стекались в города. Веду я к тому, что документы проверяли на каждом углу. Мы не слишком опасались таких проверок. Даже если бы меня поймали в «неправильном» районе города, максимум что могли сделать — отправить под конвоем обратно в посольство или в квартиру. А вот непорядок с документами у советского гражданина мог привести к гораздо более неприятным последствиям.

Конечно, мы нарушали запреты. Мне было интересно всё. Кремль мы посещали достаточно часто (само посольство располагалось в двух шагах от Красной площади, на одной из улочек за Верхними торговыми рядами), храм Василия Блаженного и остальные достопримечательности центра порядком приелись, и нам было интересно посмотреть на настоящую Москву. Нищую, грязную, с громыхающими трамваями и покосившимися деревянными домишками.

К тому времени уже бурно строилось метро, но до его открытия оставалось около полугода (хотя обещали открыть ещё осенью 1934 года). А трамваи были везде. Порядка пятидесяти маршрутов покрывали весь город, даже в самый отдалённый район можно было добраться без серьёзных проблем.

Мы ездили обычно по два-три человека. В моей «тройке» были ещё Стив Уиллис, посольский фотограф, и Роберт Кауден, один из мелких секретарей. Теоретически за нами должен был приглядывать русский сотрудник, но мы умели обходиться без его «услуг». Я выходил якобы за дровами, Стив выбирался через окно двери заднего хода (сама дверь была забита), Роб забалтывал соглядатая и отправлял его за сигаретами. Где-то раз в неделю мы обязательно выбирались в город.

Я говорил по-русски почти без акцента. Тем не менее иностранца во мне распознавали сразу, даже если я молчал — по покрою одежды, манере держаться. Поэтому со временем я

обзавёлся советскими предметами быта — жутковатыми валенками с галошами, серым пиджаком из плохой ткани, штанами военного покроя. И, конечно, картузом. Выглядеть импозантно в Москве было не принято, лучше оставаться незаметным.

Март 1935 года был достаточно тёплым. Однажды я выбрался в город один, без сопровождения. К тому времени я отточил свой русский до такой степени, что мой акцент напоминал, скорее, неправильную речь жителя Дальнего Востока, а никак не американца. Я копировал повадки и одежду, внешний вид и даже взгляд советского человека. Так мимикрирует гусеница, чтобы стать похожей на веточку и не попасть на обед к птице. В том самом марте я и встретил Андрея Кульковского.

***

Собственно, слово «встретил» не очень подходит к обстоятельствам нашего знакомства. Андрея приставили ко мне после того, как мой куратор в очередной раз прокололся и упустил меня в городе. Я шёл впереди, куратор — футах в тридцати позади меня, а потом я увидел очередь и встал в неё. Куратор подождал, пока за мной накопится десяток человек, и тоже встал в очередь. Меня поражало то, что для советского человека было неважно, что дают. Очередь сразу вызывала желание в неё встать, а уж вопрос о том, что ожидает покупателя в конце, был вторичен. К марту уже отменили карточки на хлеб, крупу, часть мучных изделий, жить стало чуть проще (опять же, я говорю не о себе — у американцев было всё, что нужно). Я так и не узнал, за чем была очередь, — ни человек за мной, ни человек передо мной не могли сказать ничего путного. Но я каким-то образом сумел протолкнуться ближе к началу столпотворения, потом несколько раз мелькнул то слева, то справа от хвоста очереди, а потом пропал. В смысле, пропал для наблюдателя.

В тот день я поехал на Калужскую заставу. Туда можно было добраться на семёрке или двадцать шестом, мне попался последний. Близ Калужской заставы находился парк культуры и отдыха, который мне нравился. К середине марта деревья ещё не покрылись листвой, но птицы уже пели вовсю, а бесформенные пальто и ватники на девушках превращались в утеплённые, но уже подчёркивающие фигуры платья. Светило солнце, по парку гуляли парочки. Я провёл там около двух часов, попивая лимонад, взятый с собой из посольских запасов.

А когда я вернулся, оказалось, что моего куратора больше нет. У дверей квартиры меня ждала мрачная троица из наркомата по иностранным делам. Мы зашли в квартиру, и со мной долго и

серьёзно беседовали. В разговоре фигурировали такие словосочетания, как «не рекомендуется», «чревато дипломатическими проблемами», «навлекаете тень на отношения между нашими государствами» и так далее. Они предъявили мне бумаги, подписанные лично Крестинским, который тогда был первым заместителем наркома иностранных дел СССР. Позже, в тридцать восьмом, его арестовали и расстреляли, жену отправили в лагеря, а дочь — в ссылку. Но это было позже, а в начале тридцать пятого Крестинский был влиятельной персоной.

Сначала никто из троих «гостей» не представился. Через полчаса двое поднялись, а третий остался сидеть.

«А Андрей Васильевич временно поживёт у вас», — сказал один из уходящих.

Вот так запросто ко мне в квартиру подселили соглядатая.

Он занял комнату, самую близкую к выходу, и никогда не закрывался. Таким образом, пройти мимо него незамеченным было практически невозможно. Конечно, он отлучался по своим делам, но крайне редко — и в самое неудобное для меня время. Когда я работал целыми днями, я его не видел, а вот когда выпадал выходной, Андрей был тут как тут. У него получалось вести себя естественно, точно он не более чем мой сосед. С ним было легко разговаривать, он умело обходил запретные темы, зато результаты первенства СССР по футболу обсуждал с радостью и энтузиазмом. В 1933–1934 годах турниры не проходили ввиду сложного экономического положения и отсутствия организации; Андрей очень любил футбол и за два года перерыва заметно соскучился. Он болел за Москву и почему-то очень боялся успеха харьковской сборной, хотя единственным реальным соперником москвичей была ленинградская команда.

Собственно, в марте — апреле Андрей меня практически не стеснял, потому что работы было — выше крыши. На апрель был намечен серьёзный приём в Спасо-Хаусе, откуда, наконец-то, выселили всех не имеющих отношения к посольству людей и даже провели лёгкий ремонт. «Весенний фестиваль» прошёл 24 апреля 1935 года, и на нём присутствовали Ворошилов, Каганович, Радек, Бухарин, Будённый, Тухачевский. Мероприятие организовывал Чарли Тейер, он договорился с зоопарком об «аренде» множества певчих птиц, нескольких горных коз и медвежонка, а также установил в приёмном зале особняка Второва искусственный берёзовый лес. Приём прошёл на ура, только вот присутствие животных плачевно сказалось на состоянии особняка. В итоге Буллит заставил Тейера лично убирать отходы наряду с нанятыми уборщиками и дворниками. Самым комическим событием того вечера был момент, когда

медвежонка вырвало на мундир какого-то генерала, потому что неунывающий Радек подлил животному в молоко шампанское. Тут стоит заметить, что Радека убили в тюрьме в 1939 году — никого не щадила сталинская машина.

Ладно, я достаточно далеко ушёл от сути повествования, самое время к нему вернуться.

Присутствие Андрея я начал ощущать где-то с мая, когда наступило некоторое затишье в работе. Затишье длилось недолго, потому что в июле Коммунистическая партия СССР пригласила Компартию США на Седьмой конгресс Коминтерна в Москву. Буллит воспринял это как личное оскорбление: американская компартия была не в почёте у официальных властей. Кроме того, переговоры о выплате Союзом царских долгов тоже постепенно зашли в тупик. С конца лета отношение к американцам ухудшилось.

А мы с Андреем находили всё больше и больше общих тем. Он оказался прекрасным собеседником. Его интересовало всё. В какой-то мере он выполнял свою работу: выяснить как можно больше о главном идеологическом сопернике СССР. Он составлял отчёты о наших разговорах, аккуратно переплетал их и передавал куда-то наверх, в разведывательные службы (точнее я сказать не могу). Но, в принципе, я не знал ничего такого, что могло бы повредить моей стране. К тридцать пятому году она постепенно начала выползать из бездны Великой депрессии, но грабители были по-прежнему популярнее банкиров, а на улицах пели песни и выставляли транспаранты с именами Бонни и Клайда (их убили в тридцать четвёртом, я узнал об этом от Гэбриэла, их страстного поклонника).

Я рассказывал Андрею про наши магазины до и после депрессии (поверьте, между этими двумя рассказами — огромная разница), про толпы собирателей хлопка и мигрантов, про свежие модели «Форда», про рекламу на улицах, да про всё на свете. Он никогда не пытался выяснить ничего предосудительного, не спрашивал о вооружении или местоположении каких-либо государственных служб. Зато он часто переводил разговор на футбол. Про футбол в США я, честно говоря, не знал практически ничего. Я хорошо разбирался в бейсболе и прочитал Андрею несколько лекций на эту тему. А летом тридцать пятого мы ходили на матч между сборными Москвы и Ленинграда — мне понравилось. Впоследствии я увлёкся футболом и неоднократно посещал матчи уже по возвращении на родину.

Андрей пил. В общем-то, пили все. Это было нормально — не только для СССР, но и для нашей страны. Просто у нас пили по какой-то причине. Например, ушла жена или, наоборот,

встретилась новая любовь. А в СССР пили просто так — потому что нужно. Опять же, я хорошо понимал этих людей. Алкоголь часто был единственным выходом.

Пил Андрей традиционно — как сегодня показывают в наших кинофильмах. Водка, огурчик, помидорчик. Иногда — макароны. Он практически не пьянел, но становился откровеннее, свободнее. Говорил он тихо, нагибаясь ко мне; я терпел исходящий от него неприятный запах, потому что мне было интересно слушать.

«Тебе ничего не будет, Джед, — говорил он. — А меня заберут. Точно-точно, заберут. И Крестинского заберут, говорю. И Литвинова заберут. Только Микояна не заберут».

«Почему?» — спрашивал я.

«Потому что… тсс!» — отвечал он и пьяно болтал головой из стороны в сторону.

Насчёт Крестинского он не ошибся. А вот Литвинова так и не забрали. Он умер своей смертью в 1951 году. С ним я пересекался ещё не раз уже в Америке — во время мировой войны он был послом Союза в США.

Не думайте, что мы много говорили о политике. Это всё же была запретная тема. Но совсем не всплывать она не могла.

***

Как я уже упоминал, летом 1935 года отношение Буллита к советскому правительству начало стремительно ухудшаться. Он всё ещё пытался наладить отношения путём проведения на территории Спасо-Хауса музыкальных вечеров и званых приёмов, но для большой политики эти игрища были разменной монетой. Кстати, на одном из вечеров сам Прокофьев дирижировал оркестром, исполнявшим «Любовь к трём апельсинам» (вскоре после этого вечера Прокофьев окончательно вернулся в СССР из эмиграции).

У меня было довольно много работы, но зато я снова начал выбираться в город. Я гулял по московским паркам, особенно любил Воробьёвы горы. Я ехал на «семёрке» до станции Воробьёво, выходил и медленно шёл по тропинке, глядя на город с высоты. Андрей неизменно был со мной. Или шёл рядом, когда у меня была охота поговорить, или отставал на полсотни футов, когда мне хотелось побыть одному.

Во время одной из таких прогулок я встретил Лену. Она сидела на скамейке спиной к обрыву и смотрела на деревья. Шёл июль, было жарко, по тропинкам гуляли люди, а она сидела, и какая-то печаль была в её глазах, точно застарелое горе пытается вырваться из глубины, но не может. И я присел рядом. Андрей сел на соседнюю скамейку и демонстративно отвернулся.

Как он рассказал мне позже, в его обязанности входило пресечение контактов американцев с советскими женщинами. Но я к тому моменту стал для него в какой-то мере другом. Вообще, в нетрезвом состоянии Андрей однажды сказал, что он по меркам советского государства — «неблагонадёжный». Может, я — шпион, а он со мной пьёт и разговоры ведёт.

Сложно сказать, почему я сел рядом с Леной. Я даже не знал, хочу ли разговаривать с ней. На вид ей было лет тридцать пять (как выяснилось позже, я попал в точку), она была худенькой и усталой. Красивой её было никак не назвать, хотя в юности она наверняка казалась парням миленькой. Такие девушки провожают солдатиков на войну в патриотических фильмах.

«Добрый день», — сказал я.

Она наклонила голову, точно птичка, и кивнула в ответ. Я понял её мысль сразу: в наше время люди не знакомятся на улицах.

«Меня зовут Джед», — сказал я.

«Как?» — Она чуть нахмурилась.

«Я сотрудник американского посольства. Американец. Джедедайя Джонсон. Переводчик».

Тогда я думал, что она впервые видела настоящего иностранца. Но я ошибся. Она была дочерью зажиточного мещанина, и ещё до революции к ним в гости захаживали французы и англичане. Кое-кто даже просил её руки в шестнадцатом году, но февральские события полностью перевернули её жизнь.

«А я — Лена», — представилась она.

Надо сказать, что здесь поток моего красноречия истощился. Внешне я был так себе — полноватый, с намечающимися «бульдожьими щёчками», с тонкими светлыми волосами средней густоты, курносый. И вечный холостяк со всеми соответствующими замашками. Конечно, у меня были девушки в молодости, и даже невеста. Да и за тридцать я иногда заводил шашни с женщинами. Но всё равно опыт мой в этой области был весьма невелик.

И я молчал. Я сидел рядом с ней и молчал, как полный дурак.

«Что же вы молчите?» — спросила она.

Я улыбнулся.

«Не знаю, что сказать».

Она улыбнулась в ответ. Так мы и познакомились.

Сложно сказать, было ли у нас хоть что-то общее. Мы несколько раз ходили в кино. Кстати, походы в кино поощрялись: американские граждане могли видеть на экране, как хорошо, весело и богато на самом деле живут простые советские люди. На

«Весёлых ребят» нас водили несколько раз, официально, всем посольством. В 1935 году состоялся первый международный московский кинофестиваль, и до конца года крутили различные фильмы, премьеры которых прошли в его рамках. Конечно, лидировал «Чапаев», от которого было просто невозможно скрыться. Киноафиши были единственным видом рекламы, дозволенным в СССР, и героический взгляд советского полководца буравил меня практически с каждого столба — при том, что впервые «Чапаева» показали ещё осенью тридцать четвёртого.

Мы с Леной смотрели «Горячие денёчки», «Гибель сенсации», позже, зимой — «Сокровище погибшего корабля» и другие. В начале тридцать шестого, точно помню, ходили на «Космический рейс», который показался мне снятым отменно, даже при том, что американские фильмы на голову превосходили советские по уровню спецэффектов и драматики.

У работников посольства были и деньги, и возможность посещать рестораны, чем я активно пользовался в дни знакомства с Леной. Самое странное, что у меня не было цели уложить её в постель, как обычно происходило с женщинами на моей родине. Лена была чем-то эфемерным, просто подругой, приятным собеседником. Мне с ней было легко.

Андрей… Андрей по-прежнему всегда был рядом. Когда я проводил время с Леной, он старался быть незаметным, но я хорошо знал все его приёмы и умел пристально посмотреть на него, например, через витрину магазина. Он скрывался в тени, но понимал, что я его вижу.

У Лены были мама и брат, на десять лет младше Лены. Он работал на заводе и был на хорошем счету, благодаря чему получал премии, дополнительные карточки и возможность достать дефицитные товары. У меня же была возможность достать всё — даже то, чего официально просто не существовало. Сначала Лена отказывалась от подарков, но затем начала их принимать. Мама относилась к этому нормально: дарёному коню в зубы не смотрят. А вот брат начал по-настоящему ревновать и пытаться выяснить, с какой это шишкой встречается его сестра. Впрочем, я никогда не видел никого из Лениных родственников, все сведения — лишь по её рассказам.

Потом я пригласил её в гости — в октябре тридцать пятого. Андрей в это время куда-то ушёл (хотя я полагаю, что он был рядом, вплоть до того, что стоял в подъезде). Мы пили чай с печеньем, которое мне присылали из Америки, и Лена рассказывала о том, какой была Россия до революции. В её словах не было восхищения или сожаления, лишь сухая констатация.

Она привыкла к новой жизни, к нищете, к серому бесформенному пальто. Она научилась радоваться простым вещам, которые раньше казались настолько привычными, что оставались незамеченными. Например, солнечному свету, вкусной колбасе или обычной человеческой вежливости.

Кстати, чудовищная грубость межчеловеческих отношений в Москве меня первое время сильно сбивала с толку. Я не понимал, как можно не извиниться, толкнув человека, или как продавщица может бросить подсохший батон на прилавок так, что тот упадёт на грязный пол, да ещё наорать на покупателя за неловкость (и ведь другой батон не возьмёшь — карточки!). Чтобы не было вопросов, оговорюсь: карточки нам тоже выдавали. Посольство посольством, но часть снабжения лежала на городе, и некоторые продукты мы покупали в магазине, как обычные граждане.

В тот её визит между нами не было никакой близости. Мы просто пили чай, говорили о разном, а потом я проводил её до самого дома (она жила в районе Бутырской заставы в старом деревянном двухэтажном доме, туда шло довольно много трамвайных маршрутов; в квартире я никогда не был).

Вам, вероятно, интересно, были ли у нас близкие отношения. Были. В какой-то мере секс между американским гражданином и москвичкой был не просто запрещён. Если бы подобное выплыло наружу, возник бы дипломатический скандал, а Лена исчезла бы в лубянских подвалах. Поэтому запрет был, что называется, «под страхом смерти». Для Лены. Для меня — под страхом немедленного выдворения из страны. Закрывая глаза на нас, Андрей совершал чудовищное должностное преступление. Более того, я гораздо позже понял, почему нас не засекали другие наблюдатели (конечно, Андрей не был единственным). Андрей каким-то образом объяснил, что Лена — его женщина, а не моя. И ходит она — к нему.

Он прикрывал нас, а мы встречались, и мы любили друг друга в моей квартире, и за нами велась слежка, но органы молчали, потому что сказать, вероятно, было нечего.

Мы продолжали иногда сидеть с Андреем на кухне. Он продолжал пить, я присоединялся к нему, и он снова говорил мне о том, что будет. Кого заберут, кого оставят, кого вышлют, кого расстреляют. Для него постоянное нахождение под дамокловым мечом было естественным как сама жизнь. У него наготове был чемодан с тёплыми вещами, бритвой и сменой белья. Андрей рассказывал, что в его собственной квартире в районе Таганки стоял точно такой же, с тем же набором.

А положение Буллита становилось всё более шатким. Он проводил много времени вне Москвы, несколько раз в первой

половине 1936 года плавал в США, причём совершенно безо всякой причины. Он беседовал с Рузвельтом, настаивал на ужесточении отношений с Советским Союзом, утверждал, что дружба со Сталиным ни к чему хорошему не приведёт, и даже требовал отзыва посольства. Рузвельту позиция Буллита категорически не нравилась. Он посылал его с посольской миссией в первую очередь для установления экономических отношений. А Буллит мало того что не сумел выбить из Сталина долги царской России, так ещё и натянул струну до предела. Того и гляди, посольство будет просто выдворено восвояси.

На этом фоне за нами стали следить ещё ревностнее. В подъезде регулярно появлялись странные типы, читавшие старые газеты, а по дороге к Спасо-Хаусу я мог встретить одного и того же прохожего до пяти раз. Однажды ко мне подошёл человек в штатском и попросил «идти прямо и никуда не сворачивать». Когда я рассказал об этом Андрею, он рассмеялся. «Если бы на твоём месте был я, меня бы уже не было в живых», — сказал он.

Дело шло к свёртыванию посольской миссии. Я начал думать над тем, что делать с Леной. Потому что, честно говоря, я влюбился не на шутку. Так бывает: влюбляешься и не можешь объяснить причину. Эта женщина, кажущаяся другим серой мышкой, тебе представляется самой прекрасной, самой чудесной, и больше тебе никто не нужен. Ну да не мне вам объяснять. Я думал, такая любовь бывает раз в жизни (у меня в юности, конечно, была). Но нет: на меня обрушилась вторая любовь, и я ничего не мог с этим поделать.

В принципе, мои размышления были однотипными. Что она здесь забыла, что она здесь бросит? — думал я. Ничего. Нищая страна, никаких перспектив, кроме серой ежедневной работы (в лучшем случае) или лагеря (в худшем). Она состарится и умрёт, ничего после себя не оставив, в том числе и детей. Кто, кроме меня, думал я.

В последний раз мы встретились в квартире в июне тридцать шестого. Вечером мы сидели на кухне за чаем, и я тихо рассказывал ей о том, что придумал. Я хотел через Буллита подать прошение Рузвельту, чтобы тот разрешил привезти жену из СССР. То есть Лену. Дипломатического скандала в таком случае не возникло бы, и Лену, взятую посольством под защиту, не посмели бы тронуть.

Но реакция её была совсем не такой, какой я ожидал.

«Нет», — покачала она головой.

«Как нет?»

«Нет, Джед. Я не оставлю мать, не оставлю брата. Я не оставлю страну, в которой выросла».

И всё. Мы разговаривали почти всю ночь. Я убеждал, доказывал, на моей стороне была логика и здравый смысл. На её стороне была забитость, привычка, упёртость. Мне было больно слышать её слова. В то же время я был готов к сопротивлению. Просто не думал, что оно может быть столь исступлённым, столь алогичным, бессмысленным. Мне не нужно было задавать ей глупые вопросы вроде «ты меня любишь?», потому что я знал, что любит. Но я не мог соотнести её любовь ко мне с отказом уехать. Перебраться из ада в рай.

Нет, что вы, я понимал все проблемы тогдашних Штатов. И понимал, что на рай они тоже не похожи. Но в сравнении с Москвой мой Вашингтон был как минимум чист, аккуратен и безопасен. В относительной мере.

Лена была знакома с Андреем — иногда мы беседовали втроём. Андрей был сух и галантен. Мне казалось даже, что он тоже чуть-чуть влюблён в неё; что на самом деле было у него на душе, не знал никто. Когда он вошёл в квартиру — утром, — Лена уже уходила. В ту нашу встречу мы не занимались любовью. Мы спорили, потом молчали, потом она плакала и говорила, что никогда меня не забудет, а я обещал вернуться с новым посольством. Конечно, я не вернулся.

И больше она не появлялась в моей жизни. Мы не договорились о новой встрече, телефона у неё дома не было, а я так и не смог найти время поехать к ней. В последние недели посольства Буллита работы было очень много. Переговоры следовали за переговорами, встречи за встречами, я переводил, переводил, переводил, и даже, откровенно говоря, иногда забывал о Лене. Конечно, без её согласия никакого прошения Рузвельту я не подал.

В начале июля стало известно, что уже назначен новый посол — Джозеф Дэвис. Шестидесятилетний Дэвис был известен своей деятельностью на посту экономического советника президента США и личной дружбой с Рузвельтом. Эта дружба накладывала на Дэвиса одно обязательство: не иметь личного мнения. И Дэвис личного мнения не имел. В отличие от своенравного и порывистого Буллита, он принял как должное необходимость наладить отношения с СССР и рьяно приступил к осуществлению этой задачи с первых дней своего приезда в Москву.

Конечно, он набрал новую команду. Никого из сотрудников Буллита он не хотел и видеть. Дэвис справедливо полагал, что они переняли у его предшественника никому не нужную способность мыслить самостоятельно. Впоследствии Дэвис возглавлял Национальный совет американо-советской дружбы и был награждён высшей советской наградой — орденом Ленина

«за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействовавшую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Это было в его духе — любить то, что прикажут.

Буллита переводили во Францию, с которой отношения были давно налажены. Буллит готов был взять с собой всю «советскую» команду, но некоторые предпочли перейти на бумажную работу на территории США. Я выбрал Париж. В конце концов, когда бы я ещё побывал в Европе.

За неделю до отъезда из Москвы состоялся наш главный разговор с Андреем — как всегда, на кухне, за бутылкой. И видит бог, это был единственный раз, когда я напился вдребезги.

Я не знал, как попросить о том, о чём я хотел попросить. Смешная вышла фраза, но формулировка — верная. Я смотрел на Андрея, и мои глаза, видимо, сказали ему всё.

«Она не хочет ехать с тобой», — произнёс он.

Я кивнул.

«Это нормально, Джед. Мы — советские люди. Мы любим свою Родину не меньше, чем вы свою. Какое бы дерьмо тут не было, что бы тут не творилось, да хоть бы траву жрать пришлось — это наша Родина. И мы её не оставим».

Он говорил это пьяным голосом, держась за стол, чтобы не завалиться набок.

«Андрей…» — начал я.

Он показал жестом: молчи. А потом добавил:

«Я отвечаю за неё, Джед. Я понял. С ней ничего не случится, я тебе обещаю».

И эти слова, которые сказал мне пьяный сотрудник ГБ (я так точно и не узнал, в какой организации числился Андрей), стали самой надёжной, самой нерушимой гарантией. Я поверил ему, потому что мне больше некому было верить в этой стране. Я не мог верить даже самой Лене — после того, как она отказалась уехать. Я действительно думал, что любовь не может быть такой, неспособной сломать границы.

Параллельно я думал о том, что был и второй вариант. Я мог остаться. Попросить политического убежища, объяснить, что я — скрытый американский коммунист, навсегда променять свою страну на эту романтическую грязь. Но я не решился.

Это был наш последний доверительный разговор с Андреем. В течение следующих нескольких дней я был занят сборами и переводческой работой, а потом к моему подъезду подъехал посольский «Форд», из грязного окна которого я в последний раз смотрел на Москву.

***

Я вернулся в США, затем работал с Буллитом в Париже. Во Францию посольство отправилось в октябре 1936 года и оставалось там вплоть до начала войны. Буллит развернулся в Париже по полной программе — он снял для посольства огромный замок в Шантильи, в его подвалах было порядка двадцати тысяч (!) бутылок французского вина, он стал заметной персоной в высшем обществе. Его отношения с Рузвельтом резко улучшились, перейдя в статус дружеских. Доходило до того, что Буллит звонил президенту просто так, справиться о его здоровье.

Правда, к сороковому году Буллит снова проявил свой буйный характер и поссорился с Рузвельтом по полной программе. Сначала он ослушался прямого приказа президента и отказался перевезти посольство в Бордо (к Парижу подступали немцы). Потом он напрочь переругался с помощником государственного секретаря США Самнером Уэллсом и обвинил того в пропаганде гомосексуализма. Уэллса поддерживали многие влиятельные лица, в том числе вице-президент Генри Уоллес и госсекретарь Корделл Халл. В итоге Буллит был вынужден прекратить политическую карьеру, а вместе с ним и мы — его команда.

Я долгое время работал переводчиком при разных государственных деятелях, на переговорах и встречах с приезжающими из других стран гостями. В 1955 году, в возрасте шестидесяти пяти лет, я ушёл в отставку.

А спустя ещё два года я получил письмо от Лены.

Оно шло несколько месяцев. На конверте было написано моё имя и имя Уильяма Буллита, посла США в СССР. Буллит был заметной фигурой, и письмо нашло его безо всякого адреса, а он переслал конверт мне. Конечно, письмо многократно открывали — думаю, и в СССР, и у нас. Но мне было неважно.

Сразу после нашего отъезда за ней пришли. Обращались с ней хорошо, никаких вопросов не задавали, а через три дня выпустили. Она не знала, почему.

В 1938 году её арестовали повторно — и дали двадцать лет за шпионаж в пользу Соединённых Штатов и порочащие связи с иностранцами. В 1955 году реабилитировали, восстановили в правах и выделили комнату в коммунальной квартире. Её брат погиб на войне, а мать умерла в сороковых, пока Лена была в лагере.

После реабилитации она не поленилась раскопать в архивах своё дело: ей открыли доступ. В деле нашлось объяснение тому, что в первый раз всё сошло ей с рук. Вступился сотрудник

госбезопасности, некто Андрей Кульковский. Он дал указание отпустить её и провести дополнительное расследование. Но к тридцать восьмому его уже не было в живых. Она подняла и дело Кульковского (которого тоже реабилитировали — посмертно). По официальным сведениям его расстреляли 18 января 1938 года по обвинению в шпионаже.

В письме не было почти ничего о нас, о любви, о возможности увидеться. Это было правильно — мы состарились, я разжирел, и ничего от меня двадцатилетней давности уже не осталось. Но всё-таки она написала под самый конец одну фразу, которая заставила меня задуматься.

«Знаешь, Джед, — написала она. — Я ни о чём не жалею. Ни о том, что мы были вместе, ни о том, что за это я провела семнадцать лет в лагере. И самое главное, я не жалею о том, что не уехала с тобой. Потому что страна, которая раздавила меня, превратила в уродливую старуху, сломала мою жизнь, — это моя страна».

Для того чтобы быть вместе, кто-то из нас должен был сломать свою жизнь, стереть всё то, что было в ней, и нарисовать всё заново. Кто-то должен был пожертвовать всем. Мы не решились — ни я, ни она. И только теперь я понял одну страшную вещь. У неё действительно была причина отказаться. Потому что у неё была Родина, и она перевешивала всё — и любовь, и возможность жить лучше. А у меня… Я уехал, потому что боялся изменить размеренный образ жизни. Если бы в СССР было лучше, я бы спокойно остался, и никакой патриотизм не заставил бы меня вернуться. Я почувствовал себя трусом.

Собственно, после этого письма я и понял, что они — сильнее нас.

Я не ответил на её письмо. Более того, я почему-то совсем о ней не думал, моё сердце не сжималось от воспоминаний. Но я думал о другом человеке — об Андрее Кульковском, моём друге. Он сдержал своё обещание и оберегал её, пока мог. Потом машина смяла и его — это было вопросом времени.

Теперь мне восемьдесят девять. Я не знаю, жива ли Лена. Андрей мёртв уже более сорока лет. Советские войска только что вошли в Афганистан, что, возможно, перерастёт в серьёзный международный конфликт с участием США. Последние тридцать лет — с тех пор, как получил письмо от Лены — я пытаюсь заставить себя найти причину любить собственную страну. Я пытаюсь найти ситуацию, в которой я отдал бы за неё жизнь и свободу, — и не нахожу. И я завидую. Я безумно завидую людям, которые способны поставить понятие «родина» на первое место, а понятие «я» — на второе. Мне уже поздно переучиваться. Я

смотрю на подрастающее поколение и понимаю, что оно — ещё хуже моего. Глупее, слабее, безвольнее, наглее. Интересно, какое поколение выросло в СССР? Неужели они и сегодня — такие же сильные, волевые? Я не знаю. И в какой-то мере моё незнание позволяет мне жить в спокойствии.

И в этом же спокойствии — умереть.

Последняя гонка Рэда Байрона

В мире, где когда-то жил-был великан,
мы навсегда останемся пигмеями.

Кейт Лаумер. Жил-был великан

Это история о Байроне. Не о Джордже Гордоне Байроне, английском поэте, а о Роберте Байроне по прозвищу «Рэд», невысоком человечке, загорелом до черноты и хромающем на левую ногу.

Роберт Байрон умер одиннадцатого ноября тысяча девятьсот шестидесятого года в недорогой гостинице в Чикаго, штат Иллинойс. Номер был двухкомнатным, и Байрон как раз шёл из одной комнаты в другую, к рабочему столу, когда у него прихватило сердце. Он добрался до кровати, лёг на спину и смотрел в темнеющий потолок, не в силах позвать на помощь. Но это было гораздо позже.

События, о которых я хочу вам рассказать, произошли поздней весной пятьдесят восьмого года близ городка Ганнисон, штат Колорадо, в стороне от федеральной трассы. В Ганнисоне и сегодня живёт от силы шесть тысяч человек, а в конце пятидесятых население едва ли достигало двух тысяч. Тем не менее уже тогда в городе располагался Уэстерн-стэйт-колледж, престижное учебное заведение, собиравшее абитуриентов со всего штата. Позднее в Ганнисоне появилась даже собственная радиостанция.

Рэд Байрон окончательно ушёл из гонок в тысяча девятьсот пятьдесят втором. Он уже год не садился за руль гоночного автомобиля к тому времени, но лишь в конце пятьдесят второго сказал: всё, больше никогда. И погрузился в руководство собственной командой. Я не знаю, каким он был руководителем, потому что меня это не интересовало. Я вообще не могу представить Байрона за столом, с карандашом в руках, заполняющим какие-нибудь ведомости.

Его последней гонкой в чемпионате Grand National стал пятисотмильный заезд в Дарлингтоне, штат Южная Каролина, третьего сентября пятьдесят первого года. Потом врач сказал ему: нельзя, Роберт. У тебя слабое сердце, Роберт, оно не выдержит.

Мне кажется, что его сердце не выдержало в первую очередь отказа от гонок. В те времена гонщики жили скоростью, а не зарабатывали ею деньги. Простите, я опять отвлекусь. Мне сложно рассказывать историю последовательно, потому что в памяти возникают всё новые и новые ассоциации, и каждая мне кажется важной, придающей рассказу полноту и цельность. Так вот, примерно в то же время, о котором я веду речь, в Европе жил гонщик по имени Вилли Мэйресс. Он был пилотом средней руки, но дважды выигрывал знаменитую гонку «Тарга Флорио» и регулярно выступал в заводской команде «Феррари». В шестьдесят восьмом году он, сорокалетний, попал в Ле-Мане в страшную аварию, навсегда лишившую его возможности вернуться в гонки. Второго сентября шестьдесят девятого он повесился в гостинице в провинциальном Остенде, оставив после себя записку. В ней говорилось, что он не может гоняться — значит, не может жить. Вот какие были люди.

Возвращаюсь к Рэду Байрону.

Я хочу рассказать вам кое-какие факты из его биографии — это поможет лучше понять его мотивацию, представить выражение его лица, жесты и движения. Я не художник и не могу нарисовать портрет. Мне даны лишь слова, чтобы описать моего героя.

Он впервые сел за руль гоночного автомобиля в тысяча девятьсот тридцать втором году, в возрасте семнадцати лет. Когда Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну, Рэд пошёл в армию и отработал пятьдесят семь миссий бортинженером и хвостовым стрелком на бомбардировщике B-24. Лётчик имел право демобилизоваться после двадцати пяти миссий над территорией врага — Байрон отлетал в два раза больше. А потом их самолёт сбили — в тот самый день, когда его жена узнала, что беременна мальчиком. И Роберт выжил — ради сына. Двадцать семь месяцев военных госпиталей и собранная по кусочкам левая нога: врачи не знали, будет ли он вообще когда-либо ходить. Хромота осталась с Байроном на всю жизнь, и, несмотря на это, он стал одним из самых быстрых людей на планете. Он сам переделывал машины с ножного сцепления на ручное, потому что мог пользоваться только правой ногой. Для газа и тормоза — более чем достаточно.

Всё это было присказкой. Теперь перейду к тому, ради чего я вообще затеял свою писанину.

Как я уже упоминал, шёл пятьдесят восьмой год. Был конец мая, тепло, солнечно — и пыльно. В Колорадо всегда пыльно, особенно на кусочно асфальтированных локальных дорогах. Я голосовал, стоя на обочине. Мне нужно было попасть в Национальный заповедник Колорадо неподалёку от городка Гранд-Джанкшен. Сначала я ехал из Санта-Фе по федеральному шоссе 85, но в районе Пуэбло решил, что лучше срезать. Если ехать по федеральным, выходило триста шестьдесят миль, а по местным дорогам — всего двести восемьдесят. Почему я так решил — сам не знаю. Средняя скорость движения по местным гораздо меньше, да и вероятность поймать машину до Салиды не так велика, как до Денвера. Ну да ладно — решил так решил.

Я поблагодарил человека, который добросил меня до Пуэбло, — он высадил меня на пересечении 85-й и 50-й, то есть именно там, где было нужно. Я прошёл по дороге около ста ярдов, держа левую руку поднятой. Я не очень надеялся, что меня подберут, и потому не оборачивался.

Машина затормозила ярдах в десяти впереди меня. Это был старый «Олдсмобиль 88» пятидесятого года, слегка отличающийся от базовой версии. Вероятно, над машиной потрудился умелый механик — выглядела она отлично. Я подошёл, открыл дверь и сел в автомобиль.

Водителю на вид было хорошо за пятьдесят. Он выглядел худым и жилистым, загорелое лицо покрывала сеть мелких морщинок, а глаза прятались за круглыми тёмными очками. Он улыбнулся мне — во все тридцать два зуба, сияющей голливудской улыбкой.

«Рэд», — представился он.

Я назвал своё имя, и он тронул автомобиль с места.

Он ехал осторожно, небыстро, размеренно. Мотор приятно урчал, машина плыла по дороге, точно по водной глади.

Мы разговаривали о всяких мелочах. Я вспоминал своего лабрадора, он улыбался и говорил, что у его сына — сеттер. Я рассказывал о том, как во время войны мой отец добровольцем пошёл в армию, хотя уже не подходил по возрасту. Рэд в ответ травил байки из своей армейской жизни. Тогда-то он мне и рассказал про бомбардировщик B-24, про пятьдесят семь успешных миссий и одну неудачную. «Да, хуже самолёта, чем наш “бэ”, просто быть не могло. Я однажды из хулиганства пырнул ножом его обшивку, и что ты думаешь? Пробил! Какая уж тут пуля, какая шрапнель!..»

Ногу ему повредило именно шрапнелью. Раскурочило борт самолёта, приборы и голень Байрона. В принципе ему повезло. Помимо ноги, он отделался всего лишь несколькими переломами.

«Я вообще-то лётчиком хотел стать. Был здоров тогда, как бык, знаешь. Но мне написали: опыта полётов — никакого, зато машины умеет разбирать отлично. И зачислили в бортмеханики. Заодно и стрелка иногда хвостового заменял. Знаешь, как холодно в “бэшке”? Без перчаток возьмёшься за рукоятку пулемёта и всю кожу оставишь там. Везде ж металл, никаких тебе удобств».

Я узнал от Байрона ещё две занимательные подробности его службы. Их экипаж патрулировал воздушное пространство в районе Аляски и Алеутских островов. Когда пятьдесят восьмая миссия подходила к концу, оказалось, что одна бомба застряла в бомболюке. Все ушли, а эта — осталась. Именно тогда они попали под зенитный огонь японцев. И шрапнель в ноге Байрона — это шрапнель разорвавшейся внутри самолёта их собственной, американской бомбы. Самый большой осколок остался в ноге Рэда навсегда — его не смогли извлечь, а от ампутации Рэд отказался категорически.

В «Олдсмобиле» Рэда была ручное сцепление. Он рассказал, что раньше ездил и на ножном, привязывая повреждённую ногу к педали кожаным ремнём, чтобы не соскальзывала. Но позже перешёл на ручное.

В рассказе я называю его то Рэдом, то Байроном. Но тогда я не знал, с кем я еду. Более того, я не слишком интересовался гонками, и сочетание «Рэд Байрон» мне ни о чём не говорило. В любом случае тогда я знал только имя Рэд.

Про гонки он не говорил ни слова. Ни о своих спортивных достижениях, ни о своей работе в качестве руководителя команды. Всё, что я знаю о Байроне как о гонщике, я почерпнул из воспоминаний, книг, справочников. Сегодня любую информацию найти легко: включил компьютер, вошёл в Интернет — и готово. В те годы мы проводили чудовищное количество времени в библиотеках, роясь в старых подшивках и развалах некаталогизированных изданий.

Мы остановились в Салиде, чтобы перекусить в KFC. Тогда эта сеть была совсем молодой и казалась престижной. Ресторан в Салиде только-только открылся, столики сверкали металлическим блеском, официантки приветливо улыбались, а в курятине не было того количества химической дряни, какое обязательно есть в ней сейчас. Самое смешное, что тот ресторан на бульваре Рэйнбоу, где мы останавливались, существует и по сей день. Я побывал там несколько лет назад — почти ничего не изменилось. Разве что курятина испортилась.

Рэд ел медленно и аккуратно — так же как водил свой «Олдсмобиль». За едой он снял тёмные очки и положил их на

стол. У него были блеклые, бесцветные и одновременно очень добрые глаза. Не знаю, как ещё охарактеризовать их, не могу придумать ничего лучше.

Ел он молча, только иногда посматривал на меня, чуть прищуривая правый глаз. Мне показалось, что у него плохое зрение, хотя очки, кажется, выполняли только солнцезащитную функцию, то есть не имели диоптрий.

Потом мы отправились дальше. За рулём он снова стал разговорчивым и весёлым. Я рассказывал ему студенческие анекдоты, а он смеялся как ребёнок и продолжал травить военные байки. Вспоминая сегодня, я понимаю, что среди них не оказалось ни одной похабной. Все они были о смелости, о самоотверженных людях, сражавшихся на чужой территории за свою страну, о безымянных героях. Хотя нет, не безымянных. Рэд помнил всех сослуживцев, называл их по именам и фамилиям, иногда рассказывал, как сложилась их жизнь после войны.

О некоторых он говорил: «А он погиб». И после этого какое-то время молчал.

А потом он внезапно произнёс: «Гвин».

Я переспросил его: «Простите, Рэд, не расслышал. Что вы сказали?»

Он повернулся ко мне. Я думаю, если бы он снял очки, я бы увидел слёзы на его глазах.

«У меня был друг, — сказал Рэд. — Его звали Гвин Стэйли. Он был младше меня на двенадцать чёртовых лет. И он уже никогда не станет старше меня».

Я не стал говорить глупостей вроде «я сожалею». В таких случаях лучше просто промолчать.

«Он погиб в Ричмонде в марте. Я надеюсь, что это последний сезон чёртовых открытых машин».

«Каких машин?»

«Кабриолеты НАСКАР», — пояснил Рэд.

Как я уже упоминал, гонки для меня были пустым звуком в те времена. Поэтому я снова предпочёл промолчать. Больше он о гонках не говорил. В принципе я не связал этот краткий диалог с профессией Рэда. Догадаться, что он в прошлом гонщик, по его стилю вождения было невозможно. Такой стиль может оказаться свойственным пожилому отцу большого семейства, едущему с домашними на воскресный пикник.

А уже через полчаса мы добрались до Ганнисона. Мы не останавливались в самом городе, а проехали насквозь. Мы успели удалиться от города примерно на три мили, когда Рэд внезапно сказал: «Надо остановиться. Ей-богу, хочу пива».

Наверное, он почувствовал мой укоризненный взгляд, потому

что тут же стал объясняться: «Мне вообще-то нельзя. Да и за рулём. Но одна маленькая бутылочка ничего не изменит. И это даже не нарушение, всё в пределах нормы».

И Рэд свернул к придорожной забегаловке.

Как ни странно, забегаловка оказалась полна. Пока мы ожидали заказ, я не поленился подсчитать присутствующих — вышло тридцать восемь человек! Все они казались похожими друг на друга: клетчатые рубашки, джинсы, широкополые шляпы. Среди них были люди постарше и помоложе, были работяги с въевшейся в морщины грязью и пижонски одетые молодые парни с белозубыми улыбками. Я заметил и нескольких девушек, довольно безликих. Они сидели у мужчин на коленях, пили пиво и заливисто хохотали.

«Что тут происходит?» — спросил я у официантки, дородной дамы лет сорока пяти.

«Митчелл, как всегда, куролесит», — непонятно ответила она и ушла.

Я помню, что про Черчилля мне рассказывали следующую историю. Однажды, на заре политической карьеры, Черчилль объезжал небольшие города на юге Великобритании с какими-то лекциями. Однажды шофёр завёз его в глухомань, подобную Ганнисону, только английскую. Они увидели крестьянина, и Черчилль, высунувшись из окна, спросил: «Скажите, пожалуйста, где мы находимся?» — «В автомобиле!» — буркнул крестьянин. «Вот ответ настоящего англичанина, — сказал Черчилль шофёру, — краткий, хамский и не содержащий никакой информации, которую бы спрашивающий не знал сам».

Примерно такого же рода был и ответ официантки. Фамилия Митчелл мне ничего не говорила.

Я отлучился в уборную. Она находилась на заднем дворе — так мне сказал бармен. Но вместо уборной я увидел толпу народа. Тут собралось намного больше людей, чем внутри заведения. Двором это пространство назвать было сложно. Просто задняя стенка закусочной выходила на огромную площадку, окружённую редкими деревьями (я не разбираюсь в породах, что-то южное). А на площадке стояли автомобили.

Надо сказать, что автомобили я любил. Я и теперь отношусь к ним с нежностью. Не к этим современным «Тойотам» и «Хондам», неотличимым одна от другой, а к настоящим машинам. Например, к «Форду Гран Торино» семьдесят третьего года или чему-то подобному. Я вспомнил «Гран Торино» в связи с недавно вышедшим фильмом Клинта Иствуда. Мне был невероятно близок герой Иствуда по духу — мы одногодки с этим великим актёром и, наверное, с его героем. Ну вот, теперь вы можете без труда

посчитать, что мне около восьмидесяти лет.

Я опять отвлёкся.

Итак, на заднем дворе были машины — красивые, мощные, эффектные. Вот «Форды»: белый «Тандебёрд» пятьдесят седьмого года, потёртый «Крестлайн» пятьдесят четвёртого, новенький «Кастом», трёхлетка «Фэрлейн». А вот старый «Кадиллак Сикстиспешл» конца сороковых, и «Понтиак Стар-Чиф», и огромный «Крайслер Ньюпорт» второго поколения, и красавица «ДеСото Файердом» пятьдесят пятого года… У меня разбегались глаза.

И тут я понял, что происходило. Это были любительские гонки. Заезды, которые впоследствии переросли в современный стритрейсинг.

В те годы многие гонки сток-каров, то есть серийных машин, чуть подработанных для скоростных трасс, считались полулюбительским делом. Профессиональных гонщиков, зарабатывавших себе на хлеб скоростью, было гораздо меньше, чем фанатов, которые покупали подержанный «Крайслер» и заявлялись на какую-либо гонку. Конечно, на трассах тогда блистали звёзды — Ли Петти, Бак Бейкер, Тим Флок, но наполнение одного заезда машинами происходило за счёт большого количества любителей.

Частенько любители проводили собственные гонки. Выделяли участок дороги, чаще всего кольцеобразный и неасфальтированный, и соревновались на нём парами или четвёрками. Именно такие гонки проходили близ Ганнисона, штат Колорадо.

Когда я вернулся, Рэд уже пил пиво, закусывая его сушёной рыбой.

«Ну что там?» — спросил он, будто я ходил не в туалет, а именно за информацией.

«Любительские гонки».

Рэд кивнул с видом, будто он всё понял с первого взгляда, просто мне не сказал. Скорее всего, так оно и было.

Некоторое время мы сидели молча. Рэд прихлёбывал пиво из бутылки, я пил «Кока-колу» из высокого стакана. Мне не хотелось хмельного.

Через какое-то время я выделил в толпе парня, который являлся центром всеобщего внимания и поклонения. Он сидел на невысоком мягком диванчике и обнимал двух девушек. Правая девушка иногда подносила к его рту стакан с коктейлем, а левая тёрлась губами о его щёку и что-то шептала на ухо. Девушек парень воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Он умудрялся одновременно болтать со всеми окружающими. Одному он улыбался, на другого с улыбкой показывал пальцем,

третьему что-то рассказывал. Душа компании, не иначе.

Что-то в его облике мне сразу не понравилось. Такие люди панически боятся упасть с трона, на который себя возвели. Они пойдут на всё, чтобы не проиграть, не показать свою слабость. Такие люди могут быть жестоки, пока судьба не научит их снисхождению. Судьба пришла к этому парню в образе Рэда Байрона.

Раздался резкий звук трещотки.

«Митчелл! — послышался крик. — Финал!»

И парень, на которого я обратил внимание, лениво поднялся с дивана. Это и был Митчелл.

«Хочешь посмотреть?» — спросил Рэд.

«Наверное, — ответил я. — Раз уж мы тут сидим».

«Пошли».

И мы отправились за толпой, которая толкалась у дверей, пытаясь выбраться наружу.

На площадке царил беспорядок. Мы с Рэдом сначала не могли понять, куда идти, но затем Рэд показал пальцем:

«Вон таблица результатов, пошли».

Таблица оказалась огромной школьной доской, на которой мелом записывались фамилии и результаты.

«Три заезда, — пояснил Рэд, — это одна гонка. В каждой гонке есть победитель и проигравший. Выиграл два заезда — выиграл гонку. Третий — это если первые два закончились победой разных пилотов. Заезды — по двое. Судя по всему, у них тут система “четвертьфинал — полуфинал — финал”».

Я спросил у Рэда, откуда он всё это знает.

«Когда-то тоже так гонялся».

И всё, больше он ничего не сказал. Казалось, что ему эта тема неприятна.

Рядом со мной толкалось двое мужчин вполне приличного вида — лет по тридцать пять, в костюмах. Они странно выглядели в толпе молодёжи и работяг. Я спросил у одного из них:

«А что тут происходит?»

«Гонки», — услышал я в ответ. Это снова напомнило мне историю о Черчилле.

Второй оказался любезнее.

«Митчелл против Харперсона в финале. Митчелл выиграл двенадцать последних соревнований. Говорят, собирается участвовать в профессиональных гонках».

«Спасибо».

Но он продолжил:

«Вы не смотрите, что мой приятель такой хмурый. Он хочет сорвать банк и поставил на Харперсона».

Приятель к этому моменту уже пробивался к трассе. Мы последовали за ним.

Трасса представляла собой неасфальтированную дорогу из плотно утрамбованного песка с мелкими камешками. Её конфигурация оказалась довольно затейлива. Сначала она спускалась, там было что-то вроде короткой прямой, затем делала несколько хитрых поворотов, затем снова поднималась к нам. Верхняя прямая длиной порядка шестисот футов проходила вдоль импровизированной трибуны, составленной из деревянных козел и скамеек. Общая длина трассы составляла около 3000 футов, то есть менее мили. Линия старта-финиша располагалась ближе к окончанию длинной прямой.

Мы с Рэдом забрались на одни из козел. Трасса была видна вся — от первого до последнего поворота. Мы смотрели на неё сверху вниз.

Машина Харперсона уже стояла на старте. Это была «Шевроле Бель-Эйр Хардтоп» в спортивной конфигурации пятьдесят седьмого года, очень красивая машина, скорее женская, чем мужская. Она была чудовищно пыльной и, кажется, слегка помятой — Харперсону непросто дались предыдущие заезды. Я подумал, что если у него установлен двигатель V8 на 283 кубических дюйма, то у соперника нет шансов, даже если он сам Митчелл. Харперсон, одетый в лёгкий комбинезон, стоял у машины и, бурно жестикулируя, что-то говорил невысокому человеку в чёрной кожаной куртке.

А потом я увидел машину Митчелла.

Митчелл ехал сквозь толпу, как нож сквозь масло. Люди расходились, раздавались приветственные крики и вздохи восхищения.

У Митчелла тоже была «Шевроле», но — «Шевроле Корветт». Лёгкая спортивная машина, модель пятьдесят восьмого года. Даже штатная «восьмёрка» порвала бы любой «Бель-Эйр» на тряпки, что уж говорить о форсированном двигателе автомобиля Митчелла. Я не сомневался, что двигатель «Корветта» тщательно обработан руками механиков.

«Красиво», — сказал Рэд, попивая пиво.

«Нечестно», — ответил я.

«Честно. Этот второй знал, на что идёт. Не хотел бы — не выставлялся бы».

«Но “Корветт” сделает его на первой же сотне ярдов».

«Если второй умеет водить, он даст бой. “Корветт” лёгкий. На пересечёнке, да ещё с гравием, его сложнее держать на поворотах. Он будет уходить на прямой, а вот оттормаживаться ему придётся раньше».

Оба гонщика уже садились в машины.

В профессиональных автогонках шлем уже тогда был обязательным требованием. Правда, большинство гонщиков уходило от этого правила, надевая кожаные шлемы или даже велосипедные, лишь бы не носить предмет, делающий из них трусов. В Европе всегда больше заботились о безопасности, чем в Америке, и потому Америка лучше хранила — да и теперь хранит — автогоночные традиции прошлого.

Ни Митчелл, ни Харперсон шлемов не надели.

«Корветт» был открытым, но сейчас стоял с поднятой крышей. К машине подошла светловолосая девушка. Митчелл опустил окно и поцеловал её. Она была не из тех, кто сидел с ним на диванчике в баре.

Все разошлись. На трассе остались две машины, два «Шевроле» — «Бель-Эйр» против «Корветта». Исход был ясен, но поболеть хотелось. Я немного жалел мужчину, который поставил на Харперсона.

Парень с красными флагами встал между машинами и поднял руки. Все замолкли и напряглись в ожидании. Раздался резкий свисток. Парень опустил руки — и по отмашке машины пронеслись мимо него.

«Корветт» выиграл старт, чего и следовало ожидать. Митчелл рванул как бешеный, и тяжёлый «Бель-Эйр» не мог составить ему конкуренции. К концу прямой Митчелл был впереди на два корпуса.

У «Бель-Эйра» появлялось небольшое преимущество на поворотах, но у Харперсона не получалось его использовать. Вырвавшись вперёд, «Корветт» уже не подпускал соперника на расстояние атаки. Харперсон чуть приблизился на спуске, затем довольно сильно отстал на прямой, идущей по дну карьера. На подъёме лёгкий «Корветт» оторвался ещё на несколько корпусов, а линию старта пересёк секунд на пять раньше «Бель-Эйра». Исход гонки был предрешён, хотя соперникам предстояло проехать ещё девять кругов. В принципе у Харперсона оставалась надежда на то, что Митчелл совершит какую-либо ошибку.

«Не совершит», — вдруг произнёс Рэд.

«Я сказал что-то вслух?»

«Про ошибку».

Я и сам не заметил, как мои мысли облеклись в слова.

Второй круг прошёл аналогично первому, затем миновал и третий. Публика скандировала: «Митчелл! Митчелл!» — хотя первоначального энтузиазма не было: слишком лёгкой казалась победа красавчика.

Но на шестом круге Митчелл ошибся. Он отыгрывал у

Харперсона уже полкруга. Тот только-только пересёк линию старта, а «Корветт» был уже внизу и мчался по короткой прямой. Вдруг на одном из поворотов, ведущих в гору, Митчелла повело и закрутило. Он потерял машину из-за собственной ошибки, ничего более. Я болел за Харперсона, потому что наглый и самодовольный Митчелл мне не понравился с первого взгляда.

Он не перевернулся, но завяз задними колёсами в грязи. Для заднеприводной машины это было смерти подобно. Через двадцать секунд Харперсон миновал застрявший «Корветт» и начал отрываться.

Как ни странно, Митчеллу удалось освободиться. Мне сложно сказать, как это произошло: слишком далеко мы находились, а моё зрение и тогда не было орлиным.

«Догонит», — резюмировал Рэд.

Пиво в его бутылке давно закончилось, и он достал пачку «Кэмела». Странно, но за всю предыдущую дорогу Рэд не закурил ни разу. Он протянул мне сигареты, я покачал головой.

«Врачи запрещают, но не могу отказаться», — будто оправдываясь, сказал он.

Митчелл догонял. Как я понял, первую половину гонки он ехал, не выкладываясь. И слишком расслабился. Теперь он мчался почти на пределе возможностей. На седьмом круге он отыграл секунд пять из полученного Харперсоном двадцатисекундного преимущества. На восьмом — ещё около того. На последний, десятый круг они вышли с разницей в два корпуса.

Харперсон теперь тоже нёсся как бешеный, и на пути вниз «Корветт» не выиграл ни фута, да и на повороте «Бель-Эйр» сохранил преимущество. А вот на прямике Митчелл мощным рывком дотянулся до Харперсона, почти коснулся.

Я тогда подумал об идеальной стратегии в такой ситуации. Митчеллу достаточно было удержаться на предельно близком расстоянии от Харперсона на всём пути вверх, а затем легко пройти его на финишной прямой за счёт мощности машины, «на классе». Эта мысль сформировалась у меня за считаные секунды, потому что до конца гонки оставалось совсем немного.

Но Митчелл поступил иначе. На первом же повороте он аккуратно поддел задний бампер «Бель-Эйра», и Харперсона повело в сторону. Митчелл промчался мимо.

«Разве так можно?» — спросил я.

«Некрасиво, но в пределах правил. Скажем так, не по-мужски».

Но пока Митчелл рвался к очередной победе в финале, Харперсон отнюдь не стоял на обочине. Его «Бель-Эйр» кувыркался по песку. Я отвлёкся и пропустил начало аварии, но

окончание видел — последние три переворота через жёсткую крышу «Шевроле». Измятая, изуродованная машина застыла в неподвижности у дальнего края карьера. А Митчелл уже завершил серию виражей и мчался по прямой.

Я не сразу заметил, что Рэда рядом нет. Вот он стоял и курил, и вот он уже несётся наперерез, через трассу вниз, в карьер, к месту аварии. Он успел пересечь прямик до того, как по нему пролетел «Корветт». Я побежал за ним, за мной последовало ещё несколько зрителей.

Гораздо позже я понял, почему Рэд сорвался с места. Почему он бежал с такой скоростью, хромая, волоча неработающую левую ногу, размахивая руками. Почему он бросился в машину вытаскивать незнакомого человека. Почему он не испугался капающего бензина, который мог воспламениться от случайной искры.

В те времена автомобиль скорой помощи на трассе чаще всего отсутствовал. И уж тем более — спасатели и пожарные. Пока врач добирался до пострадавшего с другого конца трассы — на случайной машине или пешком, — гонщик мог десять раз умереть.

Я снова отвлекусь, простите меня. В тысяча девятьсот семьдесят третьем году на Гран-при Голландии в классе автомобилей «Формула-1» произошла трагедия. Молодой гонщик Роджер Уильямсон попал в страшную аварию. Его «Марч» перевернулся и загорелся. Пилот, проводивший всего вторую гонку в своей карьере, находился в сознании и пытался выбраться, но не мог, потому что его придавило машиной, которая весила тонну. За Уильямсоном ехал гонщик команды «LEC» Дэвид Пэрли, он увидел аварию — и остановился. Какое значение может иметь место на финише, когда от твоих действий зависит жизнь человека?

Пэрли получил ожоги рук третьей степени, пытаясь перевернуть горящий «Марч». Первый пожарный подоспел ему на помощь примерно через минуту.

Уильямсон умер. Сгорел заживо в собственном автомобиле, в этом четырёхколёсном гробу. Он потерял сознание, наглотавшись дыма, чуть раньше, чем кожу на его лице начал пожирать огонь. И всё это время Пэрли в одиночку пытался перевернуть машину и вытащить Уильямсона.

А потом он сел на обочину рядом с горящим болидом, закрыл лицо обгоревшими до мяса руками и заплакал.

За храбрость его наградили Медалью Георга. Чёрт, он бы променял все медали мира на жизнь друга, которую не смог спасти.

Я думаю, после этой истории нет смысла объяснять, почему Рэд Байрон первым побежал к перевёрнутому «Бель-Эйру» Харперсона. Он, Байрон, видел множество аварий. Он видел, как его друзья заживо поджариваются в перевёрнутых машинах, потому что их не успевают спасти. И он снова садился за руль, зная, что может в любой момент оказаться на их месте. А теперь он бежал, хромая, к машине. В то время как «Корветт» Митчелла победно пересекал линию старта-финиша, и девушки визжали от восторга, и толпа ревела, Рэд Байрон пытался вытащить Харперсона из машины, и на его морщинистое лицо капал бензин из пробитого бака.

Они вытащили его вдвоём — Рэд и какой-то зритель, который добежал вторым. Я поспел третьим, и в этот момент машина загорелась.

Если вы думаете, что автомобили взрываются с грохотом и брызгами огня, вы ошибаетесь. Это картинка, к которой нас приучил Голливуд. На самом деле взорвать бензобак довольно сложно. Думаю, для этого нужно бросить в машину гранату. Если просто поджечь бензин, он тихо «пыхнет», вся машина загорится, но эффектного взрыва не будет.

Именно это и страшно. Проще умереть от ударной волны, чем медленно сгорать в оплавляющемся пластике салона.

Харперсон был без сознания, но жив.

«Звоните в скорую!» — закричал Рэд.

Около машины уже собралось десятка два человек, но никакой помощи Харперсону мы оказать не могли.

«Его нельзя двигать!» — снова заорал Рэд, потому что какой-то сметливый малый хотел тащить пострадавшего наверх.

Рэд так и сидел около Харперсона всё время, пока не приехала скорая.

Митчелл победил. Судья на финише взмахнул клетчатым флагом и прокричал фамилию триумфатора. После победы тот некоторое время улыбался, обнимал женщин, пожимал руки, а затем отправился к импровизированному подиуму. На соревнованиях не было системы «первое — второе — третье место», все сливки собирал победитель. Толпа потекла за Митчеллом, и девушка в купальнике вручила ему кубок. Всего этого я сам не видел, но думаю, что не ошибся ни в едином слове. Впоследствии я смотрел много подобных состязаний, и все они заканчивались примерно одинаково.

Пока непобедимого Митчелла на руках вносили в закусочную, мы с Рэдом сидели около Харперсона. Тот лежал на спине и тяжело дышал. Конечно, мы не могли определить, что с ним, но Рэд серьёзно опасался, что повреждён позвоночник.

Когда прибыла скорая, она не могла съехать по песчаной трассе вниз: водитель боялся, что высокий фургон перевернётся. Санитары спустились с носилками, аккуратно переложили на них Харперсона и отнесли в машину. Больше мы его не видели.

Что с ним, я узнал лишь через несколько дней, позвонив из Гранд-Джанкшена в больницу штата, куда оттранспортировали Харперсона. Позвоночник действительно оказался повреждён — смещение, сдавливание нерва. Но операцию провели вовремя, и парень был спасён. Я считаю, что это целиком и полностью заслуга Рэда, а не врачей. Те качественно сделали механическую работу, а Рэд принял два правильных и своевременных решения в экстремальной ситуации. Во-первых, он вытащил гонщика из грозившей загореться машины, а во-вторых, не позволил потом его трогать и передвигать.

После того как скорая отъехала, мы поднялись наверх. То есть не мы с Рэдом, а все пятнадцать-двадцать человек, которые спустились к месту аварии.

В забегаловке царила атмосфера праздника. Митчелл пил шампанское из горла, лапал одну из девчонок за грудь и кричал: «Ну что, съели? Никто не победит Ника Митчелла!» Ему аплодировали и пели хвалебные песни. Я сидел за столиком в углу и слушал разговоры окружающих.

«Ему нужно в сток-кары, точно, он там всех порвёт!» — говорил один. «Петти нашему Митчу в подмётки не годится!» — вторил ему другой. «Как он его на последнем круге, а?» — спрашивал кто-то.

А мне было противно. Только что чуть не погиб человек, причём из-за подлого приёма Митчелла, а им всем хоть бы хны. Но я понимал, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

В какой-то момент Митчелл окончательно почувствовал себя богом. Он залез на стол, в правой его руке была бутылка, в левой — победный кубок, и закричал:

«Меня зовут Ник Митчелл, и я не-по-бе-дим! — он так и разделил это слово по слогам, каждый из которых звучал как отдельный выкрик. — Есть кто-нибудь, кто хочет побить чемпиона? Что, слабо всем?»

«Никого, Митч!» — кричали ему в ответ.

И в этот момент из-за столика поднялся Рэд Байрон. Он медленно, раздвигая столпившихся фанатов, прошёл к столику Митчелла, поднял на него взгляд и спокойно сказал: «Я хочу».

Вы не поверите, но он и в самом деле сказал это тихо, очень тихо. Даже не своим обычным голосом, а почти шёпотом. Но его услышали. Возможно, не сам Митчелл, а кто-то по соседству, и слова Рэда тут же потекли по рядам зрителей и дошли до

молодого наглеца. Митчелл опустил взгляд и увидел Рэда.

Я хорошо запомнил эту сцену. Наверху — юный, широкоплечий парень в шитой золотыми нитями куртке, в узких джинсах, в футболке с надписью «Митчелл» на груди, с блестящим кубком в правой руке, с бутылкой — в левой. Его чёрные глаза блестят, волосы лоснятся от пота и остатков утреннего лосьона.

Внизу — Рэд. Маленький, в потёртых рабочих штанах и невзрачной серой курточке, со старым, обветренным лицом, хромой. Он смотрит на Митчелла снизу вверх, и в глазах его такая сталь, что страшно в них заглядывать.

«Ты? — Митчелл рассмеялся. — Ты, старик? Ты смеёшься?»

Рэд ничего не ответил. Он продолжал стоять и смотреть на парня.

Митчелл спрыгнул со стола. Он был на голову выше Рэда.

«А что ты поставишь, старик? Финал уже закончился, за кубок мы не сражаемся, надо что-то ставить…»

«Машину», — сказал Рэд.

«Машину? Да что у тебя за машина?»

«Хорошая машина».

Митчелл рассмеялся. Издевательски, зло. Я сидел на другом конце забегаловки, но и то чувствовал его презрение к маленькому человечку, который посмел бросить ему, Митчеллу, вызов.

«Боишься поставить свою?» — спокойно спросил Рэд.

Это уже был не вызов, а что-то большее. Это было оскорбление.

«Пошли!» — громко сказал Митчелл. Он сказал это так, что все поняли — он готов поставить машину, и он сдержит своё слово, если проиграет. Не могу объяснить, почему возникло такое ощущение, но оно возникло. Я поверил Митчеллу — хотя он, по сути, ничего не ответил Рэду.

Всё повторилось. Мы уже видели то же самое полтора часа назад, когда Митчелл выходил, чтобы победить Харперсона. Митчелл выбрался наружу в окружении фанатов и девушек, он по-прежнему нёс бутылку и, казалось, совершенно забыл о Рэде.

Рэд вышел через переднюю дверь, потому что «Олдсмобиль» стоял перед заведением. Я бросился было за ним, но затем передумал и вышел во внутренний двор. Митчелл направлялся к «Корветту», который стоял футах в шестидесяти от входа. Он открыл дверь и обернулся.

«Ну и где этот дед?» — спросил он.

«Сейчас подъедет, его машина перед входом», — ответил кто-то.

В этот момент появился автомобиль Рэда. Он выехал из-за здания и остановился около «Корветта». На лице Митчелла появилась гримаса, которую я не могу описать несколькими словами. Собственно, я вообще не могу её описать. В ней сплелись разочарование, презрение, ирония и издевательство, а также чувство собственного превосходства и ещё с десяток эмоций, которые я идентифицировать не смог. Я вообще никогда не наблюдал на человеческом лице такой гаммы чувств. Мне подумалось, что Митчелл мог бы стать неплохим актёром, направь он свою энергию в другое русло.

Рэд остановился футах в тридцати от Митчелла, вышел и громко спросил:

«Где можно заправиться? У меня полупустой бак»

«Езжай с пустым, дед, — сказал Митчелл. — Может, как раз разгонишься и пару кругов успеешь пройти, пока я трассу закончу».

Толпа заржала.

«Мне нужно заправиться», — твёрдо произнёс Рэд.

Мужчина лет сорока в рабочем комбинезоне подтащил огромную металлическую канистру. Пока они с Рэдом переливали её содержимое в бензобак «Олдсмобиля», Митчелл отпускал язвительные шуточки, а толпа смеялась.

И вдруг Рэд повернулся ко мне.

«Поедешь со мной?»

Я удивился. Мало того что Рэд заправил машину, утяжелив её на лишние несколько фунтов, так ещё и второго пассажира хочет, а во мне добрых фунтов сто восемьдесят.

«Зачем?»

«Будешь свидетелем. Садись».

Митчелл смотрел на Рэда с интересом:

«Ты издеваешься, дед?»

«Да», — ответил Рэд и сел в машину.

Мы сразу направились на стартовую прямую. В зеркало я видел, как Митчелл садится в свой «Корветт» и следует за нами.

Машины стояли рядом — новенький спортивный «Шевроле Корветт» против потёртого «Олдсмобиля 88». Никаких шансов, думал я. Конечно, старый «Олдсмобиль» был абсолютно не нужен Митчеллу. После победы он великодушно оставил бы свой выигрыш Рэду, продемонстрировав мировой характер и вызвав ещё больший восторг публики.

Парень с красными флагами появился на трассе. Он встал между машинами и поднял руки. Я видел лицо Митчелла за заляпанным грязью стеклом: он улыбался. Глядел прямо перед собой и упивался своей силой. В этот момент красные флаги

опустились.

Мы рванули вперёд, и «Корветт» тут же стал уходить в отрыв. Один корпус, второй… Началась первая связка поворотов, ведущих вниз. Неожиданно «восемьдесят восьмой» поравнялся с «Корветтом», а затем оказался впереди. Я смотрел на Рэда. Он вёл машину спокойно, сидел прямо, только иногда щурился, когда совершал какой-то сложный манёвр с заносом.

К началу нижней прямой «Олдсмобиль» оказался на полтора корпуса впереди «Корветта». Но на прямике у Байрона не было шансов — «Корветт» мощным рывком нагнал и стал обходить «восемьдесят восьмой». Правда, к этому моменту снова начались связки поворотов.

Именно тогда я осознал, зачем Рэд заправил автомобиль, зачем попросил меня сесть с ним в салон. Он хотел уязвить самолюбие Митчелла как можно больнее.

Сейчас я понимаю, что у Митчелла не было против Рэда Байрона ни единого шанса. Тот сделал бы наглеца, даже если бы сидел за рулём «Жестянки Лиззи» выпуска девятьсот двенадцатого года. Байрон был не водителем, а частью машины. Он тормозил не просто поздно, а чудовищно поздно. Я бы десять раз оттормозился и повернул, когда Рэд ещё только сбрасывал ногу с педали газа. Он постоянно шёл в заносе, иногда задним мостом, иногда всеми четырьмя колёсами, и этот страшный дрифт не требовал от него никаких усилий. Рэд просто делал своё дело. Так рабочий на конвейере прикручивает гайку за гайкой, как Байрон вёл старый «Олдсмобиль».

Самым тяжёлым участком трассы для Рэда была верхняя, стартовая прямая. Длинная и ровная, она предоставляла «Корветту» максимальный шанс. Первый круг Митчелл закончил впереди на корпус — благодаря мощности спортивной машины.

Пошёл второй круг. Митчелл разозлился, причём сильно. Он понял, что играючи победить не получится, — и стал разгоняться. Его нельзя было недооценивать. Машина машиной, но всё-таки Митчелл был талантливым малым. Он разгадал стратегию Байрона и старался как можно сильнее оторваться от него на прямых, а затем потерять как можно меньше на поворотах.

Третий, четвёртый и пятый круги прошли одинаково: на прямых «Корветт» выходил вперёд, затем Байрон отыгрывался. К шестому кругу я понял, что Рэд устаёт. У него на висках блестели капли пота, он вцепился в руль, и повороты на пределе человеческих возможностей давались ему не так легко, как в начале гонки.

Седьмой круг Митчелл закончил, отрываясь от Байрона на четыре корпуса.

Если бы Байрон ехал налегке — в одиночку, с пустым баком, он бы победил запросто. Так мне показалось в тот момент. Но всё было против него — возраст машины, её класс, её вес. А Митчелл снова немного расслабился, вошёл в ритм. Он мог себе это позволить.

Вероятно, толпа в тот момент скандировала: «Митчелл! Митчелл!» — но за рёвом моторов этого было не услыхать.

Миновали восьмой и девятый круги, наступил десятый. Митчелл пересёк линию старта на три корпуса раньше Рэда.

В этот момент я почувствовал какие-то изменения. Я посмотрел на Рэда и понял, что он снова расслаблен — как в самом начале. Он опять сидел ровно и держал руль свободно, не сжимая его изо всех сил. И уже на пути вниз он легко отыграл эти три корпуса.

Проблема заключалась в том, что все предыдущие круги Митчелл заканчивал раньше Байрона. Чтобы успеть первым пересечь линию финиша, Рэду нужно было набрать минимум четыре корпуса преимущества перед последней прямой. Как он собирался это сделать, я не понимал.

Более того, он не стал обходить Митчелла на последней, ведущей вверх серии поворотов. Он держался позади, и мне показалось, что он хочет выйти на прямую одновременно с «Корветтом». Но это было заведомым проигрышем!

Лишь после финиша я понял, что вся гонка была не более чем игрой кошки с мышью. Я думаю, Рэд мог бы привезти Митчеллу круг, а то и больше. Но он издевался над парнем, позволяя тому поверить в возможность победы.

Оставался последний поворот — и всё, финишная прямая. Проигрыш, второе место, прощай, «Олдсмобиль». Рэд держался вплотную за Митчеллом.

И в этом самом последнем повороте он его поддел. Чуть приблизился, вильнул носом — и неожиданно Митчелл исчез, пропал в облаке пыли, а перед нами оказалась совершено свободная прямая. Я понял, что Рэд повторил трюк Митчелла, применённый против Харперсона. Только Рэд сделал это более изящно и гораздо более обидно для проигравшего.

«Корветт» не перевернулся. Его закрутило, и он застрял в песке — точно как после собственной ошибки в предыдущей гонке. А Байрон резко сбросил скорость. Спидометр показывал едва ли двадцать миль в час, когда «Олдсмобиль» величественно проезжал перед трибунами. На лице Рэда не было никаких эмоций, только морщины у глаз стали более заметны, точно он прищурился под круглыми тёмными очками. Он ехал настолько медленно, что Митчелл успел выбраться из песчаной ловушки и

вернулся на дорогу.

А потом Рэд Байрон остановился, не доехав до финишной черты примерно полтора фута.

«Что ты делаешь?» — в ужасе воскликнул я.

Рэд вышел из машины и прислонился к её раскалённому боку, глядя в сторону приближающегося «Корветта».

Трибуны молчали. Полная, глухая тишина обрушилась на трассу, и нарушал её только шум мотора «Корветта».

И когда Ник Митчелл первым пересёк линию финиша, зрители продолжали молчать. Он промчался мимо старого «Олдсмобиля», резко затормозил, чуть не сбив зазевавшегося зрителя, и выскочил из машины. Но все смотрели на Рэда Байрона — человека, который побил Митчелла и так изысканно унизил его, демонстративно подарив победу в заезде.

Митчелл шёл к Байрону, и его поведение не предвещало ничего хорошего. Основной проблемой Митчелла было то, что он совершенно не понимал, что произошло. Он не понимал, почему трибуны молчат, почему «Олдсмобиль» остановился, почему Байрон, проигравший гонку, столь спокоен.

Он подошёл к Байрону, огромный, разъярённый, и навис над этим маленьким человечком, пытаясь прочесть его взгляд через солнцезащитные стёкла.

«Ты проиграл», — прошипел он громко, так, что близстоящие слышали.

И ещё эту фразу услышал финишный судья с клетчатым флагом. Он подошёл, безликий человек неопределённого возраста, и сказал: «Нет, Митчелл, ты проиграл».

И положил флаг на капот «Олдсмобиля».

Зрители не знали фамилии Рэда и потому начали кричать: «Олдсмобиль! Олдсмобиль!» Точно, как раньше звучало «Митчелл! Митчелл!».

Я тоже выбрался из машины одновременно с Байроном и стоял рядом, изучая толпу и пытаясь разделить её на лица. Но у меня не получалось: толпа оставалась толпой.

Тут кто-то схватил меня за рукав. Это был тот самый мужчина, который в первом заезде сделал ставку на Харперсона.

«Я всё поставил на “Олдсмобиль”! — жалобно воскликнул он. — Кто победил, объясните мне!»

«Олдсмобиль», — кивнул я.

«Спасибо!» — мужчина радостно улыбнулся и исчез.

Скорее всего, я ему не соврал. В случаях, когда один гонщик по собственной инициативе отдаёт победу другому на последних ярдах дистанции, букмекеры выплачивают ставки по пришедшему вторым как по победителю. Чаще всего такие случаи происходят

из-за командной тактики. Я мог бы привести ряд примеров, но не буду перегружать свою историю цифрами — полагаю, их и так достаточно.

Рэд молча сел в машину, и я сделал то же самое. Он тронулся с места, и никто ему не мешал — ни Митчелл, ни зрители, ни судья. Лежавший на капоте клетчатый флаг упал в пыль. Мы выехали с заднего двора и оказались на трассе. Рэд повернул к Гранд-Джанкшену, а я сидел и молчал, потому что мне было нечего сказать.

Только через десять минут я спросил: «Кто вы такой, Рэд?»

«Когда-то меня звали Роберт Байрон, — ответил он. — И тогда никто не спрашивал меня, кто я такой».

Мне нечего добавить к этому рассказу. Путь до Гранд-Джанкшена прошёл в молчании. Не знаю, что изменилось в наших отношениях, но я просто понимал, что говорить незачем. Тишины вполне хватало.

Он довёз меня до главных ворот Национального парка Колорадо, массивной кованой двери с витиеватым узором. Кажется, сегодня этих ворот уже не существует, как и ограды, отделяющей парк от остального мира. Я не буду рассказывать, для чего мне понадобилось в заповедник, — это неважно. Важно то, что сказал мне Рэд при расставании.

«Запомни, парень, — сказал он. — Иногда нужно отвести взгляд, чтобы увидеть самое важное, и убрать кулак, чтобы нанести самый сильный удар».

Я помню это и сегодня.

А Рэд Байрон умер в чикагском отеле одиннадцатого ноября тысяча девятьсот шестидесятого года, едва успев лечь в постель после того, как его сердце не выдержало. Ему было сорок пять лет, но он выглядел на семьдесят. Морщины покрывали его лицо, тёмные очки прятали выцветшие усталые глаза, левая нога болела так, что он не мог и нескольких часов провести без укола обезболивающего.

Но я представляю Байрона другим. Я представляю, как он привязывает ногу бечевой к педали сцепления своего «Олдсмобиля», чтобы выиграть очередную гонку тысяча девятьсот сорок девятого года и стать первым в истории чемпионом в соревнованиях американских сток-каров. Я представляю, как он морщится от боли по десять раз на круге — когда на изуродованную ногу приходится давление. Я представляю, как он снова садится в автомобиль, и снова, и снова, и так без конца, потому что его зовут Рэд Байрон и он самый быстрый человек в Америке, а может, и во всём мире.

И когда я смотрю современные гонки, когда я слышу, что

гонщики жалуются на недостаточную зарплату в десять миллионов долларов в год, когда они говорят, что гонки опасны, хотя за последние десять лет во всём мире погибла едва ли дюжина человек во всех многочисленных видах автогонок, мне становится тошно.

Потому что я понимаю, что в стране, где когда-то жил-был великан, мы навсегда останемся пигмеями.

Ковёр из женских волос

Сколько я себя помню, на стене в нашей гостиной висел ковёр из женских волос. Конечно, когда я был маленьким, я не понимал, из чего он сделан. Я подходил и дотрагивался до его блестящих нитей, мне нравился их пыльный, чуть сладковатый запах. Много позже я почувствовал этот же запах в старой парижской квартире своих друзей, у которых гостил несколько недель. Этот запах преследовал меня, не давал уснуть — нормально я выспался, только вернувшись из Парижа обратно в Бостон. Это запах разложения, запах смерти, запах гниения. Я нередко ощущал его там, где не могло быть никакого разложения, — например, в знаменитых европейских оссуариях; хранящиеся там кости давно высохли и превратились в строительный материал.

Впрочем, неважно. Итак, уже став взрослым, я сумел идентифицировать запах, исходящий от ковра. Но в бытность свою ребёнком я просто принюхивался к странному стенному украшению и не пытался найти никаких объяснений его присутствию в нашей гостиной.

Мои родители покинули Великобританию в 1915 году, в разгар Первой мировой войны. Ко времени их отъезда Британская империя уже официально объявила войну Германии, Австро-Венгрии и Турции, военные действия на материке велись довольно активно, и мой отец, Майкоп Стэнфорд, откровенно испугался. Он продал часть недвижимости, забрал жену и сына (моего старшего брата) и отплыл в США на одном из многочисленных океанских лайнеров. Он обосновался в пригороде Бостона, Арлингтоне. Отец был полон решимости начать в Америке новую жизнь. Он приобрёл великолепный особняк конца девятнадцатого века, обустроил его по-своему (сегодня говорят «сделал ремонт») и обставил новой мебелью. Прекрасные викторианские гарнитуры из нашего Банберского дома были проданы.

Мать очень держалась за старые вещи. Она хотела погрузить на корабль несколько сундуков со своими платьями и детскими игрушками моего брата. Отец запретил. «Всё купим на месте», — сказал он и сдержал своё слово. Всё то, что можно было заменить, он называл бесполезным и безжалостно оставлял в Старом Свете.

Некоторые вещи он оставить не смог. Конечно, родители забрали всё фамильное золото и серебро, картины, библиотеку. Всё то, что было достаточно компактным и при этом имело

огромную ценность. В коллекции отца были подлинники Тёрнера, Блейка, Бонингтона и Рунге — мог ли он расстаться с ними?

Вместе с многочисленными украшениями и произведениями искусства в Арлингтон переехал и ковёр из женских волос. Его повесили в гостиной в 1917 году, годом позже родилась моя сестра, а ещё три года спустя — я.

Я люблю этот огромный дом. Мне нравится бродить по его комнатам, рассматривать картины, утопать в персидских коврах. Сейчас я живу в нём один-одинёшенек, лишь приходящая обслуга поддерживает особняк в чистоте и порядке — сам бы я никогда не справился. Моя жена, как всегда, отправилась в одиночку путешествовать по Южной Америке, а дети давно учатся в других городах. И ковра из женских волос больше нет на стене гостиной. Собственно, я и хочу рассказать вам историю его исчезновения.

***

Впервые я узнал, из чего сделан ковёр, уже после смерти отца. Он умер в 1932 году в возрасте шестидесяти шести лет — мне тогда было одиннадцать, а брату — двадцать два. Брат уже не жил в особняке — он учился в Кембридже и появлялся дома лишь изредка, прокуренный, загорелый, с оббитыми костяшками пальцев. На вопросы он отвечал: занимаюсь боксом. На самом деле брат участвовал в нелегальных боях на деньги; тремя годами позже ему размозжили голову в каком-то тёмном переулке.

Мать трудно переживала смерть мужа. Она была младше отца на двадцать лет и сохраняла свою красоту даже за сорокалетним рубежом. Но после смерти Майкопа мама начала чахнуть. Она не дожила до смерти старшего сына — слава богу. Таким образом, к началу Второй мировой войны в особняке жили только мы с сестрой да слуги. Нашим опекуном стал старинный друг отца Генри Спэктон, который управлял активами отцовских заводов (в конце 1910-х отец купил несколько прядильных производств и превратил их в серьёзную компанию по пошиву одежды), а заодно распоряжался нашими деньгами. Наверняка он приворовывал, но не слишком много. По крайней мере, я не работал ни дня в своей жизни и ни в чём себе не отказывал: фабрики и сегодня приносят мне стабильный доход.

Я очень хорошо помню, как выглядел ковёр. Примерно шести футов в высоту и десяти в ширину, он состоял из сложных хитросплетений волос различной длины, цвета и качества. Количество неповторяющихся элементов узора не поддавалось подсчёту. Тут были цветы, причём каждый лепесток был сделан из волос другого качества; были имитации древесных ветвей,

сплетённых из тугих каштановых кудрей; с ветвей свисали тяжёлые плоды, скрученные и свалянные из волос шары. В безумном буйстве волосяного леса можно было заметить райских птиц с узорчатыми хвостами; могучий ягуар скалил зубы, положив тяжёлую лапу на странный предмет, являющийся центральным элементом ковра. В детстве я никогда не задумывался о том, что это такое. Но однажды я смотрел на ковёр с некоторого расстояния, футов эдак с двадцати, и вдруг всё понял. Предмет в центре был человеческим черепом, рельефно выступающим из ковра. Он представлял собой волосяной шар характерной формы; глазницы были выплетены волосами цвета воронова крыла, сам череп — светлыми кудрями. С тех пор я начал инстинктивно сторониться чудовищной картины.

Разговор о ковре произошёл, кажется, в 1934 году. Мать сидела над альбомом с викторианскими фотографиями, а я вертелся рядом. Мы начали о чём-то разговаривать, постепенно разговор перешёл на стоимость и ценность картин, а потом каким-то образом добрался и до ковра.

«А из чего он, мама?» — спросил я без задней мысли.

Мать грустно улыбнулась.

«Из женских волос», — ответила она.

Сначала я не поверил, но мать попросила меня присесть и рассказала историю ковра. До сих пор нет ни одного доказательства того, что эта история выдуманная. Скорее всего, мать рассказала чистую правду. Конечно, я привожу историю не в том виде, в каком её представила мать. С тех пор я провёл много различных исследований, беседовал со многими людьми, копался в архивах. Мать заложила лишь основу, «скелет» истории.

ИСТОРИЯ КОВРА

Моды викторианской эпохи заметно отличались от современных, хотя сменялись практически с такой же скоростью. В одном сезоне женщины ходили в платье с бантом спереди, в другом появлялись ленточки сзади; существовали ежемесячные и еженедельные журналы, аналогичные современному Cosmopolitan, по которым дамы девятнадцатого века ориентировались в изменчивом мире моды.

Причёски тоже были разными. Из волос создавались сложные,

необыкновенно красивые конструкции. На одну подобную причёску могло уходить по шесть-семь часов. Естественно, мыли голову гораздо реже, чем сейчас, особенно если учесть, что не было централизованного водоснабжения и специальных средств по уходу, например шампуней. Невзирая на все эти сложности, женщины носили исключительно длинные волосы. Длина и густота женских волос были важнейшими признаками красоты и сексуальности (собственно, одной из причин обязательного сокрытия волос в церкви является необходимость избежать сексуального подтекста). Иной раз некрасивая женщина с волосами, достигавшими земли, ценилась мужчинами больше, чем коротковолосая красавица.

Девочек с младенчества обучали одеваться изящно и ухаживать за волосами. Эти девочки к шестнадцати годам превращались в прекрасных девушек — не то что сегодня. Они умели подчеркнуть достоинства собственной фигуры, они прекрасно знали, какое выражение лица им идёт, а какое их портит. И, конечно, их причёски и шляпки неизменно привлекали внимание алчных мужчин (да, мужчины всегда были одинаковы).

Викторианская девушка имела волосы длиной примерно три-четыре фута. Наиболее терпеливые отращивали волосы до самой земли. Фотографии женщин с распущенными волосами стали отдельным жанром фотоискусства. Из Англии этот жанр перекочевал в Америку — примерно в 1870-е годы. Карточки с викторианскими Рапунцель сегодня ценятся; среди обычных открыток в лавке у старьёвщика их не найдёшь.

Наиболее известными дамами с очень длинными волосами были семь сестёр Сазерленд. Они были некрасивы — все семеро. Но пятьдесят футов волос на семерых — представляете себе? Они демонстрировали свои достоинства в цирке Барнума и Бейли, обратив волосы в золото. А затем организовали производство различных средств для ухода за волосами, выступая в качестве живой рекламы. Три миллиона долларов для середины 1890-х годов — гигантская сумма.

Впервые сёстры начали выступать в цирке Барнума и Бейли в 1882 году. Старшей, Саре, тогда было тридцать шесть лет, младшей — Доре — восемнадцать. Девушки умели не только «трясти гривами», но и великолепно петь, поэтому шоу пользовалось успехом. А в 1885 году Наоми Сазерленд вышла замуж за Генри Бейли, племянника совладельца цирка. Для Бейли семья Сазерленд из наёмных артистов превратилась в родственников.

В 1882 году отец девушек Флетчер Сазерленд начал производство «средства для роста волос». По утверждению

Флетчера в состав средства входили тетраборат натрия, соль, хинин, шпанская мушка, лавровишневая вода, глицерин, розовая вода, спирт и мыло. То есть оно представляло собой что-то вроде шампуня. Впоследствии одна из крупных фармацевтических лабораторий провела независимое исследование средства и выяснила, что оно на пятьдесят шесть процентов состоит из обычной воды, а на сорок четыре процента — из лавровишнёвой, плюс немного соли. Но семь длинноволосых дочерей Сазерленда были великолепной рекламой для его «средства». Помимо того, Сазерленд производил краску, мыло и средство для восстановления тонких и ломких волос.

Вот тут-то и начинается история ковра. Дело в том, что в 1886 году Генри Бейли вложил свои деньги в рекламную кампанию, положившую начало состоянию Сазерлендов. Вся рекламная кампания базировалась на постулате «Семь сестёр Сазерленд представляют». На всех рисунках и снимках их было семеро — это была торговая марка и запоминающийся слоган.

Но в 1893 году тридцатипятилетняя Наоми Сазерленд скоропостижно скончалась. Её смерть могла серьёзно нарушить рост бизнеса (к тому времени количество производимых продуктов выросло втрое), и потому было принято беспрецедентное решение. Сёстры наняли девушку по имени Анна Луиза Робертс, которая внешне напоминала Наоми и — главное! — имела такие же шикарные волосы. Одним из ходовых трюков Наоми было полное заворачивание в собственные волосы (длиной порядка пяти с половиной футов). Робертс же обладала волосами девятифутовой длины, которым завидовали даже сёстры Сазерленд.

Сёстры планировали выстроить для Наоми мемориальный мавзолей стоимостью порядка тридцати тысяч долларов, но до этого дело не дошло, потому что свободных денег не было. Наоми похоронили в семейном склепе. Впрочем, на самом деле средств было предостаточно. Особняк, который построили для себя сёстры Сазерленд, поражал количеством комнат и роскошью. В спальне каждой сестры был бассейн с проточной водой — она подводилась из специальных баков, расположенных в подвальных помещениях. Наоми же похоронили тайно именно потому, что её смерть необходимо было скрыть. Внутри склепа нет имени Наоми — табличку решили не устанавливать.

В то время как Анна Луиза Робертс исполняла на публике роль пятой сестры, волосы Наоми не пропадали даром. Перед захоронением её роскошные волосы аккуратно срезали и сплели из неё некий узор, который впоследствии стал частью этого самого ковра. Где именно находятся волосы Наоми, выяснить, к

сожалению, сложно: каштановых оттенков в ковре много, и какие из волос принадлежат ей, какие — другим донорам, догадаться невозможно.

Вы можете спросить — а как же ковёр попал в Англию? Очень просто. Собственно, в Англии искусство создания узоров из волос было гораздо более развито, нежели в США. А волосы сестры Сазерленд представляли собой невероятно ценный материал для изготовления украшения. Их упаковали и переправили в Англию — к местным мастерам.

Вторая часть истории началась в 1899 году, когда пятидесятилетняя Виктория Сазерленд неожиданно вышла замуж за девятнадцатилетнего парня. Различные проходимцы вились вокруг не слишком юных и далеко не красивых сестёр постоянно — всё-таки их состояние было огромным. Например, некий Фредерик Кастлмейн ещё в 1892 году вошёл в круг сестёр, увиваясь за самой молодой (тогда ей было двадцать девять лет) и симпатичной Дорой, но в итоге женился на сорокалетней Изабелле, которая его впоследствии пережила и умудрилась второй раз выйти замуж за другого проходимца на шестнадцать лет младше.

А вот история Виктории выглядит несколько печальнее. Из-за чудовищно неравного брака — тридцать один год разницы! — другие сёстры перестали с ней общаться. У неё осталась часть акций компании, но она была вынуждена перебраться в другой дом вместе со своим муженьком. А в 1902 году Виктория неожиданно умерла, причём явно не без посторонней помощи. Акции достались мужу, он куда-то пропал, а тело Виктории отправилось в фамильный склеп. Волосы Виктории Сазерленд были использованы для изготовления ковра с аппликацией в виде ягуара, держащего лапу на человеческом черепе. Ковёр заказал её муж, после чего сложил пожитки и отплыл в Англию.

Но была ещё одна причина отдаления Виктории от семьи. Почему мальчишка выбрал именно её? В том же году он вполне мог соблазнить ещё не потерявшую привлекательности тридцатисемилетнюю Дору.

В период расцвета бизнеса сёстры ворочали огромным состоянием, но в 1898 году оно неожиданно сократилось примерно на одну треть. Около пятисот тысяч долларов были просто изъяты из оборота, и кем — именно Викторией! А годом позже она вышла замуж. Такая растрата не разорила предприятие. Вопрос был лишь один: куда делись деньги.

Чтобы ответить на этот вопрос, придётся немного забежать в будущее. В 1905 году в Южной Африке был найден гигантский алмаз «Куллинан» весом в три тысячи сто шесть карат. Спустя два

года правительство Трансвааля преподнесло алмаз английскому королю Эдуарду VII в подарок на день рождения. Но огранить такой большой камень не представлялось возможным, тем более в нём присутствовали инородные вкрапления и многочисленные трещины. В итоге лучшие голландские ювелиры братья Асскер раскололи алмаз на девять камней поменьше и огранили их. Самый крупный камень «Куллинан I» имеет вес 530,2 карата и украшает сегодня королевский скипетр.

Но была у «Куллинана» и ещё одна сторона. Судя по форме изначального камня, он сам по себе уже был осколком какого-то более крупного алмаза. Тщательный анализ показал, что, вероятнее всего, где-то в недрах южноафриканских земель хранится второй кусок Куллинана, причём больший, нежели найденный. В Трансвааль было отправлено несколько экспедиций, единственной целью которых было найти второй «Куллинан». Рудник «Премьер», на котором был обнаружен камень, кипел около двух лет. «Куллинан» нашли на глубине примерно тридцати футов, после же дополнительных поисков глубина карьера зашкалила за сто футов! Сам Томас Куллинан, владелец рудника, спускался в карьер и даже сделал несколько ударов киркой. Всё было напрасно.

Но вот незадача. В 1897 году на «Премьере» побывала группа американских путешественников и искателей приключений. Точнее, никакого рудника в то время ещё не было, земля никому не принадлежала, и накопать себе алмазов мог любой прохожий. Американцы были профессиональными золотоискателями, просто золота находили с каждым годом всё меньше и меньше, Клондайк был чрезмерно забит старателями, а аляскинские месторождения ещё не были толком разработаны. Алмазная лихорадка в ЮАР была на спаде, практически все шахты после выкупа контрольного пакета акций у «Кимберли» принадлежали монополисту Сесилу Родсу, а искателей-частников порой просто отстреливали.

Американцы полгода копались на месте будущей шахты. Они застолбили небольшой участок земли, вырыли яму, которую и шахтой было не назвать, и понемножку добывали мелкие алмазы, далеко не всегда годные для огранки. Но вдруг они неожиданно снялись с места и уплыли обратно в США. Всё случилось в один день, как говорили местные. Вот они тут, вот их нет. Никто американцам не угрожал, землю их выкупать тоже никто не собирался. Единственный вывод, который можно было сделать: они что-то нашли.

Скорее всего, на родине они начали искать покупателя для своей добычи и поняли, что не всё так просто. Если они нашли второй (точнее, всё же первый) «Куллинан» весом порядка пяти

тысяч карат, то не каждый миллионер согласился бы на приобретение такого камня, да ещё и необработанного. Однако покупателя они нашли — им, скорее всего, и стала Виктория Сазерленд. Растратив огромную сумму из оборота компании, она тут же вышла замуж и отделилась от сестёр. Зачем ей понадобился алмаз? Вот этого я не знаю.

Но вернусь к ковру. Итак, в 1893 году, после смерти Наоми, её волосы переправили в Англию и сделали из них ковёр. Конечно, одноцветные волосяные аппликации ценились не слишком высоко, поэтому в поделку вплели волосы других женщин. Это были «свежесобранные» волосы живых доноров: мастера скупали их у населения за небольшую плату. Другое дело, что волосы достойной длины и качества носили в основном женщины из высшего общества, которые вряд ли продали бы их за бесценок. Да и вообще не продали бы.

В 1903 году юный вдовец Виктории Сазерленд приехал в Англию и привёз с собой упомянутый ковёр-аппликацию в виде ягуара. Он хотел, чтобы волосы его покойной супруги сплели с волосами Наоми. Он нашёл владельца первого ковра и выкупил его. Тот же мастер, что делал тот ковёр, модернизировал его, нашив сверху на узоры из лиан и колибри ту самую аппликацию.

Деньги, доставшиеся от покойной жены, молодой человек промотал достаточно быстро и уже в 1907 году был убит в кабацкой драке кривым ножом какого-то матроса. Незадолго до смерти он пытался найти в Лондоне человека, способного сразу заплатить большую сумму за некий товар. Вероятнее всего, он искал покупателя на алмаз, но такового не нашлось. Имущество покойного было распродано с молотка — и обладателем ковра из женских волос стал мой отец. Слава сестёр Сазерленд была велика, и то, что в ковре использованы волосы Наоми и Виктории, было не скрыть. Остальные «доноры» оставались безымянными.

Собственно, о ковре больше рассказать нечего. Точнее, о его истории вплоть до появления в нашем доме. Дальнейший мой рассказ пойдёт о том, как волосы сестёр Сазерленд вернулись назад, в Америку.

***

Итак, ковёр висел на стене особняка, сколько я себя помню. Постепенно нас становилось всё меньше и меньше — сначала ушёл отец, затем — мать, затем — брат. В 1939 году моей сестре исполнился двадцать один год, и она вступила во владение нашим имуществом. Я в это время учился в Бостонском университете.

В конце 1941 года Соединённые Штаты вступили во Вторую

мировую войну, а годом позже я собрал пожитки и пошёл добровольцем в армию. Сестра кричала, билась в истерике, говорила, что меня убьют, но мне было безразлично. Я прошёл подготовку и в 1943 году оказался в Европе, в самом центре событий. Да, я видел войну не то чтобы от начала, но уж точно до самого конца. Эта история — вовсе не о войне, и потому я не хочу рассказывать о двух годах, проведенных на фронте. Посмотрите на старые фотографии. Те самые, где вооружённый до зубов американский солдат с рюкзаком открывает дверь барака, выпуская на воздух живые скелеты гитлеровских концлагерей. Этот солдат — я. Мы все были такими солдатами, и мы не могли поверить, что человека можно довести до такой степени истощения и унижения. Более того, мы не могли поверить в то, что человек может выжить в таких собачьих условиях.

Мы чувствовали себя освободителями. Мы не приняли на себя страшную ношу первых дней войны, нас не сминали гитлеровские танки, нас не вытаскивали из домов в ночных рубашках и не расстреливали на морозе. Мы пришли, будучи сильнейшими, и додавили ослабленную фашистскую машину. Будем честны: Европа справилась бы и без нас. Но с нами ей было гораздо проще.

Я вернулся в 1945 году — победителем. Война с Японией ещё шла, но нас, входивших в Берлин, нас, видевших Дахау своими глазами (да, я стрелял в пленных немецких солдат, я ненавидел их и стрелял в их свастики, в их бескровные лица, они были безоружны, а я — стрелял), видевших, как заключённые разрывают на части попавшихся в их птичьи когтистые пальцы надсмотрщиков, нас — отпустили домой. Мы шли по улицам собственных городов, будучи уверенными в том, что мы — победили. Не они, не эти русские и англичане, а мы — американцы.

В том же году моя сестра вышла замуж за очень обеспеченного человека на пятнадцать лет её старше и уехала с ним в Питтсбург. Особняк остался за мной. Сначала мне было одиноко, но вскоре я привык. В университете я восстанавливаться не стал, хотя успел закончить четыре курса, и оставалось отучиться всего лишь полгода. Мне было лень, доходов хватало, управляющие вполне справлялись со своей работой. Я превратился в богатого бездельника и прожигателя жизни. Я бахвалился своим героизмом (впрочем, не совсем уж голословно — я ведь воевал по-настоящему, и стрелял во врага, и шёл в атаку), легко снимал девочек, легко с ними расставался.

В 1946 году я наткнулся в газете на заметку о смерти некой Грэйс Сазерленд, девяноста двух лет от роду. Там упоминалось,

что некогда она была очень богата, в 1920-х годах растратила вместе с сёстрами всё состояние, и старость её прошла в нищете.

И я вспомнил мамины рассказы. Я проассоциировал старуху Сазерленд с семью сёстрами и понял, что это — одна из них. Именно тогда я впервые подумал, что сказки о том, что ковёр сплетён из волос семи девушек (так говорила мама; что в ковре есть волосы лишь двух сестёр, я узнал самостоятельно гораздо позже) — это правда. И я, как ни странно, взялся за расследование. У меня нашлось дело, которое заняло моё свободное время, а также потребовало финансовых расходов и приложения ума. Я уже не бродил бесцельно по многочисленным комнатам отцовского особняка, не водил по нему девушек нетяжёлого поведения, не просиживал днями у радиоприёмника.

Я копался в библиотеках, чтобы выяснить обстоятельства жизни и смерти семи сестёр Сазерленд. Многочисленные их фотографии были сделаны в различных студиях в Питтсбурге (Morris), Нью-Джерси (Wendt), Коламбусе (L. M. Baker) и других городах США. Я объехал все эти адреса («Вендт», кстати, по-прежнему существовал), я искал упоминания в газетах, рекламные проспекты и статьи о цирке Барнума. Так постепенно я открывал для себя мир сестёр Сазерленд. Почти все сведения, которые я привёл в истории ковра из женских волос, я почерпнул из этого расследования.

Я пригласил эксперта, который исследовал ковёр с увеличительным устройством, ни разу даже не прикоснувшись к драгоценным волосам. Эксперт подтвердил, что ягуар с черепом были прикреплены к лесному фону позже, но, похоже, тем же мастером, который делал фон. Ягуар был явно сплетён другой рукой.

Юного мужа Виктории звали Чарльз Моутон. Всё в его поведении было понятно — от женитьбы на Виктории до присвоения денег после её смерти. В принципе, Виктория считалась самой красивой из сестёр — и была красавицей году эдак в 1870-м. Но никак не в пятьдесят лет. Поэтому Чарли наверняка был очень рад её кончине. Более того, газетные хроники не исключали того, что он приложил руку к её скоротечной болезни. Впрочем, то были дела давно минувших дней. Гораздо более меня интересовало, зачем он выкупил часть ковра из волос Наоми и заказал большой ковёр, вплетя в него волосы своей жены. Это было единственным нелогичным поступком в его странной жизни. Более того, зачем было заказывать ягуара в США, а потом поручать английскому мастеру объединять ковры? Это оставалось загадкой.

Неожиданно я вышел на историю с «Куллинаном». Это дало

моим розыскам новое направление. Причём направление достаточно объёмное — я сам плавал в ЮАР и ходил по приискам. Я нашёл очевидцев, которые помнили американцев, приезжавших полвека назад. Один глубокий старик был у них проводником и слугой. Он-то и рассказал историю об их внезапном отъезде. Они оставили ему более чем щедрое жалование (он купил себе стадо и немного земли для пастбища) и снялись буквально в один день. Старик больше ничего не знал. Но догадка моя о том, что американцы нашли первый «Куллинан», получила более чем твёрдую опору.

Мои исследования тянулись более пяти лет. В 1952 году я знал всё, что рассказал вам (конечно, я знал много больше, но пришлось серьёзно ужимать историю, чтобы она хотя бы казалась интересной). Я не знал лишь одного: куда всё-таки делся камень. Моутон явно увёз его в Англию, потому что искал там перекупщика. И, судя по всему, не нашёл. Поэтому дальше мне надо было выяснить, кому и что досталось из имущества покойного. Я отправился в Англию и прожил там два года.

Это были спокойные годы. Денег у меня было вдосталь; я арендовал квартиру в центре Лондона и проводил всё время в исследованиях. Я беседовал с судебными приставами, адвокатами, покупателями. Прошло сорок пять лет, многие были уже мертвы, а живые почти ничего не помнили. Я навязывался в гости к людям, владевшим вещами Моутона, я простукивал стены и изучал документы.

Более всего меня интересовали именно предметы мебели, которые он зачем-то погрузил на корабль и повёз с собой в Англию. Самым «перспективным» мне казался старинный комод восемнадцатого века, который Моутон купил ещё в США. В 1954 году, когда я впервые его увидел, комод принадлежал пожилой чете по фамилии Стиверс. Они были очень милые и болтливые, напоили меня чаем и разрешили покопаться в комоде — их личных вещей там почти не было, он служил чем-то вроде декорации в огромной гостиной. Стиверсы купили комод непосредственно на аукционе; они в тот год только поженились и как раз обзаводились мебелью.

Я объяснил, что комод имеет историческую ценность и требует занесения в какой-то там реестр. Да, я довольно нагло врал пожилым людям, но моя ложь не вела ни к каким пагубным для них последствиям. После получаса копания в комоде я нашёл потайное отделение. Вы не можете себе представить, как билось моё сердце, когда я открывал его. Внутри я нашёл небольшую стопочку бумаг. С первого взгляда я понял, что эти бумаги не принадлежали Стиверсам. Первая же была каким-то векселем на

имя Чарльза Моутона. Стиверсы находились в другой комнате, и я спрятал бумаги за пазуху, после чего аккуратно задвинул потайной ящичек обратно. Так я получил новую нитку, за которую можно было потянуть.

***

Бумаги я изучил тем же осенним вечером 1954 года. Там были давно потерявшие свою ценность закладные на имущество, неиспользованный билет на корабль до Дублина и множество счетов. И, конечно, долговые расписки — более тридцати бумажек, написанных от руки. Судя по всему, Моутон активно играл на скачках и в азартные игры — и всегда проигрывал.

Среди счетов я нашёл один, который меня весьма заинтересовал. Это был счёт от анатома с указанием фамилии врача и города, где он практиковал. Счета от анатомов — вещь не слишком частая. Такой счёт можно встретить, если, например, врач проводил вскрытие по требованию родственников. Собственно, в счёте встречалось слово «вскрытие». А «пациентом» была Виктория Сазерленд. Счёт был оплачен. Видимо, он случайно затесался среди других бумаг.

Но у меня возник резонный вопрос: зачем понадобилось Моутону вскрытие покойной супруги. Да ещё такое, чтобы о нём никто не знал. Обычно вскрытие делается, чтобы выяснить причины смерти, а потом написать о них в некрологе. Но в газетных некрологах не было указано, от чего умерла Виктория. Просто «умерла». Поэтому и возникла некоторая шумиха, связанная с возможным отравлением её Моутоном. Я ничего не понимал: он что, отравил её, а потом решил убедиться, что погибла она именно от яда?

Я продолжал свои изыскания в Англии до конца 1954 года, а в декабре вернулся обратно в США. По возвращении первым же делом я отправился в Локпорт. Странно, но до сих пор я ни разу не упомянул, что легендарный особняк сестёр находился в Локпорте, штат Нью-Йорк. Я не раз посещал Локпорт, бродил по кладбищу, нашёл склеп, где теоретически была похоронена Наоми, и даже бывал в развалинах особняка Сазерлендов. Я бродил по нему несколько часов в 1948 году, дотрагивался до ободранных стен, пытался найти какие-либо тайники (впрочем, Сазерленды продали дом ещё в начале двадцатых, и все тайники наверняка нашли без меня). Годом позже его снесли; в подвале обнаружили огромный запас стеклянных бутылочек из-под удивительного тоника для волос — почему-то последний владелец дома никогда не заходил в ту часть подпола. Я выкупил

несколько бутылочек для коллекции.

Но в 1955 году я отправился в Локпорт в первую очередь для того, чтобы найти анатома, вскрывавшего Викторию Сазерленд. Его фамилия была Пинбэк, и я нашёл дом, где он практиковал полвека тому назад. «Доктор Л. Пинбэк» — было написано на табличке.

Людвиг Пинбэк оказался внуком того Пинбэка, Сэмьюэла. Людвиг принял меня радушно, расспросил, что я знаю о его дедушке, и рассказал, что Сэмьюэл Пинбэк вовсе не был патологоанатомом. Он был обычным практикующим врачом, принимал пациентов, а с трупами работал исключительно за большие деньги или по полицейскому ордеру. Просто он был очень хорошим врачом — гораздо лучшим, чем штатный патологоанатом, и полиция штата в некоторых случаях готова была раскошелиться, чтобы точнее определить причину смерти в спорных случаях. Сын Сэмьюэла стал адвокатом, а Людвиг решил вернуться к семейной профессии.

Пользуясь гостеприимством врача, я показал ему счёт Чарльза Моутона и спросил, можно ли выяснить, какую работу проводил доктор Пинбэк с телом Виктории Сазерленд. Людвиг легко подтвердил: можно. Прошло более полувека, и соблюдать врачебную тайну покойницы было бы довольно странно.

Сэмьюэл вёл очень подробные дневники. Он описывал каждую работу в мелочах, на многих пациентов (правда, живых) держал целое досье. На счёте стояла дата, и Людвиг довольно быстро нашёл отчёт за указанное число. Он начал просматривать отчёт — и неожиданно присвистнул.

«Да, — сказал он. — Тут и в самом деле кое-что необычное».

«Что?» — спросил я.

«Это был чёрный заказ. То есть нелегальный, за хорошие деньги. Очень хорошие. Сколько там в счёте?»

«Десять долларов».

«На самом деле указана сумма две тысячи».

Тут настала моя очередь удивляться. За какую однодневную работу патологоанатом в 1902 году мог запросить две тысячи долларов?

«Почитайте сами», — Людвиг передал мне тетрадь.

Я прочёл и пришёл в некоторое смятение. По заказу Чарльза Моутона доктор Сэмьюэл Пинбэк отделил от тела Виктории Сазерленд голову и отчистил череп до состояния, в котором его можно было показывать в качестве методического пособия. Он же, патологоанатом, помог поместить Викторию в гроб. Самое странное то, что всё это происходило уже после того, как сёстры попрощались с почившей, и даже — судя по дате — после

похорон! Почему-то раньше я не обратил внимания на этот факт. Похороны были подделаны?..

Но я читал дальше. Гроб с телом был доставлен на кладбище и похоронен как подобает. Могила, вырытая за день до этого, уже ждала.

Скорее всего, подумал я, Моутон подкупил могильщика, чтобы тот не закапывал яму после того, как провожающие уйдут с кладбища.

Череп Виктории доктор передал Моутону, а затем выдал ему фальшивый счёт за услуги на случай, если кто-то видел Моутона входящим в дом патологоанатома. Счета у врача были стандартные, отпечатанные, на них указывалось: «Доктор Пинбэк, фармацевт, анатом». В случае вопросов Моутон всегда мог сказать, что у него проверяли, например, состояние гланд и взяли за это десять долларов. Даже странно, что мой глаз уцепился именно за слово «анатом», а не за более мирное «фармацевт».

Мы с Людвигом Пинбэком ещё некоторое время обсуждали странный заказ, выполненный его дедом, а потом я откланялся.

***

Я был дома на следующий день. Побеседовал со слугой, принимавшим пальто, потом прошёл в гостиную и некоторое время смотрел на ковёр из женских волос. Затем я достал складной нож и подошёл к ковру.

Я не был уверен в том, что делаю. Но догадка, которая пришла ко мне в голову при чтении заметок Пинбэка, была последним шансом на распутывание странной истории Чарльза Моутона и его покойной супруги. Я начал аккуратно перерезать внешние волосы, образующие череп под лапой ягуара. Я резал и резал — и уже думал, что внутри и в самом деле обычный волосяной шар, когда наткнулся на что-то твёрдое. Я разрезал ещё несколько волокон, а потом рванул на себя — и мне в руки выпал выбеленный, тщательно обработанный профессиональной рукой человеческий череп, служивший основой для объёмного узора. Череп Виктории Сазерленд.

Я подошёл к столу и положил череп на него. Крышка черепа была отделена от основной части, а затем укреплена скобами. Я начал по одной отгибать скобы. Всего их оказалось двенадцать. Когда я отогнул последнюю, руки мои дрожали от волнения. Я снял крышку и увидел то, что должен был увидеть.

Передо мной в глубине вычищенного черепа лежал огромный неогранённый алмаз, который так и не нашла экспедиция английского короля Эдуарда VII.

***

Алмаз получил название «Стэнфорд» — если вы не забыли, это моя фамилия. Он весил пять тысяч шестьсот четыре карата, или тридцать девять с половиной унции. Как и в «Куллинане», в нём были микротрещины. После полугода тщательного изучения специалисты бостонской ювелирной фирмы раскололи его одним ударом на несколько алмазов поменьше. После огранки самый большой алмаз весил тысячу триста пятьдесят шесть карат — в два с половиной раза больше «Куллинана I». Стоимость этого алмаза превышала (и превышает) стоимость всех моих заводов.

Всего вышло семь огранённых бриллиантов. Второй по размерам я подарил сестре. Третий вставил в ожерелье, которое впоследствии, в 1961 году, преподнёс своей супруге в день нашей свадьбы. Остальные хранятся в различных банках и ждут своего часа. Возможно, мне понадобится второе ожерелье: в последнее время у нас с женой отношения не ладятся, хотя мы прожили вместе более двадцати лет.

После извлечения алмаза я долго думал, что делать с черепом и ковром. Череп в итоге я захоронил на кладбище, где лежит Виктория, но не в той же могиле, а рядом. Теперь у второй сестры Сазерленд целых две могилы. А изувеченный ковёр я сложил и храню теперь в отдельной комнате с тщательно поддерживаемым температурным режимом. Это семейная реликвия. Правда, я опасаюсь, что мой старший сын, к которому перейдёт особняк, избавится от ковра как от старой тряпки или продаст его кому-либо. Скорее всего, я впишу в завещание условие, что ковёр должен передаваться из поколения в поколение, пока не рассыплется в прах.

Вы можете спросить: как алмаз оказался в черепе и в ковре? Очень просто. Чарли Моутон опасался преследования со стороны сестёр Сазерленд, да и в любом случае ему нужно было пересекать границу. Поэтому он спрятал алмаз так, чтобы его точно не нашли. Он упаковал его в череп, а череп указал зашить в ковёр. Труд это небыстрый; скорее всего, неизвестный мастер работал под постоянным надзором Моутона. В ковре же Моутон и хранил алмаз. Вряд ли бы кто догадался искать его там. Только вот воспользоваться украденным камнем у него не получилось — в какой-то мере по той причине, что он не очень представлял реальную цену алмаза.

Иногда я рассматриваю старинные фотографии, на которых изображены сёстры Сазерленд. С первого взгляда все семеро кажутся некрасивыми, даже уродливыми, и великолепные волосы не спасают. Но при ближайшем рассмотрении в каждой из них я

нахожу какую-то удивительную внутреннюю красоту.

Сара, Виктория, Изабелла, Грэйс, Наоми, Мэри и Дора по прозвищу Китти. Странные женщины с несчастными, разбитыми судьбами. Их жизни прогнулись под тяжестью их пышных тёмных волос, и ни одна из них не знала счастья. Потому что счастье — вовсе не в шикарной внешности и не в звонком голосе. Счастье — когда у жизни есть цель, смысл. Мне странно говорить об этом, ведь моей жизни смысл придал ковёр из женских волос на стене гостиной, он наполнил собой девять моих лет. Но даже такая цель — лучше, чем ничего.

Спите спокойно, семь сестёр Сазерленд.

Шкатулка с пряностями

Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса (если это его настоящая фамилия). Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «жизнь», они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы её рассказать.

Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967-й, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причём не только по Соединённым Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, летал в Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлёкся от сути повествования.

В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типично для своего района: здание в стиле ар-деко с горгульями в качестве водостоков и тяжёлыми деревянными дверями в два человеческих роста.

Внутри было уютно: тяжёлые ковры, деревянная мебель; в огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал: связано это было с тем, что Сан-Антонио — популярный среди туристов город ввиду достаточного количества достопримечательностей исторического и технико-архитектурного характера.

Кстати, я определился с годом: всё-таки именно 1967-й. Я помню, что знаменитая Tower of the Americas как раз была в лесах, а её строили к Всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968 году. Значит, память меня не подводит.

Вернёмся в отель. Названия его я вам не скажу: незачем компрометировать приличное заведение.

Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портье, который показался мне братом-близнецом швейцара: те же усы, та же форма. Он дал мне ключ от люкса на пятом (последнем) этаже и наказал бою донести мой чемодан.

«Не нужно», — отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой: они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для

горничных и портье.

Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарная ванная с подогревом… В общем, всё, о чём может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился вниз, в бар.

***

За стойкой бара стоял молодой человек лет двадцати пяти, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Он приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого» — гласила надпись на табличке, прикреплённой к его форменной одежде.

Я заказал виски с содовой (да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь) и стал рассматривать интерьер. Бар был разделён на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном, тут была сувенирная продукция Сан-Антонио: красиво оформленные бутылочки с напитками местного изготовления, крошечные макеты городских зданий (я узнал здание Бексар Каунти, Ацтекский театр и входные ворота в Национальный исторический парк), а также работы местных мастеров по дереву — шкатулки, статуэтки и прочие приятные, но бесполезные вещи.

«Вас что-либо заинтересовало?» — спросил бармен.

Утро — не самое популярное время для посещения бара: два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать.

«Нет, пока ничего», — ответил я.

«Если заинтересует, дайте мне знать».

Я кивнул.

Он смотрел на меня оценивающе, будто пытался заглянуть внутрь моей головы — и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда.

Кстати, не думайте, что я — пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи; кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался.

День прошёл практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в номере (да-да, в каждом номере там был телевизор; сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным).

Я посетил музей современного искусства МакНей,

основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а, скорее, интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызывали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера: его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз.

Много времени я потратил на изучение работ Диего Риверы. Портрет Дельфины Флорес его кисти был первой картиной, приобретённой основательницей, миссис Марион Куглер МакНей, для своей коллекции.

Я снова отвлёкся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим.

Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее мне приятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл: «Красные крылья» из Детройта против «Чёрных ястребов» из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил.

Потом я лёг спать.

***

Утром следующего дня я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор из десятка различных бургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой.

Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царило оживление. Человек пятнадцать мужчин и женщин сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чём-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семейная пара: я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией.

Я сел на свободный стул (высокий, крутящийся) у стойки и заказал виски с содовой.

Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне.

Правый стул был свободен. Бармен Пого налил мне виски; я сидел и рассматривал людей вокруг.

Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с иссиня-чёрными волосами и сверкающими глазами. Он посмотрел на моё лицо и костюм оценивающе и, видимо, не нашёл ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой.

«Бармен!» — взревел он.

Именно «взревел» — никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают, в основном, неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливостью, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе.

Пого появился мгновенно.

«Виски! — проревел гость. — Неразбавленного!»

Пого исчез, а гость повернулся ко мне.

«Джонс!» — представился он.

Я назвал себя.

«Ха! — сказал он. — У меня был один знакомый с такой же фамилией. Вот-то мелочный был старикашка!»

У меня не самая распространённая фамилия, и тон Джонса навёл меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал.

Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызывала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первым, что бросилось мне в глаза, были его часы: Rolex Sea-Dweller Submariner 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до того присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публике. Часы Джонса не были подделкой. Это были безумно дорогие часы Rolex, самой последней модели, выдерживающие давление в две тысячи футов водной толщи. Я понял, что если такие дорогие часы, то и пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золочёной — скорее, золотой. Передо мной сидел очень богатый человек.

Часы скрылись под рукавом пиджака, а Джонс снова обратил на меня внимание. Пого уже принёс его виски.

«А вот как вы относитесь к индейцам?» — спросил Джонс ни с того ни с сего.

Я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам.

Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда у меня происходят приступы ненависти к чёрным: например, когда я еду на машине, а чёрный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да ещё может и средний палец показать. Но это, скорее, ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой.

«Ну, никак…» — ответил я честно.

Джонс посмотрел на меня как на идиота.

«У вас что, нет гражданской позиции?» — спросил он строго.

«Выходит, нет», — я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось.

Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора не получится, и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же: представился, а затем спросил про индейцев. Ввиду того, что Джонс был мне неприятен, я отошёл от стойки и сел в кресло около окна. Вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и интересующимся: я нашёл прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединённых Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе (мастером, кажется), а на старости лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался сделать это лет на тридцать раньше.

Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер.

***

На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около одиннадцати часов, и потому я поднялся в девять и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт (он открывался, кажется, в половину одиннадцатого), и Пого сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня, в зале было ещё четыре или пять человек. Слава богу, Джонса я не заметил.

Как ни странно, но заказ мне принёс именно бармен, а не официант: тот обслуживал другой столик.

«А разве вы не работаете в баре?» — спросил я.

«Когда я нужнее здесь, я помогаю официантам».

«Вам доплачивают за это?»

«Конечно».

Все свои реплики Пого произносил с лёгкой улыбкой, элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек — в хорошем смысле этого слова. И мне пришёл в голову один вопрос, который я вполне мог задать бармену.

«Скажите, пожалуйста, Пого, — спросил я, — что за птица этот Джонс?»

Пого театрально закатил глаза.

«Не знаю, — ответил он. — Но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить и спалить здание к чёртовой матери…»

Я усмехнулся.

«Почему-то я не удивлён…»

«Слава богу, сегодня вечером он уезжает», — сказал Пого.

Я кивнул и стал есть. Пого исчез.

День прошёл довольно бурно: ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днём у меня выпало два свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Текущая через старую часть города река неширока, небо над ней почти полностью скрывают кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе.

Работа снова настигла меня часов в пять, и в отель я вернулся около девяти вечера. Вернись я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Вернись я раньше, я тоже вряд ли стал бы свидетелем описанных далее событий.

Я быстренько, за пять минут, принял освежающий душ (день был жарким) и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек пять, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали, перебивая друг друга, впрочем, в дружеских тонах.

Я сел с краю стойки, вплотную к сувенирному отделу. Мне было интересно рассмотреть сувениры поближе: вероятно, я даже что-нибудь приобрёл бы, сложись события иначе. Пого, ничего не спрашивая, налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув.

Минут через пять в бар зашёл портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с Пого стали тихо беседовать: я не слышал ни слова.

А ещё через пару минут появился Джонс.

У него в руке был чемодан, а одет он был явно для

путешествия. Я вспомнил слова Пого о том, что Джонс уже съезжает. Я обратил внимание на его чемодан: натуральная кожа, причём, похоже, какой-то экзотической рептилии. Марку чемодана я определить не смог, хотя в своё время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что он был изготовлен по специальному заказу.

Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Уезжаю!»

Я вежливо кивнул.

Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара.

— О! Надо что-то купить напоследок! — сказал он и снова обратился ко мне: — Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут — прямо как доктор прописал!

После каждой фразы, произнесённой Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе.

«Это что такое?» — Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку.

Прежде чем Пого успел ответить, Джонс переспросил: «Сколько стоит?»

Я сразу понял, что он — человек, которому важна стоимость вещи, а не её эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за пятьдесят долларов, а за углом такой же — за семьдесят, то джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пого тоже это понял.

«Сто четырнадцать долларов восемьдесят шесть центов», — ответил он. Сложно сказать, завысил Пого цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество доколумбовых времён. До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили коакультеки, небольшое местное племя. Конечно, у них было своё искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом.

«Ты меня за дурака держишь? — спросил Джонс. — Ты мне всякую дребедень не подсовывай!»

Он, кажется, забыл, что сам спросил у бармена о цене статуэтки.

«Что-нибудь настоящее есть?»

Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на чёрном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом.

Надо сказать, что сто долларов не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой, а уж тогда, в 1967 году, никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчётах, конечно, используются даже купюры в сто тысяч долларов, напечатанные до 1936 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры.

Джонс смотрел на Пого выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках и курящего длинную трубку. Статуэтка была потёртой и явно старой, но, судя по технике исполнения, сделанной не раньше девятнадцатого века.

«Четыре тысячи восемьсот тридцать шесть долларов и три цента», — хладнокровно сказал Пого.

Джонс начал придирчиво рассматривать статуэтку.

«А что это?» — спросил он.

«Это статуэтка коакультекского вождя, сделана в конце восемнадцатого века резчиком по дереву Альфонсо Варгосом. Его работы есть в лучших музеях мира. Это — одна из первых работ, из коллекции хозяина отеля, мистера Рейна».

Мне показалось, что Пого откровенно врёт. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы этого Варгоса хранятся в лучших музеях мира, то почему эта стоит так дёшево? Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся.

Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо и зло:

«Ты хочешь меня обмануть, полукровка».

Пого побледнел. Хотя он отличался более тёмной кожей, чем у меня или у Джонса, она была достаточно белой, чтобы бледность была заметна.

«Вы и в самом деле хотите очень дорогую вещь?» — спросил он тихо.

«Да», — улыбнулся Джонс.

Такая улыбка возникает на губах боксёра, когда он хочет подначить соперника — и ринуться в бой.

«Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна».

У меня возникло твёрдое ощущение, что они говорили о какой-то конкретной вещи, причём оба прекрасно понимали, о чём речь. Я чувствовал себя лишним.

Джонс кивнул.

Пого нажал на кнопку, вызывающую портье, и, когда тот появился, сказал:

«Мы идём к мистеру Рейну. Предупреди его».

Портье кивнул и исчез. Пого внимательно посмотрел на Джонса, а потом — на меня.

«Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», — сказал мне Пого. Джонс нахмурился, но промолчал: видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся.

«Не беспокойтесь. Речь пойдёт всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы — честный человек».

Мне польстило такое утверждение. Особенно смешно вспоминать о нём сейчас, после этой истории. Но не буду забегать вперёд.

«Хорошо, — пожал плечами я. — Пойдёмте».

Пого шёл первым, за ним — Джонс, третьим — я.

Мы молча зашли в лифт, и тут Пого сделал нечто странное.

Над кнопкой с номером пять была пластинка, которая не являлась единым целым с остальной панелью управления лифтом. В пластинке была замочная скважина. Я был уверен, что ключ просто даёт доступ к внутренностям панели управления для её ремонта, но я ошибался. Пого вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку: под ней была кнопка шестого этажа.

Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша: только так я мог объяснить этот странный факт. Пого нажал кнопку, и лифт двинулся.

В то же время я заметил, что Джонс не выказывает никакого удивления: он был готов ко всему.

Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. То же роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. Пого обратился ко мне и Джонсу:

«Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее. Я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли».

Пого и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, зато потолок был стеклянным. Чтобы солнце не светило слишком ярко, он был прикрыт какой-то полупрозрачной тканью, перетянутой системой вант. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления.

«Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» — громко спросил Джонс.

Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее я пересилил свою неприязнь.

«Да, весьма».

«Х-ха! — хохотнул Джонс. — Вы и представить себе не можете, во что ввязались. Это всё легенда!»

Он умудрился прошептать последние слова, и всё равно его слышал, по-моему, весь город.

«Легенда?»

«Да! Это всё местные индейцы. Когда пришли белые, они отдали им всё золото, хотя у них-то его почти и не было, тут жили мелкие, нищие племена, столица ацтеков была много южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты всё же сохранились».

Он замолчал. Мне показалось, что в нём боролись два человека. Один не хотел ничего рассказывать, выдавать тайну, а другой — настоящий Джонс — был готов выложить всё, что угодно, лишь бы похвастаться перед другим.

«Это — шкатулка с приправами!» — сказал он с таинственным видом.

Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил:

«С давних времён племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную, по преданию, чуть ли не две тысячи лет назад. В шкатулке были пряности и приправы — разные. Но не простые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу — и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая — богатство, третья — славу. Коакультеки так долго и просуществовали независимо от империи ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варева с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря».

«И вы думаете, что это правда?»

«Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю — из чьих рук и в чьи шкатулка переходила, и вот я здесь, я не ошибся. Этот Рейн продаст мне её».

«А почему вы решили, что он её продаст?»

«Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего: он не может иметь друзей, не может иметь детей и не стареет, пока не продаст её».

Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там всё было несколько иначе:

бутылку нужно было продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, будучи владельцем бутылки, был обречён гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор, а вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться.

«То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от неё избавиться?»

«Именно так».

«А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?»

«Они умрут», — ответил Джонс.

«А если умрёт владелец?» — спросил я, и тут перед нами появился Пого.

«Шкатулка найдёт себе нового», — сказал он.

Пого был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился: теперь в нём ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу (я не относил это выражение на свой счёт), а в глазах горели огоньки. Стало понятно, что он старше, чем казался: Пого было около сорока лет. Об этом говорили крошечные морщинки около глаз, кожа, но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа.

«Позвольте представиться: Пого Рейн».

Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. В своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах.

«А вот и предмет нашего разговора», — Рейн повёл рукой, и швейцар внёс в комнату небольшую резную шкатулку.

Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько и они были склеены; внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка — всё это однозначно свидетельствовало о восемнадцатом веке и не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание.

«Рейн! Вы снова меня обманываете! Это новая шкатулка!»

«Да, — спокойно ответил Рейн. — Шкатулка новая, но содержимое прежнее».

Он открыл шкатулку.

Внутри она была подобна чиппендейловскому комоду:

столько же различных ящичков, отделений, секций, и в каждом — какая-то непонятная труха. Труха была разного цвета, степени помола, но на приправы никак не походила.

Джонс подошёл и нагнулся над шкатулкой. Рейн тут же захлопнул крышку.

«Или вы верите мне на слово — или нет», — отрезал он.

Джонс кивнул.

«Она будет стоить вам пятьсот тысяч долларов, — сказал Рейн. — По-моему, это достойный сувенир из Сан-Антонио».

Внезапно во мне проснулась удивительная смелость, и я спросил:

«Сколько вам лет, мистер Рейн?»

Он улыбнулся как-то покровительственно, на правах сильнейшего.

«Сто шестнадцать, сэр. И я немножко устал».

Только теперь я заметил, что Джонс ни на минуту не расставался со своим чемоданом. Теперь он открыл его и достал из-под каких-то тряпок объёмистый пакет.

«Здесь семьсот тысяч, — сказал он. — Я думаю, вы не будете против, если я оставлю себе двести, а остальное передам вам».

«Не буду», — ответил Рейн.

Портье всё это время стоял неподвижно.

Джонс опустился на колени и начал аккуратно распаковывать деньги. Пакет был сделан из бумаги и перевязан тесьмой, но Джонс не хотел его рвать.

«Я надеюсь, что получу не только шкатулку, но и некоторые инструкции», — сказал Джонс.

«Конечно», — ответил Рейн.

Мне казалось, что я присутствую при каком-то тайном действе, при обряде посвящения. Удивительным для меня было то доверие, которое оказывал Джонс Рейну. Он и в самом деле никак не мог проверить, что покупал. Более того, я был уверен, что Рейн откровенно обманывает Джонса. Впрочем, так тому и надо, думал тогда я.

Кстати, простите меня за столь быстрое развитие событий. Возможно, кое-какие детали я упустил — всё-таки прошло много лет, но в целом всё так и было: стремительно, резко, без всяких упущений, будто детально отработанный план.

***

Я отвлёкся всего на секунду. Я заметил, что руки портье, которые тот держал за спиной, не пусты. Они сжимали пистолет. С моей точки я чётко видел зеркало через открытую дверь другой

комнаты, и в этом зеркале отражалась спина портье, а глаза меня никогда не подводили. Я подумал, что эта мера принята для обеспечения безопасности сделки.

Внезапно у меня заложило уши.

Вы думаете, что выстрелы в жизни звучат, как в кино? Нет, что вы. Самого выстрела не слышно вовсе. Просто тихий хлопок — и звон в ушах. Последующих выстрелов вы можете вообще не услышать, если в первый раз пальнули у вас над самым ухом. После того как грянул первый выстрел, я слышал только едва различимые хлопки остальных. Всего выстрелов было три. Или четыре, если кто-то успел выстрелить дважды.

Я не сразу сообразил, что произошло, но, когда сориентировался, увидел следующую картину. На полу, прижимая руку к животу (между пальцев струилась кровь), лежал Джонс, в нескольких дюймах от другой его руки валялся большой никелированный револьвер, кажется, Detective Special фирмы «Кольт». Рейн привалился к стене, в его руке был небольшой пистолетик, напоминающий дамский. В груди Рейна зияла дыра, убедившая меня в том, что я не ошибся с маркой пистолета Джонса: тридцать восьмой калибр сложно с чем-то спутать. Портье лежал лицом вниз, пистолет из его руки выпал и куда-то отлетел. Под телом по ковру расплывалась кровь.

Я не очень понял, кто в кого стрелял, и, тем более, кто из них выстрелил первым. Джонс достал револьвер из пакета с деньгами (деньги там и в самом деле были, но вряд ли их количество составляло столь внушительную сумму, как семьсот тысяч). Портье держал пистолет за спиной: в кого он стрелял, я не знаю. Возможно, он был в сговоре с Джонсом или сам по себе, и просто пытался убить хозяина. Рейна убил Джонс — это не вызывало сомнений.

Я оказался в закрытой комнате на шестом, секретном, этаже дорогого отеля с тремя трупами, мешком денег и шкатулкой с индейскими пряностями, которыми я не умел пользоваться.

Думаю, нетрудно догадаться, что произошло потом. Я схватил пакет, запихнул под мышку шкатулку и метнулся в лифт. Наверное, когда он находился на секретном этаже, его не могли вызвать ни с какого другого, срабатывал механизм блокировки. Я добрался до пятого этажа, уложил новоприобретённое в свой саквояж, быстро побросал туда личные вещи без разбору и ретировался из отеля. Перед тем как выйти, я вырвал из лежащей на стойке регистрационной книги страницу с записью о себе. Стирать отпечатки пальцев не было времени: их не было ни в одной полицейской базе и найти меня при помощи дактилоскопии не представлялось возможным. Единственным

человеком, который видел меня, был швейцар. Выстрелов он, похоже, не слышал.

***

Что вам сказать?.. В пакете Джонса оказалась вполне круглая сумма в двести тысяч долларов: судя по всему, если бы цена шкатулки оказалась ниже её, Джонс бы заплатил, не колеблясь.

Я экспериментировал с приправами из шкатулки. Сложно сказать, помогли они мне или нет, но деньги Джонса, вложенные в грамотное дело, сначала удвоились, а потом удесятерились: последние тридцать лет я не работаю и живу на проценты, причём живу хорошо.

Я был женат трижды, но у меня нет детей. Ни одна из жён не смогла от меня зачать. Врачи исследовали меня не раз и говорили, что дело именно во мне: что-то с качеством вырабатываемых сперматозоидов. После каждого из разводов мои бывшие жёны спокойно рожали детей от других мужчин.

Я всегда был одинок, даже до приобретения шкатулки. Не появилось у меня близких друзей и после. Сложно сказать, виновны ли в том приправы.

Лишь одно меня смущает. Лишь одно не позволяет мне верить в силу шкатулки, в её волшебные свойства.

Мне семьдесят девять лет, у меня радикулит, я перенёс два инфаркта, мои пальцы свёл артрит, а на моей сухой сморщенной коже появились пигментные пятна старости.

Кажется, Рейн соврал.

Офицеры рейха

Удивительный человек по имени Джордж Тэмбэл появился в моей жизни солнечным майским днём 1946 года. Американские солдаты возвращались из Европы победителями. Их встречали цветами, по городам катились легендарные кинематографические броневики M3 Scout Car, Рузвельт слыл национальным героем, а война казалась выигранной исключительно силами моих соотечественников. Я тоже в это верил. Я не представлял себе, что такое война, входящая в твой город, в твой дом. Война была где-то далеко, в Европе, в Азии, тамошние жители не справлялись, мы пришли и помогли им. Вот и вся политинформация.

Меня зовут Джим Мортенсен. Мой прадед приплыл в США из Норвегии. Насколько я знаю, первоначально наша фамилия писалась как «Мартинссон», но время и произношение изменили её, «американизировали», так сказать. Единственное, чего я вам не скажу, — это название города, где я живу. Тэмбэл просил меня умолчать об этом, очень просил. Собственно, я вообще не должен рассказывать всю эту историю, но в прошлом году Тэмбэла сбила машина, и сохранение тайны потеряло смысл. Вы скажете: так назвал бы уж и город, что тут терять-то. Нет, не назову. Приедут ещё журналисты, будут расспрашивать. Если какой-то дотошный найдёт меня среди нескольких сотен Мортенсенов, живущих в Америке, так тому и быть. А прямую наводку на себя — не дам.

Боже, каким сварливым стариком я стал. А ведь Тэмбэл был меня даже немного старше. Собственно, если мои предположения — правда, то я точно знаю дату и место его рождения: 16 января 1903 года, Монтруж, Франция.

Город наш небольшой, но не настолько, чтобы все друг друга знали. Правда, и домов с четырёхзначными номерами нет тут ни на одной улице. Всё-таки не Чикаго и не Сан-Франциско. Моими соседями в первой половине сороковых была семья эмигрантов из России. Они бежали в США ещё во времена Первой мировой войны, между февральской и октябрьской революциями. Я был поражён тем фактом, что революций в России было две. Об этом мне рассказывал старик Владимир, собственно, глава соседской семьи. Он вообще рассказывал много удивительных вещей, которые я потом приукрашал и травил в перекурах на работе. Я — квалифицированный автомеханик, если что. У меня есть небольшая мастерская, где до недавнего времени работало два человека (помимо меня самого). Не так давно я решил

реорганизовать работу и найти новое помещение для мастерской. Пока подходящего я не нашёл, так что временно пришлось приостановить выполнение частных заказов.

В начале весны 1946 года русская семья уехала. Кажется, они решили перебраться на побережье, я не знаю. Полтора месяца дом пустовал, а потом в него вселился Тэмбэл. На следующий же день он зашёл ко мне знакомиться. Самое странное, что интересный разговор у нас завязался уже через минуту после приветствия. А через десять я показывал ему гараж, где стояла моя гордость — Cartercar Model R 1912 года, который я реставрировал. Машину я откопал на свалке, отбуксировал домой и три последних года постепенно приводил в порядок. Это была первая из восстановленных мной машин: если хотите, на неё можно посмотреть и сегодня. Впоследствии я отреставрировал ещё двенадцать автомобилей. В моей коллекции есть Coey 1910 года, за который мне неоднократно предлагали баснословные деньги. Последнее предложение, не постесняюсь сказать, подразумевало выплату полутора миллионов долларов. Но зачем мне эти деньги? У меня всё есть, и главное — мои машины.

Так вот, увидев Cartercar, Тэмбэл прямо-таки бросился на него. У него в глазах был неподдельный восторг. Он квалифицированно и грамотно откомментировал процесс реставрации и с ходу дал несколько полезных советов.

Мы поладили и даже подружились. Он был фанатом автомобилей, и я не знаю ни одного человека, который разбирался бы в них лучше Джорджа. Тэмбэл мог с закрытыми глазами собрать и разобрать любой автомобиль. Заведя мотор, он тут же по звуку определял, есть ли какие-либо неполадки в работе силового агрегата, и если есть, в чём они заключаются. Когда он садился в машину, он становился её частью. Его руки прилипали к рулю, сам он превращался в дополнение сиденья, а в глазах его отражались зеркала заднего вида. Да, именно зеркала в глазах, а не наоборот.

Когда я впервые был пассажиром в ведомой Тэмбэлом машине, я, честно признаться, чуть не напрудонил в штанишки. Он легко, расслабленно, на шестидесяти милях брал повороты, в которых иной бы снизил скорость миль до десяти. Я всё время боялся, что мы разобьёмся. Но Тэмбэл только улыбался.

У него не было родственников, он тщательно скрывал всё, что связывало его с прежней жизнью. Судя по его искусственному, чистому английскому, он не был американцем, а приехал из Европы после войны. Но и на чистокровного англичанина он не походил. Скорее, француз или итальянец, отлично выучивший язык. О его довоенной жизни я знал всего несколько фактов: он

жил в Монако, работал механиком и разводил собак. Про Монте-Карло он рассказывал с нежностью. Тэмбэл действительно любил этот город, любил его набережные, его пристани, его наглых и крикливых чаек.

В собаках он разбирался ничуть не хуже, чем в автомобилях. Он мечтал уехать на север и разводить там аляскинских маламутов или ещё каких-нибудь собак подобного плана — верных, сильных и спокойных. Он различал не только чистопородных животных; увидев любую дворнягу, он уверенно расписывал, чья кровь и в каком поколении примешалась к роду безымянного барбоса.

Ещё он умел рисовать, причём неплохо. Предпочитал он картины разрушения и запустения, например, частенько изображал свалку за моим гаражом. Иногда на его картинах появлялись мёртвые птицы и животные. Линии он выводил чёткие, контурные, потом аккуратно закрашивал оставшиеся белыми участки. Я не знаю, как называется такая техника.

До поры меня удивляло его одиночество: он ни с кем, кроме меня, не общался, не заводил друзей, не возвращался домой с женщинами. Особенно это контрастировало с его открытым характером, дружелюбностью, приятной улыбкой. Но вскоре я привык к такому поведению моего друга и больше не обращал на это внимания.

Я придумал для Джорджа биографию. Нужно же было как-то заполнять пробелы в моих знаниях о нём. Я предположил, что он некогда жил в Европе, имел там бизнес, был женат, но война разрушила всё это (что случилось с женой, я не знал), и он перебрался в США. Причём я думал, что он каким-то образом приехал в США не после войны, а в самый её разгар, скажем, в 1941 году. Но всё это было не более чем моими фантазиями.

А осенью 1946 года я узнал о Джордже Тэмбэле правду. Точнее, ту часть правды, которую он посчитал нужным мне рассказать. И надо отметить, что поверить в неё до конца оказалось непросто.

***

Второго сентября 1946 года Джордж по обыкновению зашёл ко мне около десяти утра. Я уже трудился над машиной. Джордж обещал достать некоторые детали через свои таинственные связи. Я полагал, что он имеет отношение к какому-либо крупному автопроизводителю или дилеру. Более того, я думал, что его бизнес определённым образом связан с поставками автомобилей из США в Европу. Не спрашивайте, как я сделал подобный вывод.

Просто сделал — и всё тут.

Но деталей Джордж не принёс. После того как мы поприветствовали друг друга, он внезапно сказал:

«Джим, я хотел бы поговорить с тобой…»

«А?»

«Разговор серьёзный. Даже очень серьёзный. Я могу тебе доверять и хотел бы попросить о помощи».

Мне было странно слышать такие слова. Человека, стоящего передо мной, будто подменили. Вчера он был весёлым и непосредственным энтузиастом автомобильного дела. Сегодня в его глазах промелькнуло что-то другое. Такой взгляд бывает у убийцы. Или у шпиона…

«Конечно, Джордж, без проблем», — ответил я, вытирая руки от масла.

«Пойдём в дом».

Мы пошли в дом. Я откупорил бутылку пива, он же сидел напротив в потёртом кресле, сложив руки на коленях.

«Война окончилась, Джим», — начал он и замолк.

«Я знаю», — улыбнулся я.

На его лице не появилось и тени улыбки.

«Я полагаю, ты знаешь: в Нюрнберге идёт сейчас судебный процесс над нацистскими преступниками. Он уже близится к концу. Будут наказаны все, не считая нескольких нацистов, которые покончили с собой до суда или сумели уйти в бега».

Про Нюрнбергский процесс я имел самое отдалённое представление. Конечно, я читал о нём в газетах, только и всего. Имён подсудимых я не знал. Более того, когда я впервые прочёл о процессе, я был удивлён, что не нашёл там имени Гитлера. Оказалось, что он покончил с собой в последние дни войны. Так всегда: самый главный уходит от ответственности.

«Это не последний процесс, — продолжал Джордж. — За ним будут ещё и ещё; со временем мы отловим всех…»

«Кто "мы"»? — спросил я.

«Да, — кивнул он. — Именно этого вопроса я и ждал от тебя. Где-то тут, в этом городе, скрывается нацистский преступник, Генрих Кальцен. По крайней мере, его следы ведут сюда — и здесь теряются».

«Ты из разведки?»

«Не совсем. Скорее, из Международной комиссии уголовной полиции. У разведки — другие задачи. А наши агенты заняты отслеживанием бывших нацистов по всему миру. И отловом».

Мне всегда хотелось поиграть в шпионов, и вдруг — такой шанс на золотом блюде.

«Чем я могу тебе помочь?»

Я ни на секунду не усомнился в словах Джорджа.

«Ты всех знаешь, ты живёшь тут давно. Ты знаешь каждого нового человека, который покупает или снимает жильё в твоём районе. Определённые данные подтверждают, что Кальцен поселился именно здесь».

«Ну… тебе придётся рассказать о Кальцене».

«Конечно. Я расскажу тебе всё, чем располагаю. И мы попытаемся вместе раскрутить этот клубок. Если мы возьмём его, тебя могут представить к правительственной награде».

«Вы сотрудничаете с правительством США?»

«Конечно. Но о моём существовании знают всего несколько человек. У большинства беглых нацистов есть счета и связи. Их так просто не возьмёшь. Нельзя, чтобы информация об агенте где-то просочилась. Они на редкость мобильны и великолепно умеют маскироваться».

Не смотрите, кстати, что наш диалог выглядит в моём пересказе немного наивно. Конечно, я не помню в точности, что и как произносилось. А писательским талантом меня бог обделил. Потому я примерно следую канве нашего разговора.

Далее он рассказал мне о Генрихе Кальцене. В данном случае гораздо проще пересказать историю Кальцена своими словами, чем вкладывать её в уста Тэмбэла.

Итак, Кальцен родился в 1903 году — то есть был примерно нашим с Тэмбэлом ровесником. Судьба его развивалась по достаточно стандартной схеме для всех выдвиженцев рейха. Учился в кадетском корпусе, принимал участие в деятельности фрайкоров (добровольческих националистических корпусов), работал на заводе мастером цеха, параллельно обучался журналистике в Берлине, в двадцать пятом вступил в СА, годом позже — в НСДАП. Достаточно быстро поднялся до группенфюрера СА. Вскоре после этого наступила легендарная «ночь длинных ножей», в ходе которой были убиты руководители штурмовых отрядов, готовившие путч против Гитлера. Кальцен не был замешан в подготовке восстания; наоборот, он успешно выкрутился, сдав нескольких коллег. Благодаря этому он удостоился ряда правительственных наград и получил отличные перспективы для дальнейшей карьеры. Шёл тридцать пятый год. Молодой и амбициозный офицер удачно женился на дочери богатого фабриканта, а годом позже у него родился сын Пауль.

Некоторое время он работал бок о бок с Зигфридом Каше в Хорватии и Югославии, был вхож в кабинет Анте Павелича, главы марионеточного Независимого государства Хорватии во время Второй мировой войны. Затем Каше «пошёл на повышение»: его планировали сделать рейхскомиссаром Московии. Но Москва не

сдалась — и Каше остался в Хорватии. Впоследствии он был арестован и передан союзниками для суда властям Югославии. На момент нашего с Тэмбэлом разговора Каше ещё был жив. Его повесили позже, летом сорок седьмого.

Но вернусь к Кальцену. В какой-то период их с Каше дороги разошлись. В сорок первом Кальцен подал заявление на перевод из СА в СС, и его прошение было удовлетворено. Каше остался в Хорватии и проводил там жесточайшую политику депортации и уничтожения евреев, цыган, сербов. Кальцен же, не сумев уцепиться за правительственный пост, решил сделать карьеру на другом поприще. К тому времени он дослужился до оберштурмбанфюрера, то есть подполковника.

В 1942 году он был откомандирован работать заместителем коменданта концентрационного лагеря Равенсбрюк — в подчинение к гауптштурмфюреру Иоганну Шварцгуберу. Равенсбрюк изначально задумывался как женский лагерь; большую часть его заключённых составляли женщины и дети. Шварцгубер возглавлял небольшое мужское отделение. Вы можете спросить — почему Кальцен сделал такой шаг назад в своей карьере? Почему он отправился работать на неруководящую должность в один из десятков немецких концлагерей вместо того, чтобы дальше заниматься международной политикой? Я могу вам ответить: он хотел непосредственной власти. Неинтересно отдавать приказ: расстреляйте всех цыган в таком-то населённом пункте. Гораздо интереснее самостоятельно поднять пистолет и выстрелить кому-либо в макушку.

А если это красивая женщина? С ней можно сделать много всего интересного. Именно эти мотивы руководили Кальценом. По крайней мере, так охарактеризовал его Тэмбэл.

Заключённые интересовали его в качестве рабов, которыми можно было помыкать как угодно. Параллельно с этим он завёл последовательно несколько романов с молодыми и красивыми надзирательницами женской части лагеря. Жена его была в Берлине, в то время как одновременно с Кальценом в Равенсбрюке появилась красивая и жестокая Ирма Грезе. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Активистка Союза немецких девушек, неудавшаяся медсестра нашла в СС своё призвание. Она работала надзирательницей в Равенсбрюке с сентября 1942 по март 1943 года. Роман с Кальценом, замначальника мужского лагеря, был полезен для её карьеры, и она без раздумий бросилась в его объятия.

Впоследствии она стала знаменита как старшая надзирательница лагеря Биркенау. Она развлекалась тем, что

отстреливала произвольных заключённых из толпы, травила их собаками, забивала насмерть сапогами. Упражняться на заключённых в стрельбе её научил, скорее всего, именно Кальцен, тоже развлекавшийся подобным образом. Её повесили в декабре сорок пятого после Бельценского трибунала. Ей было двадцать два. Она мечтала стать кинозвездой.

Другой любовницей Кальцена была Эрна Пфанненштиль — с сорок третьего по сорок четвёртый. У неё было изящное, тонкое лицо и длинные пальцы, которыми она умела делать страшные вещи. Например, художественно расцарапывать лица заключённых. В сорок четвёртом она перешла в Майданек и вышла замуж. Говорят, она служила даже беременной и отличалась редкой жестокостью по отношению к еврейским детям.

Наконец, последней надзирательницей, о романе которой с Кальценом достоверно известно, стала Хильдегард Нойманн — красивая, статная, светловолосая, истинная арийка. Правда, в Равенсбрюке Нойманн служила всего полтора месяца — осенью сорок четвёртого. Как и Пфанненштиль, ей удалось уйти от ответственности. Но если в случае Пфанненштиль это была просто эмиграция и легальный уход от правосудия, то Нойманн была заочно приговорена к смертной казни. Тэмбэл сказал, что другой агент их организации ищет Нойманн где-то в Небраске.

Собственно, осталось сказать несколько слов о конкретных преступлениях Генриха Кальцена. Мужская часть лагеря своего начальника почти не видела: в основном, Кальцен пропадал в женской части. Выжившие рассказывали много страшных историй. Например, он приказывал прогнать перед собой женский строй — примерно от ста до ста пятидесяти заключённых. Он закрывал глаза, рассчитывал расстояние и время, а потом на основе интуиции стрелял. Перед выстрелом он говорил: «Сорок седьмая!» Убитая и в самом деле оказывалась сорок седьмой с начала колонны.

Он любил морозить заключённых. Просто выгонял зимой на мороз и смотрел, как они медленно умирают. А иногда напротив, подносил зажигалку и начинал поджаривать различные части тела. Поджигал волосы — на голове и на лобке, издевался над женской грудью. Право, я не хочу останавливаться на этом подробно. Тэмбэл рассказывал обо всех ужасах концлагерей со смаком, желая вызвать во мне ненависть к Кальцену. Но из рассказов агента я сделал только один вывод: Тэмбэл сам был нацистским узником. Слишком хорошо он знал лагерную структуру, слишком красочно описывал ужасы лагерной жизни. Невозможно рассказывать так, не увидев всё своими глазами.

Свой рассказ о прошлом Кальцена он завершил описанием сексуальных извращений, участницами которых были и надсмотрщицы, и заключённые Равенсбрюка. В этом месте я прервал его и попросил закончить. Я сказал, что уже достаточно ненавижу Кальцена, чтобы помочь его поймать. Да, собственно, мне и не нужно было столь подробного рассказа, я бы и так помог другу.

«А теперь, — сказал он, — я расскажу о том, как Кальцен исчез и как мы пытались выследить его после войны».

Эта история оказалась короче первой и изобиловала белыми пятнами. 27 апреля 1945 года заключённых вывели из бараков и погнали «маршем смерти» в Мальхов. К тому времени Кальцена в лагере уже не было — то есть он в Мальхов не поехал и в руки советским солдатам не попал.

След Кальцена отыскался, как ни странно, в Португалии. Его опознали сотрудники порта. Человек, один в один похожий на Кальцена, да ещё и говоривший по-английски с резким акцентом, отбыл в США на одном из многочисленных кораблей, отвозивших солдат и гражданских пассажиров на другой континент. Записан он был под именем Джон Кальт.

Когда Тэмбэл это рассказывал, я ухмыльнулся.

«Даже фамилию почти не изменил».

«Да, — кивнул Тэмбэл. — Наглость города берёт».

И продолжил.

Итак, Кальцен прибыл в Нью-Йорк и снова пропал. Сошёл с корабля и растворился в городе. Тут-то по его следу и пошёл Тэмбэл. Тэмбэл не был агентом в прямом смысле слова. Он был «охотником на нацистов» на госслужбе. Многие бывшие заключённые посвящали жизни охоте за своими угнетателями, рассеявшимися по миру. Самым известным из охотников был Симон Визенталь; впоследствии он приложил свою руку к поимке самого Адольфа Эйхмана. Тэмбэл же организовал при разведывательном управлении небольшое отделение, специализирующееся на поисках беглых нацистов, сумел добиться государственного финансирования — и приступил к работе. При этом организации Тэмбэла официально не существовало — как и всей разведывательной службы Великобритании.

Тэмбэл имел на руках фотографии Кальцена, копии его немецких документов и сведения о том, что в США тот отплыл под именем Джона Кальта. Этого вполне хватило, чтобы найти отель, в котором Кальцен остановился по прибытии. Через неделю «раскопок» обнаружился и новый след нациста. Из Нью-Йорка он отправился в Шарлотт, потом в Атланту, потом в Джермантаун и оттуда, наконец, в наш город. По тому же

маршруту за ним последовал Тэмбэл. Проведя осторожные опросы местного населения и заручившись помощью мэра, он вычислил район, где мог поселиться Кальцен. По крайней мере, его видели именно там. К приезду Тэмбэла Кальцен провёл в городе уже три месяца. Никаких следов отъезда бывшего замкоменданта Тэмбэл не нашёл — и приступил к локализированным поискам.

Наша беседа продолжалась около трёх часов. Я за это время выпил несколько бутылок пива, а Тэмбэл под конец не отказался от бокала калифорнийского вина.

Он сидел и смотрел на меня с немым вопросом в глазах, и я не знал, что должен ему сказать. Знал ли я, где искать Кальцена? Нет, не знал. Появлялись ли в районе новые люди, кроме Тэмбэла?

Да, подумал я тогда. Появлялись, конечно. Нет, не возле моего дома. Возле моей прежней мастерской. Саму мастерскую я тогда ещё не продал, искал покупателя. Она стояла законсервированной, станки и инструменты я частично перевёз в свой гараж, частично планировал оставить покупателю в наследство и приобрести вместо них новые.

Всего за два месяца до появления Тэмбэла дом около мастерской кто-то купил. Я видел, как выезжают старые владельцы. Я нечасто бывал в закрытой мастерской, но тем не менее видел, что дом снова обитаем. За занавесками горел свет, а у входной двери стояла бутылка молока, которую, видимо, позабыли забрать.

Про это я и рассказал Тэмбэлу.

«Видишь, Джим, — сказал он. — Без тебя я бы долго выяснял это. Я проверял данные о купле и продаже недвижимости через агентские базы. Но тут, видимо, как-то их обошли. Что, в общем-то, неудивительно — с учётом того, как тщательно Кальцен скрывается».

Потом он поднялся и подошёл ко мне.

«Джим, я рассчитываю на твою помощь».

Мне хотелось ответить: «да понял я, понял уже», но я сдержался. Тэмбэл действительно нуждался в помощи и очень волновался. Думаю, причина его волнения заключалась вовсе не в том, что он боялся моего отказа. В первую очередь он выдал море секретной информации малознакомому человеку и потому опасался. Был ли он уверен в том, что я не болтун? Нет. Я любил пропустить стаканчик и вполне мог в нетрезвом состоянии рассказать своим собутыльникам всё, что угодно. Но Тэмбэл поставил на меня, точно на рисковую карту, благодаря которой можно сорвать банк или проиграться в пух и прах. Самое

интересное, что не произошло ни того, ни другого; но не буду забегать вперёд.

***

Лучшего наблюдательного пункта, чем моя мастерская, Тэмбэл и представить себе не мог. Из маленького грязного окошечка можно было обозревать почти весь соседний дом, при этом оставаясь незамеченным. На следующий же день после нашего разговора мы отправились в мастерскую и стали оборудовать место для наблюдения. Тэмбэл планировал поселиться тут на неопределённый срок, вооружившись фотоаппаратом. Его основной задачей было сфотографировать нового жителя как можно качественнее — так, чтобы по фотографии гарантированно опознать Кальцена. Он не исключал, что немец изменил внешность. Второй частью плана было отследить, когда предполагаемый нацист уедет более или менее надолго, и в его отсутствие обыскать дом.

Я предложил проникнуть к Кальцену под видом телефонного мастера и поставить жучок. Тэмбэл отверг эту идею. Во-первых, Кальцен должен быть настороже. Любая подозрительная личность — и он тут же смотает удочки и исчезнет. А во-вторых, вряд ли он ведёт какие бы то ни было телефонные переговоры со своими бывшими соратниками.

«Акцент?» — спросил я.

«Акцент можно выявить, просто встав за ним в очередь в магазине, — возразил Тэмбэл. — Хотя, вероятнее всего, нет никакого акцента».

«Но человек, уезжавший из Португалии, говорил на ломаном английском».

«Кальцен знал английский в совершенстве. Скорее всего, он намеренно изобразил акцент, запутывая следы. Не сомневаюсь, что если бы мы этот акцент услышали, мы бы опознали в нём, к примеру, русский или французский».

Получалось, что Кальцен мог спокойно выдавать себя за американца. При наличии должной суммы купить поддельные документы — раз плюнуть.

Я действительно загорелся идеей поймать Кальцена, хотя, как вы могли заметить, человек я довольно спокойный и в авантюры сломя голову не бросающийся. Ловля преступника притормозила даже работу с Cartercar Model R, который я хотел выставить на шоу ретроавтомобилей уже к концу сороковых. В итоге — забегу вперёд — я его и выставил, но лишь в 1955-м. Слишком много проблем возникло на поздних стадиях реставрации — с подбором

правильной краски, с поиском оригинального магнето (около года искал, да) и так далее.

Наблюдательный пункт для Тэмбэла мы оборудовали по высшему разряду. Окно было вымыто и снаружи покрыто тонировкой, подобно входящим в моду солнцезащитным очкам. Внутри находился высокий… гм, предмет мебели. Мы за два дня построили нечто среднее между диваном и стулом: Тэмбэл мог и сидеть на нём, и полулежать, ни на секунду не теряя из виду дом предполагаемого нациста.

Под рукой у агента всегда находились фотоаппарат и бинокль. Причём аппарат был профессиональный, с огромным зум-объективом, позволявшим с такого расстояния снять даже крошечную морщинку на лице человека, выходящего из дома напротив. Собственно, расстояние не превышало ста пятидесяти футов.

Мы не боялись того, что нас раскусят. В конце концов, это была автомобильная мастерская, в ней раньше постоянно велись работы. Тэмбэл появлялся в одежде механика; сосед мог подумать, что я просто нанял нового работника. Если, конечно, он вообще обращал внимание на нашу суету.

Надо сказать, что за пять дней подготовки сосед ни разу не появился на крыльце. Но молоко исправно исчезало и появлялось. Это наводило на мысли о нашей правоте: зачем человеку так старательно скрываться от окружающего мира, даже забирая молоко с крыльца? Тут явно что-то было не так, и предположение о Кальцене постепенно обретало фундамент.

В общем, 9 сентября 1946 года Джордж Тэмбэл приступил к слежке за странным соседом. Мы были заинтересованы в том, чтобы нацист ничего не заподозрил. Поэтому Тэмбэл не выходил из мастерской вообще. Я носил ему еду; свет всегда был выключен (за исключением моментов, когда приходил я). Туалет в мастерской, конечно, был. Ещё я снабжал Тэмбэла свежей прессой и книгами, которые он поглощал с чудовищной скоростью.

Интересные новости в газетах он имел привычку выделять, подчёркивая ногтем. По этим едва заметным царапинам я определял, обратил ли он внимание на ту или иную новость, и вскоре сформировал для себя круг его интересов. Конечно, он всегда читал заметки о международной политике — о событиях в Европе, о подходящем к концу Нюрнбергском процессе и прочих отголосках войны. Во-вторых, его интересовала светская хроника, а если в ней упоминались известные монегаски, он и вообще прорезал бумагу ногтем насквозь. В разделе «Спорт» он всегда читал про автогонки. Надо сказать, что в Европе с гонками было

тогда плоховато — не до спорта, когда половина мира в руинах.

Собственно, он часто рассказывал про гонки. Вспоминал старое время, радовался новому. В сентябре сорок шестого в Европе прошли две крупные гонки — Гран-при Турина и Гран-при Милана (первую выиграл Акилле Варци, вторую — Карло Феличе Тросси, оба — на «Альфа Ромео»). Октябрь порадовал Тэмбэла тремя Гран-при, в ноябре гонок не было, а в декабре прошёл Гран-при Рио-де-Жанейро, где первенствовал Шику Ланди. Тэмбэл даже порывался поехать в Рио, благо это было нетрудно осуществить, но всё-таки сумел сдержаться. Ведь всю осень и половину зимы он следил за обитателем дома напротив. Я не буду пересказывать вам полную гоночную статистику этих месяцев. Тем более что были ещё гонки американского чемпионата AAA, за которым Тэмбэл тоже внимательно следил.

Итак, ровно пять месяцев — с девятого сентября по двенадцатое февраля — провёл Джордж Тэмбэл в моём гараже. Не воспринимайте это так, будто он сидел там безвылазно и питался приносимыми мной гамбургерами, ни в коем случае. Конечно, он иногда покидал гараж — под покровом ночи, чтобы из соседнего дома ничего не увидели. На несколько дней он бросал наблюдение и возвращался к обычной жизни, чтобы отдохнуть и развеяться. В эти дни мы анализировали новую информацию (если она была), пытались найти ещё какие-нибудь ниточки, способные привести к Кальцену.

Вылазку в дом Кальцена мы предприняли в первых числах января. Чтобы в точности описать, как она происходила, предварительно нужно рассказать обо всём, что заметил Тэмбэл в своём четырёхмесячном на тот момент дозоре.

В начале наблюдения он не видел ничего, кроме руки. Каждое утро дверь приоткрывалась, оттуда появлялась рука — и брала молоко. Молочник проезжал мимо дома примерно в 6.15, уже в 6.20 молока не было. Тэмбэл заснял руку в максимальном приближении. На ней была тонкая кожаная перчатка; рукав принадлежал, судя по всему, серому твидовому пиджаку. В другой раз мелькнул рукав от коричневого джемпера, но перчатка оставалась той же самой. В доме явно кто-то жил, но этот «кто-то» никогда не покидал своего убежища.

Эта же рука иногда выкладывала на крыльцо корреспонденцию, которую забирал почтальон. Он оставлял взамен газеты и письма, которые тоже исчезали в недрах дома. Несколько раз привозили не только молоко, но и еду — в небольших коробках. Но ничего не изменилось: их забрали через щель, образованную приоткрывшейся дверью.

Лишь четырнадцатого октября, спустя более чем месяц после

начала наблюдения, Тэмбэлу впервые удалось запечатлеть таинственного обитателя дома в полный рост. Это произошло, как ни странно, днём, в половине четвёртого. Шёл дождь, небо было серым и каким-то мучнистым. Тэмбэл привычно читал книгу, одним глазом поглядывая на дверь дома напротив. Та начала открываться, и Тэмбэл взял фотоаппарат, намереваясь сделать очередной снимок руки, забирающей почту. Но каково же было его удивление, когда человек вышел на крыльцо и оперся локтями о перила.

Тэмбэл тут же начал лихорадочно снимать. Лица не было видно с такого ракурса, лишь фигура. Потом странный человек развернулся (как назло, в противоположную от Тэмбэла сторону) и пошёл в дом. В последний момент Тэмбэл всё-таки успел заснять его профиль.

Проанализировав полученные фотографии, мы смогли сделать несколько заключений о личности соседа. Это был мужчина, невысокий, но вполне статный. Судя по всему, лет сорока-пятидесяти, то есть вполне могущий быть Кальценом. Профиль обычный. Нос прямой, не длинный и не короткий, пропорциональный подбородок, средней высоты лоб. Снимок был равно похож и на фотографии Кальцена (у агента их было порядка десяти), и на меня, и на самого Тэмбэла.

Это происшествие придало Тэмбэлу новых сил. В принципе, никаких сомнений, что в доме прячется именно Кальцен, не возникало. Странным обстоятельством была именно маскировка. Если немец и в самом деле великолепно владел английским языком, то он мог спокойно выдавать себя за американца (в крайнем случае — за какого-либо канадца из Квебека, говорящего с французским акцентом). Зачем ему было прятаться таким необычным образом, полностью изолируя себя от общества?

Ну да ладно, тогда мы не задавали себе подобных вопросов. Точнее, задавали, но не заостряли на них внимания. Первоочередной задачей было взять Кальцена, а потом уже разбираться в мотивах его поступков.

Спустя полторы недели предполагаемый Кальцен снова вышел на крыльцо. День был точно такой же: пасмурный, дождливый, хмурый. Кальцен (будем условно называть странного соседа так) постоял, опираясь на перила, посмотрел на улицу, на машины, на небо — и снова исчез в доме. Тэмбэлу снова не удалось сделать фотографию, достаточно качественную для опознания.

Агент проявлял необыкновенное терпение. Он был профессионалом высокого класса. Терпение — это одно из основополагающих качеств, которым должен обладать

специалист, занимающийся подобной работой. Это как на охоте: чтобы не спугнуть дичь, выслеживать её нужно аккуратно, не торопясь, порой несколько часов пролежав в засаде. А потом одним ударом довершить дело. Самое неприятное, если этот удар приходится мимо. Тогда все труды — насмарку. В случае с Кальценом Тэмбэл не мог позволить себе ошибиться. Поэтому он ждал.

Тем не менее он всё чаще заговаривал о необходимости пробраться в дом. Но Кальцен никогда не покидал своего убежища, и удобного случая просто не представлялось.

Мы беседовали с Тэмбэлом и на отвлечённые темы. Однажды он обмолвился, что у него есть сестра, которая с мужем живёт в Уганде — она эмигрировала из Европы в самом начале войны. В другой раз он проговорился, что некогда был женат. Но больше никаких прямых сведений я от него не получил. Всё остальное было лишь моими домыслами и предположениями.

Впрочем, некоторые домыслы имели под собой твёрдый фундамент. Однажды я появился в мастерской неожиданно для Тэмбэла, который как раз принимал душ. Он вышел из ванной комнаты с повязанным вокруг пояса полотенцем, поздоровался и направился к стопке свежевыстиранной одежды. Я увидел его спину и был поражён. Она была исполосована вдоль и поперёк вздутыми уродливыми шрамами, точно кто-то нарезал на его коже сетку с помощью тупого ножа. Это укрепило меня в мысли, что Тэмбэл побывал в руках фашистов.

В декабре мы впервые попытались попасть в дом Кальцена. К тому времени стало понятно, что первоначальный план никуда не годится. Когда Тэмбэл начинал слежку, он собирался составить график выходов подозреваемого из дома, рассчитать наиболее удобное время — и нагрянуть «в гости». Когда выяснилось, что немец из дома не выходит вовсе, а продукты заказывает, судя по всему, по телефону, тактику пришлось изменить. Сегодня прослушать любой телефон можно, подключившись к автоматическому распределителю, но в те времена такой метод не проходил. Теоретически Тэмбэл мог при содействии городских властей договориться о прослушивании на подстанции, где сидит девушка-телефонистка. Но его миссия была тайной: о ней знали наверху, но ничего не знали внизу. Никто в городе не подозревал, что Тэмбэл — агент.

Поэтому единственным реальным способом установить прослушивание было подключение жучка прямо к аппарату Кальцена. А в декабре Тэмбэл достал совершенно потрясающую с моей точки зрения вещь — направленный микрофон для подслушивания. Ночью он установил его под навесом крыши,

нацелив в окно Кальцена, которое было освещено чаще других. На следующий же день мы услышали целый ряд звуков — монотонное жужжание радиолы, чавкание, шаги, шуршание страниц, скрип мебели. Но — ни одного слова.

То же повторилось и на следующий день, и на следующий. А через три дня я нашёл Тэмбэла в возбуждённом состоянии. Кальцен, наконец-то, позвонил по телефону и заказал еды на неделю вперёд. Слышно было плохо. Телефон, похоже, находился на линии действия микрофона, но достаточно далеко, возможно, в коридоре. Голос звучал неразборчиво, хотя каждое второе слово кое-как понять было можно. Говорил человек с явным акцентом.

«Значит, он не так хорошо знает английский, как я думал, — сделал вывод Тэмбэл. — Вот и не выдаёт себя за американца…»

Для чего человеку нужно выходить из дому? Любую службу можно вызвать на дом. Впрочем, не всё можно сделать на дому. Например, оформить кредит. Или получить какие-либо документы в ратуше. Кальцену, судя по всему, это и не требовалось. Он вполне обходился заказами. Помимо еды и прессы, ему доставляли и коробки побольше. Несколько раз он выходил из дома, чтобы затащить коробку. С посыльными он никогда не общался. Как выяснил Тэмбэл, деньги он просовывал под дверь.

Тут возник ещё один вопрос: откуда у Кальцена деньги? Впрочем, он мог провезти какое-либо золото или иметь счёт в иностранном банке, как делали многие немецкие чины. На первое время ему должно было хватить. Но неужели он держал в доме столько наличных?.. Этот вопрос не давал нам покоя.

***

17 декабря 1946 года в два часа пополудни наш подозреваемый совершенно неожиданно вышел из дома и отправился куда-то вверх по улице. День он выбрал традиционно холодный и пасмурный. Тэмбэл целую минуту не мог решить, что делать: следить за Кальценом или всё-таки попытаться пробраться в дом. Он выбрал второе.

Я предложил разделиться: он — в дом, я — следить. Но Тэмбэл сказал: нет. Он боялся, что всего опасающийся Кальцен заподозрит слежку (всё-таки я не профессионал) и вся операция пойдёт насмарку. С другой стороны, Тэмбэл попросил меня спрятаться за оградой и следить за дорогой. В случае возвращения немца я должен был нажать на сигнал стоящей в гараже машины. Вряд ли сигнал, раздавшийся из недр автомастерской, насторожил бы Кальцена. От места моей дислокации за оградой до машины было всего несколько секунд

ходьбы.

Итак, я устроился на наблюдательном пункте, предварительно надев пальто. Ветер был пронизывающий. Тэмбэл прокрался к задней двери дома Кальцена, открыл её с помощью отмычки и исчез внутри. Я этого не видел, но именно так рассказал Тэмбэл. Он мог за считаные секунды взломать любую дверь.

Но взлом не удался. Потому что ровно через полторы минуты после того, как Тэмбэл исчез в доме, на дороге снова появился Кальцен. Я как ошпаренный рванул к машине и нажал на гудок. Тэмбэл вернулся ещё через минуту с лишним. «Мог быстрее, но дверь не хотела запираться обратно», — сказал он.

«Что-нибудь успели?» — спросил я.

«Только огляделся. Крекеры и несколько газет на столике, выключенная радиола. Ничего личного на видном месте — ни фотографий, ни каких-либо предметов, характеризующих Кальцена… А потом вы просигналили». — «Он быстро вернулся». — «Да».

Этот диалог происходил на наблюдательном пункте. Тэмбэл прилип к окуляру бинокля.

«Кстати, нужно было его сфотографировать», — вдруг сказал он.

«Когда он возвращался?»

«Да. Если повернуть фотоаппарат, то можно заснять крыльцо с правильного ракурса. Чтобы входящий человек был лицом, а не боком».

Тэмбэл был прав. Но в спешке было не до этого.

«Интересно, — спросил я. — Куда он уходил?»

Тэмбэл покачал головой: не знаю.

Но и это знаменательное событие — первая вылазка в дом Кальцена — не придвинула нас ни на шаг к цели. Жизнь снова вошла в свою колею: ежедневное наблюдение, фотографии руки, забирающей почту и посылки, скука.

Мерное течение нашей жизни нарушила вторая отлучка соседа. Она оказалась намного дольше первой и позволила Тэмбэлу провести в доме подозреваемого достаточно времени для того, чтобы сделать определённые выводы.

Надо сказать, что к тому времени у нас уже сложился некий ритуал: в солнечные и яркие дни мы снижали нашу бдительность. Когда Тэмбэл хотел погулять и развеяться, он делал это именно в солнечные дни. Когда же на небе сгущались тучи или шёл дождь, агент наблюдал за домом Кальцена неотрывно.

Минуло Рождество. Я не очень люблю этот праздник и потому не отмечал его. Тэмбэл тайком выбрался из гаража, купил

огромный торт и гирлянду, которой украсил стену над окошком. Торт он съел почти целиком в одиночку, оставив мне попробовать крошечный кусочек.

«С Рождеством!» — сказал он, не отрываясь от бинокля. На этом праздник завершился.

А 12 января 1947 года произошёл прорыв.

Как я уже упоминал, мы всегда были готовы к отлучке Кальцена (кроме случаев, когда отсутствовали на наблюдательном пункте). Даже если бы меня не было, Тэмбэл забрался бы в дом в одиночку — на свой страх и риск. Но в тот день я был в гараже. А наш подопечный неожиданно покинул дом и… пошёл в нашу сторону. Он миновал мастерскую и исчез за поворотом (я выглянул и не увидел удаляющейся спины). Думаю, нет смысла рассказывать, какая стояла погода.

«Следите!» — сказал Тэмбэл и исчез.

Я вышел на улицу. Виднелось несколько прохожих, но Кальцен пропал.

Через некоторое время мне стало холодно — даже в наброшенном пальто. Часы подсказывали, что Тэмбэл провёл в доме более двадцати минут. Конечно, отлучаться за пуловером я не имел права. Ещё минут через десять я откровенно задубел. Пальцы не слушались, зубы стучали, да и внимание порядком притупилось. Тэмбэл всё ещё возился. Я прикинул, где в гараже висят телогрейки для работы в зимних условиях (а в карманах — перчатки, вспомнилось сразу), и рванул туда. Поход (точнее, побег) за телогрейкой занял секунд двадцать. Улица выглядела так же, как и раньше. Кажется, я ничего не пропустил.

Я не зря сбегал за тёплой одеждой: Тэмбэл отсутствовал один час и три минуты. Он вернулся — довольный как никто.

«Это он».

На его лице сияла улыбка.

Итак, что нашёл Джордж Тэмбэл в доме подозреваемого?

Он вошёл через заднюю дверь и попал в гостиную. С прошлого визита тут ничего не изменилось: несколько газет, две бутылки пива у кресла — одна пустая, вторая початая. Стопка дешёвых детективов. Телевидение появилось в США лишь в сорок восьмом году. Я помню самую первую передачу — Артуро Тосканини дирижировал симфоническим оркестром National Broadcasting Company… Стоп, вернусь к Тэмбэлу. Он тщательно обыскал гостиную. Ящики комода пустовали: чувствовалось, что человек живёт здесь временно. Поэтому агент отправился в спальню. Он обыскал каждый ящик, каждую тумбочку, каждый дюйм пола — и толком ничего не нашёл. Повсюду разбросанные книжки, журналы, газеты.

В другой комнате обнаружился бильярдный стол. Обитатель дома, судя по всему, часто играл: пыли не было, шары выглядели потёртыми, кий валялся поперёк стола. Там же на доске мелом были записаны бильярдные счета — вероятно, Кальцен вёл партии сам с собой. Тэмбэл сфотографировал доску в целях идентификации почерка. Ещё одна комната пустовала вообще — не было даже мебели. Холодильник на кухне ломился от запасов еды, как и все кухонные шкафы.

В доме Тэмбэл собрал несколько отпечатков пальцев из разных комнат — теоретически они должны были совпасть с имеющимися у агента образцами.

В подвале находилась котельная — и всё. Обыск ничего не дал. А вот чердак оказался важнейшим пунктом путешествия Тэмбэла. Поднявшись наверх, он заметил, что на чердаке подозрительно мало пыли. Точнее, в некоторых местах её вовсе не было: сюда иногда поднимались. Пройдя по следам Кальцена, Тэмбэл нашёл под половицей между первым и вторым этажом небольшой металлический ящик, в котором находились документы на немецком языке. Среди этих документов Джордж Тэмбэл нашёл несколько писем, написанных женщинами — Ирмой Грезе, Хильдегард Нойманн и другими, чьих имён Тэмбэл не знал. Все письма были адресованы Генриху Кальцену. Этого вполне хватало для идентификации преступника.

Кальцен прошёл мимо гаража примерно через десять минут после возвращения Тэмбэла. Последний рвался брать негодяя сразу, но я уговорил его повременить.

Следующие несколько дней Тэмбэл был возбуждён, но затем согласился со мной и вернулся к мерному наблюдению.

С отпечатками получилось странно. Всего Тэмбэл снял в доме Кальцена двадцать отпечатков в случайных местах. Четыре больших, четыре указательных и так далее. Так вот, оказалось, что отпечатки в доме оставляли как минимум два человека. Один из них — Кальцен, кто второй — неизвестно. Причём второму принадлежали тринадцать из двадцати отпечатков. Тэмбэл предположил, что в доме живут два человека. Вполне вероятно, оба — немцы, оба — из беглых. Один по какой-то причине не появляется на публике, ему принадлежит рука. Второй же иногда всё-таки выходит из дома. Но почему тогда в момент обыска никого в доме не оказалось? Загадка.

Тэмбэл не хотел её решать. У него созрел простой и действенный план. Он хотел отследить, когда рука заберёт следующую порцию писем или, что ещё лучше, в пасмурный день обитатель выйдет на крыльцо. А затем, когда тот вернётся, ворваться в дом и взять его горяченьким. То есть

раскладывающим продукты или сортирующим прессу. Во-первых, Тэмбэл подозревал, что Кальцен иногда покидает своё обиталище незаметно для наблюдателя, и боялся проколоться (хотя направленный микрофон всегда мог засвидетельствовать присутствие Кальцена). Во-вторых, агент опасался того, что фашист всё время настороже, и днём, сидя в гостиной за книгой, он скорее даст вооружённый отпор, чем с пакетами в руках.

Поэтому Тэмбэл ждал и готовился.

У него был пистолет. Американский Colt M1911, надёжный, простой и мощный.

«Если не получится взять его живым — убью», — говорил Тэмбэл. Я не сомневался, что он так и поступит.

Я должен был брать негодяя с задней двери. Тэмбэл вручил пистолет и мне — Browning HP.

«Вы умеете обращаться с оружием?»

«Умею, в армии служил», — ответил я.

«Может, лучше Colt?»

«И с браунингом справлюсь».

На этом разговор об оружии завершился.

Теперь оружие всегда было у нас под рукой, когда мы находились в гараже. Дверь дома напротив открывалась не каждый день, но раз в два-три дня точно. Поэтому мы запланировали операцию на один из дней одиннадцатого, двенадцатого или тринадцатого февраля. Пригрозить пистолетом, обездвижить, арестовать. Далее можно было смело вызывать полицию: у Тэмбэла были документы, по которым любой полицейский в любом штате обязан был ему подчиниться как старшему по званию. Примерно так всё и должно было выглядеть.

Одиннадцатого февраля мы безвылазно просидели на наблюдательном пункте и… не дождались. Кальцен не появился, даже руки не показал. Напряжение было чудовищное. Тэмбэл пытался травить анекдоты, но у него плохо выходило. Когда стемнело, в гостиной долго не гас свет. Направленный микрофон, как и прежде, ловил шебуршение радиолы и шорох страниц.

«Может, сейчас?» — спросил я.

Тэмбэл покачал головой.

«Днём, — сказал он. — Днём это не так заметно со стороны».

Мне казалось наоборот, но я подчинился.

И вот наступило утро среды, 12 февраля 1947 года.

***

Ночью мы немного поспали по очереди, потому что брать фашиста стоило со свежими силами и головой. Наскоро

позавтракали, не отрываясь от наблюдения.

И почти сразу после завтрака к дому напротив подъехал грузовичок доставки. На его блестящем борту была эмблема известной торговой сети. Курьер вышел из кабины, открыл двери фургона и поволок к дому достаточно большой ящик. Это означало, что Кальцену придётся выйти, чтобы втащить ящик в дом.

Всё произошло по обычному сценарию. Курьер оставил ящик на крыльце, позвонил в дверь. Ему просунули деньги через щель. Курьер уехал.

Мы уже были наготове. Пистолет Тэмбэла находился в подмышечной кобуре, мой — в кармане куртки.

«Не забудьте только с предохранителя снять, если что», — сказал Тэмбэл.

Я посмотрел на него укоризненно.

Кальцен появился на крыльце и стал затаскивать внутрь ящик.

«К заднему входу», — сказал Тэмбэл и вышел из гаража.

Я отправился к заднему входу. Это было нетрудно: перемахнуть через изгородь, миновать лужайку и встать у двери. Я услышал трель дверного звонка: Тэмбэл уже на месте. Мне казалось, что агент просто откроет дверь, выбьет её ногой, к примеру, но тот принял решение войти цивилизованно. Возможно, он думал, что Кальцен примет его за возвратившегося почему-то курьера.

Больше я ничего не слышал — всё-таки я находится с другой стороны дома. Из технического интереса я нажал на ручку задней двери. И — о чудо! — дверь открылась. Я достал пистолет, снял с предохранителя и вошёл в комнату.

Тут же — стоило мне сделать шаг — в комнате появился и второй человек. Он влетел внутрь сломя голову и побежал прямо на меня. Это был Кальцен — тот самый человек, который выходил на крыльцо и забирал продукты. В моей руке был пистолет — и я нажал на спуск. Его развернуло, но он не упал, а как-то странно заковылял в сторону и исчез в дверном проёме, ведущем на кухню. Я рванул за ним. Он пытался выбраться из кухонного окна, но у него не получалось: похоже, я всё-таки попал. Я снова выстрелил. Пуля отрикошетила от стены куда-то в сторону. Кальцен завалился в угол и обхватил руками высокий пристенный газовый баллон. Такие баллоны только начали появляться; плита от них могла работать по несколько месяцев, после чего вызывали заправщика, который обновлял содержимое баллона.

Кальцен схватился за баллон — но я это понял не сразу. И

выстрелил ещё раз. Я понял, что промазал, только когда услышал свист газа; в этот момент за моей спиной появился Тэмбэл. Я рефлекторно нажал на курок ещё раз, Тэмбэл отвёл мою руку в сторону — и в злосчастный баллон ушла вторая пуля. Агент среагировал раньше меня. Он рванул назад, таща меня за капюшон, и когда мы были уже в комнате, прогремел взрыв; из кухни вырвалась струя огня.

Мы побежали к задней двери и вывалились наружу, когда второй, более мощный взрыв сотряс дом, практически уничтожив его правое крыло.

«Иначе никак?» — прохрипел Тэмбэл.

«Он бежал прямо на меня, я мог упустить».

«Чёрт…» — протянул агент.

Я чувствовал, как он огорчён и как это огорчение затмевает радость от хорошо выполненной работы, пусть и чужими руками. Дом уже полыхал.

Он хотел убить Кальцена своими руками и так отомстить за всё. За свою изувеченную спину, за сотни соотечественников, окончивших жизнь в гитлеровских лагерях. И вдруг я убиваю фашиста. Я, простой американский автомеханик, войны не видевший даже издалека.

«Да… — протянул Тэмбэл, поднимаясь. — Вы убили его, Джим. Я могу только сказать: спасибо. Если бы не вы, он мог уйти».

«Я понимаю, что вы хотели сделать это сами», — сказал я.

«Да. Вы правы. Но раз так судьба распорядилась… Вы, Джим, стали моим оружием», — он грустно улыбнулся.

Я кивнул.

«Будем полицию вызывать?» — спросил я.

«Да».

Мы перебрались через ограду и вернулись в мастерскую. Тэмбэл позвонил в полицию. Полицейские приехали, агент показал им какое-то удостоверение. Чтобы не вмешивать меня во всё это, Тэмбэл сказал, что это он застрелил Кальцена и случайно попал в газовый баллон; заменить мои отпечатки на пистолете на его не составило труда. Собственно, я вообще не принимал участия в полицейских разборках, поскольку не хотел проблем. Я поехал домой. Тэмбэл оставил при себе информацию о том, как он выследил Кальцена, и про моё существование вообще не сказал ни слова. Мы сделали так с моего согласия (хотя я вспомнил, что изначально Тэмбэл полагал представить меня к награде).

Об остальных событиях Тэмбэл рассказал мне уже дома; мы сидели с пивом в руках и обсуждали смерть немца. Когда дом

потушили, опознавать было уже нечего. Что характерно, зубного снимка Кальцена в природе не существовало: он никогда не обращался к врачам даже в Германии. «Пальчики» у него сняли при поступлении в СА, это было стандартной процедурой, потому их и смогли использовать спецслужбы.

Впрочем, сомнений в том, что мы убили именно Генриха Кальцена, не было.

«Куда вы теперь?» — спросил я.

«Вернусь в Европу. Я говорил, что женат?»

«Нет».

«Ну вот, теперь говорю», — он улыбнулся.

Мы разговаривали по-дружески, но мне было как-то неуютно. Ведь получилось, что я отобрал у Тэмбэла победу, пусть об этом и знаем только мы вдвоём. Я спросил:

«Вы будете ещё охотиться на фашистов?»

«Я не знаю, — ответил он. — Может быть, да. Может быть, нет. Я могу уйти на пенсию в любой момент».

«Наверное, как жена разрешит», — предположил я.

«Вроде того».

Потом мы сидели и смотрели на огонь в камине. Казалось, что всё уже закончено, что все дела в прошлом. Но на самом деле всё не так просто. Это лишь часть моей истории, причём часть не самая главная.

***

В апреле 1947 года Джордж Тэмбэл уехал из нашего городка. Позже он прислал мне открытку из Уганды, где, вероятно, гостил у сестры, а ещё позже — из Эвре, Франция. На обеих открытках не было ни слова: они просто свидетельствовали о том, что у него всё в порядке и что он меня помнит.

Потом минуло ещё двадцать лет. Я так и не женился, зато открыл новую мастерскую, потом ещё одну, а потом и ещё одну. Бизнес процветал, я купил себе дом побольше и проводил дни в праздности, читая газеты, смотря телевизор и лениво пролистывая финансовые отчёты из мастерских.

А в июле 1969 года я неожиданно увидел в газете фотографию Джорджа Тэмбэла. На ней он выглядел гораздо моложе, чем в сорок седьмом, но всё-таки это был он, сомнений не возникало. Под фотографией была подпись: «Уильям Гровер, 1903–1945». И я прочёл эту статью.

Именно тогда я понял, с кем был знаком в течение почти года, кому помогал в деле поимки опасного немецкого преступника. Я понял, почему он интересовался гонками и

живописью и откуда у него на спине страшные вспухшие шрамы. Он был очень, очень сильным человеком; смерть настигала его дважды, но первый раз он сумел её обмануть.

Уильям Гровер был сыном обеспеченного конезаводчика — англичанина, обосновавшегося во Франции и женившегося на француженке. Сразу после Первой мировой войны семья перебралась в Монако, где Уильям быстро получил водительскую лицензию (в то время так назывались права) и стал работать шофёром. Тогда же он купил подержанный мотоцикл Indian, подетально перебрал его и начал понемножечку гоняться в любительских заездах. Надо сказать, что водителем он поступил не к простому богатею, а к известнейшему европейскому художнику-баталисту сэру Уильяму Орпену; на службе он увлёкся в том числе и живописью. А потом влюбился в натурщицу Орпена мадемуазель Ивонн Обик и женился на ней в 1929 году.

В конце двадцатых к нему пришла слава автогонщика — он выигрывал Гран-при Франции (дважды), Монако, Бельгии, Ла-Боля (трижды). Выступал он под псевдонимом «Уильямс», а самой громкой его победой стала гонка в Монте-Карло. Известность, пришедшая к нему после той победы, хорошо характеризуется следующим эпизодом. Гровер и его супруга Ивонн очень любили скорость и частенько просто катались с огромной скоростью по узким улицам Монако: он ведущим, она — ведомым. В одну из таких поездок жандарм остановил Ивонн за превышение скорости. Ошеломлённая Ивонн спросила: «Но почему не его, он же был ведущим?» На что жандарм ответил: «Это же Уильямс. Мы не останавливаем Уильямса». Его слава и авторитет в Монако были непререкаемы.

Не думайте, кстати, что все эти сведения я прочёл в статье. Там была лишь короткая заметка о герое Сопротивления, которая позволила мне идентифицировать Тэмбэла как Гровера и найти сведения о нём в других источниках.

С началом Второй мировой войны Гровер вступил в SOE, Управление специальных операций, которое контролировало действия англичан на территории Франции. Гровер возглавлял одну из Парижских сетей, организовывал поставки оружия бойцам Сопротивления, эвакуацию разыскиваемых немцами, диверсии и теракты на подконтрольных фашистам заводах и фабриках. В 1943 году он всё-таки попался в местечке Оффаржи, где отсиживался после очередного удачного теракта. Его отконвоировали в Париж и долго допрашивали на авеню Фош. Он молчал. Окровавленного, изувеченного, его отправили в лагерь Заксенхаузен, где содержали в одиночке. С агентами SOE не церемонились. Давали есть раз в день, только хлеб и воду.

Ежедневно допрашивали, били, выворачивали суставы, прижигали кожу, выкручивали пальцы. А они молчали. Гровер каждый день видел смерть на трассе, что ему какие-то немцы. В соответствии с официальными немецкими документами его казнили в период между 18 и 23 марта 1945 года, всего за полтора месяца до победы. Как — неизвестно. Может, расстреляли. Может, повесили. Может, отправили в газовую камеру.

Но слишком уж ровно сходился пазл, слишком гладко. Потому я не мог поверить в смерть Гровера. Я рассматривал его довоенные фотографии (в газетах их было достаточно, потому что его гоночная слава вышла за пределы Европы, и он появлялся даже в американских изданиях) и видел в каждой черте — Тэмбэла. Того самого Тэмбэла, который приехал в наш город в мае сорок шестого в поисках человека, которого ненавидел. Тэмбэла, который великолепно разбирался в механике, водил машину с безумной скоростью, неплохо рисовал и был покрыт, точно татуировкой, системой шрамов, полученных в концлагере.

Впоследствии мы посылали друг другу и другие открытки, помимо уже упомянутых. Последняя пришла от него в восьмидесятом — он рассказывал о том, как плохо ему без супруги, безвременно ушедшей за семь лет до этого. Тэмбэл умер год назад, в восемьдесят третьем, я уже говорил об этом. Его сбила машина в Ажене — я нашёл об этом упоминание на последней полосе местной газеты, которую привозили специально для меня из далёкого французского города. Привозили именно для того, чтобы я мог рано или поздно найти некролог и рассказать эту историю.

В этом-то и вся соль.

Я одержал победу над Джорджем Тэмбэлом, я стал единоличным триумфатором этой гонки, главной в его жизни. Я знаю, кто он на самом деле, я знаю, как сложилась его жизнь, и я знаю, что пережил его. Он же все эти годы ошибался.

Он, агент британской разведки, могучий человек, победивший смерть, так и не сумел угадать в простом американском автомеханике своего главного врага — оберштурмбанфюрера СС Генриха Кальцена.

Guten Tag. Das bin ich.

***

Я уже не боюсь преследования. Когда эта история попадёт в печать, меня не будет. Даже если меня вычислят, что мне терять? Я прожил долгую и счастливую жизнь, пусть и под чужим

именем; у меня было всё, что я хотел. Я достаточно пожил, чтобы позволить себе бросаться жизнью, как ненужным тряпьём.

Вначале Тэмбэл действительно мастерски следил за мной, и мне не удавалось в полной мере замести следы. Имитация акцентов (при том, что по-английски я говорил в совершенстве), растворение в толпе — ничего не помогало. И я понял, что единственный способ уйти от дотошного агента — это сымитировать собственную смерть. Причём желательно, чтобы «убийцей» стал он сам.

У меня был примерно месяц форы — и этого времени хватило. Если бы Тэмбэл взял кирку и разбил западную стену в моём подвале, он нашёл бы там труп Джима Мортенсена, автомеханика. С Мортенсеном я познакомился на второй день пребывания в городе и понял, что мне сказочно повезло. Мортенсен был немного похож на меня, одинок, и за некоторое время до нашего знакомства решил продать свою автомастерскую, уволив всех работников. За неделю тесной «дружбы» я выяснил у Джима всё, что нужно, а потом задушил его струной и замуровал в подвальной стене. Его тело и по сей день там. Вы спросите — каково это, жить бок о бок с трупом? Я отвечу: никаких отличий от жизни без трупа.

Из родственников у Мортенсена была мама, которая жила в другом городе. Я честно писал ей по письму в неделю, копируя обороты и почерк из прежних писем Джима (у него была целая стопка неотправленных черновиков). Близко его знало в городе всего несколько человек. Русский сосед Владимир удачно уехал (про него мне рассказал сам Джим, когда был жив), один из бывших работников мастерской погиб под колёсами неизвестной машины (моей, конечно), ещё пара человек тоже безвременно ушла в небытие. Для надёжности на всех документах, где имелась фотография Джима, я разместил свою, даже права переделал. Подделка документов — что может быть проще для подготовленного человека?..

Когда появился Тэмбэл, я уже был готов. Я купил пустующий дом около мастерской, спрятал на чердаке письма ко мне от Ирмы и других женщин, обставил жилище скупо, точно для временного местопребывания. Самое главное — я нашёл человека, который мог бы сыграть меня.

Это был безработный актёр по имени Ричард Бир, простой малый, подрабатывающий чёрт-те чем. Тридцать долларов в день были для него невозможной, запредельной суммой. За такие деньги он был готов удавиться. А деньги у меня были — я вывез из Германии достаточно драгоценностей, чтобы безбедно существовать всю оставшуюся жизнь. Плюс в некоторых

европейских банках у меня были счета на предъявителя, их я забрал уже в пятидесятые.

Работа у Бира была простая: жить в доме, читать газеты и книги, заказывать еду, никогда, за исключением редких пасмурных дней, не появляться на улице. Мы заключили договор на полгода. Полгода взаперти за пять тысяч триста долларов, да ещё и с оплатой всех расходов? Конечно, он был согласен и даже счастлив. Когда Тэмбэл принёс направленный микрофон, я испугался. С тех пор Биру было запрещено даже бормотать что-то вслух, а по телефону велено было говорить с акцентом (как выглядит немецкий акцент, я ему показал, всё-таки он был каким-никаким актёром).

Я приходил в дом Бира, когда Тэмбэл отлучался или спал, а кому как не мне знать эти часы?.. Я целенаправленно оставил много своих отпечатков, а иногда «обновлял» дорожку в пыли на чердаке.

В декабре Бир выпил лишнего и решил прогуляться по округе. Это поставило под угрозу весь мой план. Я догнал его, когда Тэмбэл уже был в доме, и вернул обратно, пригрозив, что он не получит остальные деньги вообще (на тот момент был выплачен лишь аванс, около трети). Я бегом вернулся назад и нажал на гудок; Тэмбэл успел уйти за считаные секунды до возвращения Бира, которому я наказал идти не торопясь.

В январе Бир покинул дом и сыграл свою роль уже по моему указанию. Всё время, пока Тэмбэл был в доме, он сидел за кустами напротив и ждал, пока тот войдёт в гараж, а потом вернулся домой. Бир не знал, для чего всё это нужно. Он видел в этом источник заработка, причём очень непыльный, а шпионские игры его мало интересовали.

Вся история с баллоном тоже была подстроена. За пару дней до планируемой вылазки я подготовил баллон и разместил за ним, у стены, миниатюрное взрывное устройство. Провода я провёл по кухне и вывел на незаметную кнопку у кухонных дверей. Конечно, от обычного выстрела баллон бы не взорвался. А от нажатия на кнопку в верный момент — гарантированно.

Расчёт был верный. Я объяснил Биру его последнюю (конечно, он этого не знал) роль. Я рассказал, что в определённый день в его дверь позвонит или войдёт без звонка один человек; фотографию я ему показал. Бир должен был посмотреть в глазок (да, дверь у него была сплошная, без стекла), убедиться в том, что это Тэмбэл, а потом уйти через заднюю дверь. Но у задней двери ждал я. Под дулом пистолета я отконвоировал Бира в кухню и начал стрелять. Всё это время Тэмбэл стоял перед дверью и ждал, что ему откроют: это сыграло мне на руку. Когда агент появился с

пистолетом наголо, я выстрелил в баллон, откуда пошёл газ. Тэмбэл, естественно, испугался, как всякий человек, видящий подобную взрывоопасную ситуацию. Я нажал на кнопку, и с задержкой в пару секунд грянул взрыв.

Зачем всё это нужно было? Чтобы уничтожить труп Бира и сделать его невозможным для опознания, особенно по отпечаткам пальцев. О том, что у агентуры нет моей зубной карты, я знал.

Единственное, о чём я жалею, так это о том, что сгорели письма Ирмы. О, это была самая страстная и сильная женщина в моей жизни. Не знаю, любил ли я её. Но я и сегодня вспоминаю её тело со сладострастным содроганием.

В 1982 году в США вышел сборник Стивена Кинга «Четыре сезона», в котором была повесть «Способный ученик». К тому времени я читал всего выходящего Кинга, мне нравился его сухой повествовательный стиль и мрачное, жестокое содержание произведений. В герое «Способного ученика» я пытался узнать себя — и не узнавал. Мы всегда были сильнее других, мы, рассеянные по всему миру бывшие офицеры Тысячелетнего рейха. Мы умели быть жестокими, непоколебимыми, скрытными, бесстрашными. Мне стыдно смотреть на мальчишек со свастиками на рукавах, которые ходят с бейсбольными битами, отлавливая чернокожих в неблагополучных районах крупных городов. Мне стыдно смотреть на бритоголовых дураков, позорящих имя фюрера даже простым поминанием в разговоре. Да начнись сейчас война, они бы обмочились со страху и спрятались в свои квартирки.

У нас, последних, нет достойной смены. Когда мы умрём, с нами умрёт рейх. Но пока мы живы — он существует. Поэтому в какой-то мере я имею право сказать, что мы всё-таки победили.

Мы победили.

Наследие мистера Джеймса

Джесси Джеймса убили незадолго до моего рождения, в 1882 году. Роберт Форд, двадцатилетний негодяй, мелкий подшиванец банды Джеймса-Янгера, застрелил его подло, в спину, когда тот сметал пыль с картины. В принципе, Джеймс был готов к смерти. Она столько раз миновала его, что он привык к её постоянной близости.

Форда убили в 1892 году, когда мне исполнилось девять лет. Его застрелил из ружья некто Эдвард Кейпхарт О'Келли. Он вошёл в салун города Крид, что в штате Колорадо, поднял свой ствол, сказал «привет, Боб» и нажал на спуск. О'Келли попал Форду в шею.

Эдварда О'Келли убили в 1904 году, тринадцатого января, в день моего совершеннолетия. И несмотря на то, что О'Келли в этой истории — никто, всего лишь человек, который убил человека, который убил Джесси Джеймса, именно О'Келли стал причиной того, что я вышел за рамки закона.

В моём детстве только и разговоров было что о Джесси Джеймсе. Мои сверстники равнялись на него, рассказывали о своих планах по становлению великими бандитами, проглатывали дешёвые книжонки с выдуманными приключениями Джесси. После убийства Джеймса его тело выставляли напоказ, сам Барнум хотел приобрести его, мумифицировать и сделать из великого преступника аттракцион. Но не вышло, родственники Джеймса всё-таки отвоевали труп и захоронили его по человеческим и божьим законам.

Смерть Форда я как-то пропустил. Конечно, о ней писали в газетах, но нужны ли газеты девятилетнему мальчишке? Нет, конечно.

Время шло, я становился старше. Работал сначала на лесопилке простым рабочим, потом под моим началом появилось несколько человек, а к двадцати одному году я уже достаточно разобрался в работе с лесом, чтобы организовать собственное дело. Нанял несколько человек на скопленные деньги, построил небольшую лесопилку, начал поставки древесины для различных нужд. Ничего особенного, в общем. Жили мы тогда в Пенсильвании, близ Джонсонбурга, довольно большого города, где было достаточно клиентуры для моей лесопилки.

Но спустя несколько дней после моего совершеннолетия (двадцать один год, если кто-то сомневается) я прочёл в газете о смерти некоего Эдварда О'Келли. Потом я узнал, кем он был и

кем был тот, кого О'Келли некогда убил. И сразу вспомнил о детском преклонении перед Джесси Джеймсом. Именно тогда, зимой 1904 года, у меня возникло навязчивое желание ограбить поезд. Не банк, нет. Именно поезд. Собрать команду, остановить состав, с боем ворваться в инкассаторский вагон с золотом, забрать добычу, застрелить кого-нибудь для проформы. Всё это действо представлялось мне необыкновенно романтичным, красивым, настоящим.

Но до самого 1909 года у меня не было времени осуществить задуманное. Я построил вторую лесопилку, потом — третью, потом начал покрывать Пенсильванию целой сетью лесозаготовительных станций. Отец и мать всячески меня поддерживали; единственное, что им во мне не нравилось, так это нежелание жениться. Им хотелось внуков, я понимаю. Я был настолько занят работой, что не заметил даже самого громкого дела тех лет — убийства Бутча Кэссиди, одного из наследников дела Джеймса-Янгера. Правда, в последние годы Кэссиди работал в Южной Америке: там было проще.

А в 1910 году у меня начались проблемы с конкурентами. Точнее, с одним конкретным — толстым Джимом Харрисом. Ему было тогда около пятидесяти лет, и он совершенно не собирался терпеть какого-то выскочку на своей территории. Мелкие одиночные лесопилки его бизнес не подрывали, а вот моя постоянно растущая сеть толстяка серьёзно беспокоила. Первым его предложением была покупка моих одиннадцати лесопилок. Я отказался. Он предложил бóльшую сумму, но я снова не согласился. Через три дня одна из лесопилок сгорела подчистую; пожар забрал с собой жизни нескольких рабочих. Расследование ни к чему не привело. Но я, конечно, знал, что это дело рук харрисовских наймитов.

Когда сгорела вторая лесопилка, Харрис предложил мне выкупить оставшиеся девять по довольно скромной цене. Более того, он подослал к рабочим агитаторов, которые расписывали, насколько лучше живётся сотрудникам Харриса. Часть рабочих перешла к нему.

Власти штата были в курсе наших лесозаготовительных войн, но Харрис знал, кому нужно дать на лапу. Итогом его действий стало моё полное разорение. Да, я не шучу — я обанкротился, вынужден был продать лесопилки за бесценок (правда, не Харрису, а другому конкуренту, более мирному) и вернулся в конце 1911 года в свой Джонсонбург.

Сказать, что я был подавлен, — значит ничего не сказать. На мне висели ещё некоторые долги, но с ними я бы кое-как смог расплатиться из своих сбережений. Неприятным было то, что всё

нужно было начинать с нуля — а никакого стартового капитала не было. Просить деньги у родителей было не по мне. Около полугода я ничего не делал. Валялся на кровати, читал книги, иногда встречался с девушками. Мама начала косо посматривать на меня, а отец успокаивал её: «Всё у него образуется, точно, погрустит, переварит — и снова за дело возьмётся». Но моя апатия всё не проходила и не проходила. Уже подошла к концу весна 1912 года, и в один из дней мне пришло в голову разобрать завалы моих детских вещей, хранящихся на чердаке. Раскапывая очередной сундук, я обнаружил — нет, не комиксы о приключениях Джесси Джеймса. Я нашёл всего лишь старую пожелтевшую газетную вырезку 1904 года о смерти Эдварда О'Келли.

Вот тут-то мне и вспомнилась моя детская мечта. Я не видел ни одной причины, мешающей мне организовать ограбление поезда. Обстоятельная подготовка в течение месяца — и вот, пожалуйста, золотой запас у меня в подвале. Боже, каким я был наивным! Самое смешное, что ввиду всей этой наивности мои планы могли удаться — и удались. Но давайте обо всём по порядку.

Первой и основной задачей был выбор цели. То есть поезда, который было достаточно просто и выгодно ограбить. Железная дорога, проходившая через Джонсонбург, была довольно-таки оживлённой: она соединяла крупные центры — Буффало и Питтсбург. Прямой эту дорогу не назовёшь, приходилось каким-то образом обходить огромный национальный парк Аллегейни. Его можно обогнуть двумя путями — по берегу озера Эри, а затем от городка Эри на юг к Питтсбургу или через наш город. Я не сомневался, что ко многим поездам, следовавшим последним маршрутом, тайно прицепляются инкассаторские вагоны.

На следующий же день после принятия решения я нашёл наблюдательный пункт. Он располагался недалеко от железнодорожного полотна в двух милях к югу от Джонсонбурга на берегу реки Клэрион. Я запасся едой, бумагой и карандашами. И, конечно, железнодорожным расписанием, чтобы ориентироваться в проходящих поездах — и помечать не упомянутые в расписании.

На наблюдательном пункте я провёл пятнадцать дней — неделю в дневную смену и неделю в ночную. Родителей не интересовало, где я пропадаю: они привыкли к тому, что у сына деловая хватка и он может самостоятельно вести дела. Да и было мне уже двадцать девять.

Я отмечал каждый поезд, считал, сколько в нём вагонов, и относил их к тому или иному типу. Для того чтобы успевать

фиксировать проносящиеся мимо вагоны, я расчертил свою тетрадь на хитроумные таблицы; мне достаточно было просто ставить крестики в требуемых местах, чтобы впоследствии легко понять и тип вагона, и его местоположение в составе. Ночью работать было сложнее, иногда я явно ошибался или пропускал вагон. Но в целом статистика получалась довольно занятной.

Первым делом я отмёл все пассажирские вагоны с большим количеством окон. Таких было больше всего, и в них можно было найти только личные вещи и деньги пассажиров. Грабить обычных граждан я считал неправильным, тем более среди них вполне могли оказаться «народные герои».

Всего за две недели бдения я насчитал тридцать шесть разновидностей вагонов. Некоторые виды я объединял в один (к примеру, три разных типа скотовозок я считал за один класс вагона). Лишь два вида я не смог идентифицировать и отнести к какому-либо классу — именно они интересовали меня более всего. Один напоминал обычный почтовый вагон — но цеплялся к поездам, где почтовый вагон уже был и так. И надписи «почта» на его деревянном боку не было, да и цвета вагон был какого-то серого, без всякой маркировки. Второй был металлическим, точно для перевозки руды. Но при этом в его бортах были узкие окна, напоминающие бойницы. Оба вагона с равной степенью вероятности могли оказаться инкассаторскими.

Я условно назвал их «деревяшка» и «железка» — так было проще вести записи. «Деревяшка» за неделю появилась трижды — один раз днём и дважды ночью. «Железка» — четырежды, по два раза днём и ночью. Ни разу они не пересекались в одном составе, зато всегда были частью пассажирских, а не товарных поездов.

Следующим моим шагом была поездка в Питтсбург. Я уже точно знал, к каким поездам прицепляются «подозреваемые» вагоны и во сколько они отбывают из Питтсбурга. В принципе, я мог точно так же отправиться и в Буффало, но Питтсбург я знал лучше, и питтбургский вокзал мне казался более приятным местечком для слежки. Естественно, я взял билет на один из интересующих меня поездов — на девять утра. К нему прицепляли «деревяшку».

Тёплым июньским утром 1912 года я отправился в Питтсбург. Гигантский город, более полумиллиона человек населения, всеамериканский центр сталелитейного производства. Вокзал Питтсбурга по сравнению с жалкой деревянной будочкой Джонсонбурга казался огромным, как Гулливер перед лилипутами. Отследить нужный поезд до объявления пути и перрона было совершенно невозможно, а инкассаторские вагоны наверняка загружали заранее. Поэтому я мысленно похвалил себя

за то, что приехал на поезде, который сейчас, видимо, будут разгружать, и, значит, можно проследить за дальнейшей судьбой «деревяшки».

Я покинул свой вагон в толпе народа и подошёл поближе к «деревяшке». Её сдвижная дверь не открывалась, никто не выходил наружу. Вместе с толпой я отошёл на некоторое расстояние, потом перебежал через соседние пути и спрятался за отцепленным от поезда товарным вагоном.

Ждать пришлось довольно долго. Примерно через час состав тронулся: его буксировали куда-то в дальнюю часть путевого лабиринта. Я потихоньку пошёл туда же. Вокруг царил страшный хаос, поезда приходили и отходили; большинство — товарняки с грузом стальных изделий. Всё было в пару, из-за постоянного свиста гудков ничего не было слышно.

«Деревяшку» тем временем отцепили. Маленький паровой тягач буксировал её в сторону. И тут я увидел полицейских. Они стояли на путях небольшой группой. Несмотря на то, что их тёмные костюмы ничем, в общем, не отличались от гражданских, служители закона опознавались сразу — то ли по манере держаться, то ли по залихватской посадке котелков, сложно сказать; более того, я сразу понял, что они из криминальной полиции, а не рядовые блюстители порядка. Я наблюдал издалека, поскольку светиться перед полицией (особенно с учётом цели моей слежки) не хотелось.

Через некоторое время внешнюю дверь вагона открыли, и из проёма появился человек. Тоже из полиции — но уже не из криминальной, а просто патрульный в форме. Он спрыгнул вниз и помог спустить скат. По скату начали спускаться другие обитатели вагона. Шли они медленно, крошечными шажками, чуть не спотыкаясь. Только тогда я понял, что представляла собой «деревяшка». Это был вагон для заключённых. А спускались они странно из-за ножных кандалов. Итак, моя слежка оказалась более или менее успешной: я отсеял ещё один вагон. Осталось лишь проверить «железку» — и можно действовать.

Так получилось, что отслеживать «железку» я поехал в Буффало. Конечно, народу там было поменьше, чем в Питтсбурге, но маленьким город тоже назвать было нельзя. Всё-таки львиная доля сталеобрабатывающих предприятий располагалась именно в Буффало, и потому по берегу озера Эри и через Джонсонбург круглые сутки шли товарняки с заготовками.

Сначала сценарий слежки был точно таким же, как и в случае с «деревяшкой». Я приехал на вокзал Буффало на поезде, в составе которого была «железка», сошёл и стал ожидать, что будет дальше. Но «дальше» не было как такового, потому что

странный вагон отцепили, загнали в здание депо, железные двери закрылись, и больше я ничего не видел. Впрочем, кое-какие выводы для себя я, безусловно, сделал. Даже заключённых выгружали на открытой территории. Что же такое везли в «железке», что погрузка (или разгрузка) могла производиться только в стороне от посторонних глаз?

В любом случае, я отметил здание, в которое загоняли «железку» в Буффало. Ближайший поезд с таким вагоном должен был прибыть в город лишь через два дня, и я принял решение дождаться. Снял номер в дешёвой гостинице, купил детектив в книжной лавке и провёл два дня в полном безделье. Когда же наступил «день икс», я снова отправился на вокзал — за четыре часа до прибытия поезда.

Тут стоит описать здание, о котором шла речь. С виду это было обыкновенное депо, но небольшое, всего с двумя въездами, причём одним из них, судя по всему, никогда не пользовались. С другой стороны здания рельсов не было: внутри располагался тупик. Зато снаружи к зданию подходила новенькая асфальтобетонная дорога; в Буффало таким покрытием могли похвастаться едва ли несколько центральных улиц, а тут — какая-то жалкая дорожка, ведущая к зданию на задворках железнодорожного узла. Подозрительно, подумал я.

Я обошёл вокруг здания: снаружи не было ни души. Затем я выбрал себе удобный наблюдательный пункт за забором на противоположной стороне улицы. Мне было в первую очередь интересно, не появится ли инкассаторская машина…

Но прежде чем она появилась, я заметил, что со стороны вокзала подкатывают вагон-«железку». Его тянул небольшой старичок-паровозик конца 1870-х годов — как он ещё был на ходу, я не знаю. Итак, как я и предполагал, должна была произойти загрузка. Тут же я сделал вывод, что у меня должен быть свой человек здесь, в Буффало. Он должен проследить, что и как грузят в инкассаторский вагон, а затем как-то сообщить об этом мне, ожидающему на путях в удобном месте (которое я на тот момент ещё не выбрал). Телефонные станции в Буффало были, позвонить он мог. Только вот куда он должен был звонить? Где бы ни находилась засада, место должно быть безлюдным. Значит, никаких телефонных линий близ места ограбления быть не могло. В общем, я решил обдумать это позже и продолжил наблюдать за зданием.

После того как вагон загнали внутрь, некоторое время было тихо. До отправления поезда оставалось около двух часов. Наконец, моё ожидание было вознаграждено должным образом. Из-за поворота показались три машины: два чёрных

модифицированных «Бьюика 17», а между ними — фургон на базе «Форда». На «Форде» я разглядел эмблему банка. Итак, я попал в яблочко.

Автомобили остановились. Изнутри за ними наблюдали, потому что тяжёлая сдвижная дверь тут же отъехала в сторону. Из полицейских «Бьюиков» вышли несколько человек с ружьями, а из фургона два инкассатора стали перетаскивать полотняные мешки. Я насчитал шестнадцать. Даже если в них долларовые купюры, всё равно хватит на десяток новых лесопилок, подумал я. Правда, я не мог себе гарантировать, что перевозимая сумма будет столь же значительна в день осуществления моего плана. Но рискнуть имело смысл.

В принципе, я уже сделал всё, что нужно. Я знал вагон, знал, на каком поезде везут деньги из Буффало в Питтсбург. Оставалось собрать команду и продумать сам план нападения.

Именно тогда мне пришла в голову безумная идея. Я подумал, что поезд можно ограбить… в одиночку. Все предыдущие свои размышления насчёт сообщника-телефониста и прочие подобные я отмёл. Можно сделать всё, что угодно, сказал себе я. Дайте мне точку опоры — и я переверну мир. Я возьму этот чёртов поезд в одиночку.

Мне сложно теперь, спустя столько лет, объяснить тот порыв. Я был уже не мальчиком, и до того дня все мои действия были размеренны и продуманны. И вдруг мне захотелось совершить нечто безумное. Впрочем, даже безумие в моём исполнении требовало тщательного анализа. И я начал разрабатывать план.

Я остался в Буффало, чтобы проследить за поездом, который прибывал из Питтсбурга. Как я и предполагал, «железка» прибывала пустой, её просто перегоняли для новой «ходки». Итак, два раза в неделю из Буффало в Питтсбург перевозили крупную сумму денег. Первый раз поезд шёл во вторник, второй — в пятницу. Я дождался и пятничного поезда — мешков было четырнадцать, чуть меньше, чем в первый раз. Но тоже вполне достаточно.

Грабить я решил вторничный. Почему? Честно говоря, из субъективно-суеверных соображений. Вторник — день рядовой, обыденный. А в пятницу мало ли что может случиться. Пятница обычно считается днём неудачным, вот и не стоит ничего важного на неё планировать.

Естественно, с учётом изменения моих планов идея остановки поезда и ограбления его по методу Джесси Джеймса тоже осталась в прошлом.

Здесь позвольте мне немного отвлечься и рассказать, как грабил поезда Джесси. В те времена банда Джеймса-Янгера

насчитывала порядка двадцати — двадцати пяти человек. Они наваливали на пути тяжёлые брёвна незадолго до появления поезда, обычно вечером. Грабили в первую очередь ночные поезда. На пирамиде из брёвен стоял человек, чаще всего — сам Джесси. Да, он любил покрасоваться, не отнимешь. Когда поезд останавливался, бандиты выныривали из кустов. Часть поднималась в первый пассажирский вагон и проходила через весь поезд, собирая кошельки и ценные вещи. Часть сторожила сзади, чтобы никто из пассажиров не попытался смыться (впрочем, смельчаков было немного). Дополнительные вагоны, типа инкассаторских, цеплялись обычно последними или предпоследними — их подводили к уже готовому к отправлению поезду. Сам Джесси не тратил своё время на пассажиров — он сразу отправлялся к инкассаторскому вагону, цели всего ограбления. Двери — или наружные, или межвагонные — вышибали с помощью нитроглицериновых растворов. Чуть позже широкое распространение получил динамит Нобеля — смесь нитроглицерина с кизельгуром. Его основной плюс был в удобстве и безопасности хранения и транспортировки. Иногда банковские служащие открывали дверь сами, чтобы не пострадать при штурме. В любом случае служащий чаще всего нужен был Джесси живым: вагонные сейфы обычно открывались не ключом, а комбинацией, которую служащий помнил наизусть (его обязанностью было открыть сейф в точке назначения). Гораздо позже додумались отправлять служащего, к примеру, следующим поездом, под видом обычного пассажира. Впрочем, бандиты и без кодов умели вскрывать сейфы.

Вопреки молве, жертв при подобных ограблениях было немного. Например, смелые глупцы, пытавшиеся спасти свой кошелёк или побравировать перед дамой путём извлечения карманного пистолетика. Или слишком упорные банковские клерки. Или случайно оказавшиеся в поезде военные или полисмены. За всю историю банды Джесси было убито едва ли двадцать человек — за полтора десятилетия. Вы можете сказать: много. Но Бонни и Клайд, чья история началась гораздо позже, положили вдвоём двенадцать человек за четыре года. С другой стороны, знаменитый Диллинджер и вовсе убил от силы трёх-четырёх полицейских в процессе перестрелок. В любом случае Джесси был необыкновенно успешным бандитом. В его пользу работало несовершенство методов расследования.

В 1912 году методы Джеймса не прошли бы. Во-первых, более тяжёлые и мощные паровозы способны были разметать — пусть и не без повреждений — порядочный завал из брёвен. Во-вторых, инкассаторские вагоны стали цельнометаллическими, и дверь

динамитом так просто не прошибалась (это я могу сказать, поскольку побывал в таком вагоне и видел дверь изнутри — но не буду забегать вперёд). В-третьих, инкассаторы уже не были безответными банкирами. Это были профессиональные полицейские, вооружённые винчестерами образца 1887 года, обученные держать осаду в вагоне и прицельно стрелять даже в густой дымовухе.

Собственно, всё это и навело меня на мысль о том, что вагон нужно брать каким-либо нестандартным способом. Не в наглую, не в лоб.

На очередном вторничном поезде я проделал весь путь из Буффало в Питтсбург. Ехал в вагоне, непосредственно примыкающем к инкассаторскому. Всего в составе было восемь вагонов: шесть пассажирских, «железка» и почтовый за ней. Я заметил, что последней «железку» никогда не цепляли. Видимо, опасались нападения сзади.

В инкассаторский вагон можно было войти только через боковую дверь: проходов из других вагонов не существовало. В очередной поездке (на пятничном) я выбрался на крышу поезда и осмотрел «железку» сверху. Непосредственно на неё я не перебирался, чтобы не возбудить подозрение охранников своим топотом. В любом случае крыша инкассаторского вагона была почти гладкой: не за что уцепиться, негде укрыться. Я понял, что это сделано намеренно, чтобы потенциальный грабитель не мог каким-либо образом воспользоваться «верхним путём». Впрочем, если нет люков — как им можно воспользоваться?..

Итак, дано: глухой вагон. Вход — один, сбоку. Стальная дверь. Закрыта изнутри. Там — охрана (к сожалению, сколько человек сопровождало груз, я не знал).

Был ещё один вопрос: могли ли люди изнутри связаться с окружающим миром посредством радиосвязи? Изобретение это было новое, до повсеместного распространения было ещё далеко, но в отдельных областях радиосвязью уже пользовались. Банки и полиция стали одними из первых структур, взявших на вооружение разработку Маркони. В общем, тут тоже оставалось много вопросов.

Вы скажете: твой рассказ выглядит глупо. Как это так — разумный человек с некоторым жизненным опытом решается на авантюру, причём совершенно в подобных делах опыта не имея!.. Я отвечу: именно так и происходит. Бывают люди, которые в пятьдесят лет начинают вдруг писать стихи или рисовать картины, хотя до того не испытывали к этому занятию никакого влечения. А я вдруг осознал необходимость стать криминальным элементом. Хотя нет: я хотел совершить идеальное преступление.

Ещё один вопрос меня волновал. Замести следы можно было только одним образом: избавившись от всех свидетелей. Я уже тогда подумал, что вагон придётся отцеплять. Значит, свидетелями оказывались все пассажиры «железки» и следовавшего за ней почтового вагона. Убивать их было страшно. Одно дело — ограбление, другое — ограбление с отягчающими обстоятельствами в виде нескольких трупов. Да я и не был уверен в своей способности лишить человека жизни.

В любом случае нужно было обзавестись оружием. Ещё в бытность свою владельцем лесопилок я познакомился с несколькими чуждыми закону элементами в Питтсбурге. Поэтому я достаточно быстро и без всяких проволочек достал нигде не зарегистрированный винчестер 1887 года и новенький кольт М1911 сорок пятого калибра. Всё это я совершенно спокойно хранил у себя в комнате, в шкафу, не опасаясь, что кто-либо найдёт мой оружейный склад.

И ещё мне нужна была взрывчатка. Проще всего было достать ТНТ, то есть тринитротолуол в форме шашек. Собственно, некоторым его количеством я и обзавёлся через тот же канал, что и в случае с оружием.

А план у меня постепенно созрел следующий. В один из своих визитов в Буффало я внимательно рассмотрел вагонную сцепку между «железкой» и предваряющим её пассажирским вагоном. Обычная автосцепка системы Джаннея типа С, ничего особенного. Но отцепить сначала последний, почтовый вагон всё равно не представлялось возможным: пробежать по округлой и скользкой крыше «железки» я бы не решился. Тем более, таким образом я бы насторожил охранников. Нужно было отцеплять два вагона сразу.

Для расцепления сцепки Джаннея нужно было с силой нажать на рычаг, расположенный на торце вагона. Чтобы сделать это во время движения поезда, требовались недюжинная сила и ловкость. В принципе, я мог похвастаться и тем, и другим. Но я приступил к репетициям в тот же день, когда пришёл к выводу о необходимости расцепления вагонов. Тренировался я на станции Джонсонбурга, на стоящих вагонах. Забирался между ними и, балансируя на сцепке, умудрялся разблокировать замок. После двух дней тренировок это стало получаться. Но нужна была репетиция на движущемся поезде.

Через пару дней я выбрал один из поездов, курсирующих по маршруту Питтсбург — Джонсонбург, и умудрился отцепить от него последний вагон прямо на ходу, оставшись стоять на его подножке, а по замедлении успешно спрыгнул с поезда. Аварии я не вызвал, меня не поймали, хотя до конца дня расписание поездов заметно сдвинулось. Никаких последствий моя

тренировка за собой не повлекла.

Да, рассказывая о сцепке, я серьёзно удалился от первоначальной мысли пересказать вам свой план. Итак, я планировал спуститься во время движения поезда в пространство между пассажирским и инкассаторским вагоном — и расцепить их. Скорость поезда в том месте, где я хотел произвести расцеп, составляла по моим прикидкам порядка тридцати миль в час. Никаких зеркал заднего вида у машиниста не было, и отсутствие двух последних вагонов он заметил бы только на повороте — примерно через пять миль. Но уже через милю после расцепа дорога постепенно забирала вверх. Поезд спокойно проходил небольшой уклон, а вот отцепленный вагон остановился бы и покатился назад.

Итак, после расцепа я планировал спрыгнуть с вагона. Кстати, спрыгивать нужно не лицом, а спиной — в таком случае нет опасности сломать ноги. Человек может при необходимости бежать, не спотыкаясь, со скоростью до пятидесяти миль в час — в течение недолгого времени, конечно же. Поэтому нужно встать спиной, потом спрыгнуть, держась за поручень, а потом некоторое время бежать рядом с вагоном.

Оказавшись на земле, я подбегал к подрубленной заранее сосне, валил её на пути и укреплял с другой стороны. У меня на это было около пяти минут — пока вагон добирался своим ходом до горки, тормозил и катился обратно. «Споткнувшись» об укрепленный ствол дерева, вагон затормозил бы почти мгновенно. Дальше было самое сложное. Времени было немного, совсем немного. Справиться нужно максимум за полчаса, не более. Я не знал, что сделает машинист, но задний ход он точно бы давать не стал. Гораздо больше я боялся возможности радиосвязи с вагоном. В любом случае первым делом я вламывался в почтовый вагон, оценивал обстановку и…

Вот тут мой план начал рассыпаться. Профессиональный грабитель, вроде того же Джесси, не постеснялся бы просто расстрелять всех почтовых служащих для экономии времени. Связывать их было бы той ещё морокой. Но у меня оставалась совесть, поэтому я нашёл компромиссное решение: наручники. Наручников я достал аж двадцать пар — всё из того же источника, что и оружие.

Кстати, не думайте, что я обращался к своему поставщику несколько раз по мелким поручениям. Всю закупку я сделал в один приём — просто рассказываю об этом последовательно. То есть две пушки, тротил и наручники, да. И ещё три гранаты.

Приковать пленников я планировал где-нибудь внутри вагона. Если не получится внутри — тогда снаружи. Зачем

столько пар наручников? Для рук и для ног на десять человек. Запас карман не тянет. Ещё я заготовил кляпы и подранные на полосы простыни, чтобы обвязывать голову жертвы, удерживая кляп во рту.

Я не думал, что встречу серьёзное сопротивление со стороны работников почты, и планировал справиться с ними от силы за пять минут.

Затем следовала более сложная часть плана. Идеальным раскладом был бы такой, при котором инкассаторы выходили из вагона проверить, в чём дело. Но я справедливо полагал, что они проверят это, ещё когда вагон будет останавливаться: я уже буду далеко, занят укреплением сосны. Если же кто-то додумается высунуть нос, когда я буду рядом, он получит пулю. Тут я уж в средствах не стеснялся.

Существовал и другой расклад. Вагон неспроста был стальным и изолированным. Он явно мог послужить крепостью. Ровно треть запаса тротила я решил прикрепить к двери со стороны замка — и взорвать. Люди внутри должны были при взрыве получить как минимум серьёзный шок, а то и контузию. Это было мне на руку. Опасность состояла в том, что дверь могла не только удержаться, но и заклиниться насмерть. Тогда её ждал второй заряд — уж в его бронебойных способностях я не сомневался.

В любом случае в образовавшийся проём я намеревался бросить гранату. Тогда гранаты современного типа только-только появились, их бурное применение пришлось на Первую мировую войну, до которой оставалось ещё два года. Мне достались британские гранаты № 2 конструкции Мартина Хэйлса, взрывчатое вещество — тонит. Надёжность их была не на высоте, зато в закрытом помещении от осколков никто бы не скрылся.

И ещё я полагал, что внутри будет сейф. Последняя треть тринитротолуола предназначалась именно для него. В общем, брать поезд я решил нахрапом, в лоб.

Сейчас смотрю на себя прежнего и думаю: какой же я был наивный дурак. И как всё гладко прошло при моём идиотизме.

Место для нападения я, как не трудно догадаться, уже выбрал. Важнейшим моментом было даже не то, что там начинался уклон, на котором должен был остановиться инкассаторский вагон. Наиболее удобным было то, что в этом месте пути расходились, то есть двухколейка становилась одноколейкой. Путь, ведущий из Питтсбурга в Буффало, находился примерно в миле от пути, на котором я планировал совершить ограбление. День я тоже выбрал. Это был вторник, 27 августа 1912 года.

В воскресенье я отправился подпиливать сосну. Я выбрал одно из наиболее удобных деревьев, лежащих неподалёку от полотна, подпилил его и подпёр на всякий случай клином, чтобы дерево не упало раньше срока. Я прикинул длину сосны, наметил дерево по другую сторону одноколейки, закрепил на нём витую проволоку и подготовил петлю для крепления ствола сосны напротив. Главное было — не ошибиться с направлением падения более чем на пару футов.

Боже мой, думаю я сегодня, сколько же всего я не предусмотрел! А если бы из вагона выскочило двадцать человек с винчестерами? Ничего бы меня не спасло…

Ну да ладно, чёрт с ним. Что было, то прошло. Причём прошло практически без сучка, без задоринки. Оружие, взрывчатку, наручники я спрятал там же, около дерева — не тащить же их с собой!.. И ещё я припрятал в лесу ведро с водой и несколько тряпок. Я понимал, что придётся, скорее всего, заходить в вагон, продымленный насквозь несколькими последовательными взрывами, а каждый раз задерживать дыхание и забегать на полминуты не хотелось. Наконец, последним полезным предметом, заготовленным мной, стал фонарь.

Итак, в понедельник я сел на поезд и отправился в Буффало, чтобы там провести ночь и пересесть на поезд с «железкой». На всякий случай я следил за зданием, где грузили деньги. Всё повторилось, как и в прошлые мои визиты: три машины, семнадцать мешков с эмблемой банка. Чёрт побери, подумал я, больше, чем было. Прекрасно.

Я спокойно направился на перрон. Билет у меня был в последний вагон. Выбираться на ходу на крышу было несложно: двери вагонов изнутри не запирались. Можно было сделать вид, что переходишь в другой вагон, а на самом деле просто подтянуться и забраться на крышу по лестнице между вагонами.

Когда состав тронулся, я нисколько не волновался. Сердце не стучало, хладнокровие было даже в какой-то мере подозрительным. На мне были перчатки, поэтому я спокойно держался за поручень, не опасаясь оставить отпечатки. Я сидел на своём месте и смотрел на людей, которых никак не коснётся предстоящая трагедия. Да, я уже начал осознавать возможные масштабы своего преступления. Пусть я и пощажу работников почты, но инкассаторов придётся убить. Не совсем своими руками, не из пистолета или карабина. Я даже не увижу их лиц, забрасывая гранату в вагон, думал я. Но… неважно.

Только тогда мне пришло в голову, что можно было всё-таки воспользоваться методом Джесси Джеймса: если кто-либо

останется в живых, допросить его и выяснить код от сейфа. Если, конечно, сейф имеет код, а не открывается ключом. В последнем случае ключа точно нет в вагоне: он есть в конечном пункте. И придётся взрывать.

Важным моментом было расцепление вагонов строго в правильной точке. Поэтому я заранее покинул вагон и устроился в межвагонном пространстве. Одет я был в чёрный рабочий комбинезон, удобный и не боящийся загрязнений.

Чтобы не пропустить идеальное место расцепления, я пометил его, раскрасив несколько стволов деревьев в белый цвет. Ну и что, если покрашенные стволы увидят все пассажиры? Подумают: лесники зачем-то постарались. Более того, на некотором расстоянии от первой группы крашеных стволов я разрисовал вторую, отметив таким образом две точки: где дёрнуть рычаг разблокировки замка и где окончательно расцепить вагоны.

Когда по ходу поезда замаячили мои метки, я сделал всё точно так, как и планировал. Сначала надавил на рычаг, затем — расцепил вагоны, после чего оттолкнул ногой «железку». Я понимал, что моё мизерное усилие ни на что не повлияло, вагоны и без того начали расходиться, но психологически было проще оттолкнуть. Итак, первый пункт выполнен. Теперь нужно спрыгивать с вагона. Как и планировал, я встал спиной к лесу, спрыгнул вниз, держась за поручень, и некоторое время бежал рядом с вагоном. Отпустив поручень, я медленно стал снижать скорость. Всё прошло на удивление успешно. Я не споткнулся, не упал, не повредил себе ничего.

Затем я побежал назад — к моему подпиленному дереву. Несколькими ударами я выбил клин, и сосна начала клониться. Упала она ровно туда, куда я и предполагал. Я перебежал через одноколейку и стал судорожно укреплять витую проволоку на сосне. Когда я закончил, в поле зрения уже появились едущие обратно вагоны.

У меня дрожало сердце. Нет, не потому что я волновался. Скорее потому, что я не верил в то, что дело идёт как по маслу. Всё и в самом деле было настолько гладко, настолько правильно, что мне казалось: вот-вот грянет гром, из леса выскочат вооружённые полицейские, и мир покатится в тартарары. И ещё я очень боялся того, что моя идея окажется ошибочной, что вагон прорвёт импровизированное заграждение и укатится слишком далеко.

Но и тут судьба была ко мне благосклонна. Вагон двигался очень медленно и в дерево просто уткнулся, прокатившись ещё от силы футов семь-восемь. Тяжёлый ствол удержал его. Кстати,

только тогда я заметил ещё один свой прокол. С одной стороны я ствол закрепил, а вот там, где, собственно, сосна была перерублена, ничего не мешало ей двигаться… Ну ладно, подумал я, повезло в который уж раз.

Наступил самый страшный момент. Я подхватил винчестер и рюкзак с гранатами и ТНТ, после чего стал медленно обходить вагоны со стороны почтового. Но, как ни странно, пассажиры обоих хранили полное молчание. Следуя своему плану, я решил начать с незащищённого вагона.

Рывком я открыл дверь, направляя винчестер внутрь. Но в вагоне никого не было. Только разложенные по специальным полкам помеченные мешки с почтой. О, чёрт, подумал я, мне слишком, слишком везёт! На всякий случай я забрался в вагон и осмотрел его. Нет, тут не было людей, только письма и посылки. Я выпрыгнул и сделал пару шагов по направлению к «железке».

Но тут я заметил бойницу. Узкое длинное окно справа от двери. Она была расположена наискось — таким образом, чтобы стрелок мог легко застрелить подходящего ко входу в вагон. Некоторое время я не мог понять, почему не заметил её раньше, когда осматривал «железку» в Буффало. Но потом понял: в нерабочем положении щель закрывалась снаружи чем-то вроде стального кожуха, который убирался при отправлении состава. Вы чувствуете? Ошибка за ошибкой! Бездарно подготовленное преступление, не проваливающееся только по причине безумного везения.

Но у бойницы был и плюс. Её ширина вполне позволяла бросить внутрь гранату.

Я подкрался, достал из вещмешка первую № 2. Тут я несколько отвлекусь, чтобы пояснить конструкцию хэйлсовской гранаты. Первая осколочная граната, так называемая «бомба Миллса», появилась лишь в 1915 году. Внешне она уже напоминала современные гранаты и действовала по тому же принципу. Конструкция же Хэйлса была промежуточным звеном между фитильными гранатами девятнадцатого века и новыми осколочными. Детонатор к ней поставлялся отдельно. Перед броском нужно было вставить детонатор в гранату, затем вынуть из него чеку (сделанную в виде булавки, за которую не так и просто уцепиться) и лишь потом бросать. Самым опасным был момент вставки детонатора: граната могла легко сработать и превратить в кровавую кашу самого бросающего. Плюсом её использования в 1912 году было то, что граната являлась редким и непривычным оружием. «Вторые номера» ввозили в США из Мексики, куда они поставлялись из Великобритании по правительственному контракту. В Мексике в эти дни как раз

бушевала революция, и войска нуждались в разнообразных средствах индивидуального и массового поражения. Могли ли инкассаторы предположить, что подобная штука есть у грабителя? Полагаю, нет.

В общем, я подкрался под самую бойницу, взял первую гранату, укрепил детонатор, вынул чеку и тут же затолкал гранату внутрь. Взорвалась она секунды через две — стоило чуть промедлить, и меня бы разнесло в клочки. Вагон хорошо тряхнуло, через бойницу над моей головой пошёл дым. Зато я почувствовал себя в безопасности.

Следующим пунктом была установка тротила. Работал я совершенно спокойно: укрепил шашки, подвёл детонатор, размотал провода и устроился футах в ста за толстым стволом дерева. Взрыв был оглушительный.

Когда рассеялся дым, я увидел, что второго заряда не потребуется. Скособоченная дверь одним углом лежала на земле, открывая треугольный проход внутрь вагона. Правда, видно не было ни черта, потому что дым от гранаты только-только начал выветриваться. Но я, уже ничего не опасаясь, пошёл к вагону, прихватив фонарь, ведро с водой и оружие.

Не забывайте, что тогда не было современных угольных противогазов. Какие-то отдельные конструкции со шлангами можно было найти, но с трудом, и защита их оставляла желать лучшего. Тут-то и пригодилась вода. Смочив тряпку и приложив её к лицу, я забрался внутрь, держа наготове пистолет (винчестер в ограниченном пространстве только мешал). Видно было плохо, дым разъедал глаза, хотя немалая его часть уже выветрилась.

Но то, что я видел, не позволяло мне поверить своим глазам. В вагоне не было ничего. То есть были повреждённые разрывом гранаты стены — и всё. Ни трупов, ни мебели, ни сейфа. И, конечно, никаких семнадцати мешков с деньгами.

Я подумал, что дым застилает часть помещения, в котором находится сейф. Зажёг фонарь и начал медленно обходить помещение по периметру. Но я даже ни обо что не спотыкался! В вагоне действительно ничего не было. «Железка» оказалась железкой в прямом смысле этого слова.

Когда я вышел на воздух, у меня слезились глаза, драло горло, тёк нос, а голова была совершенно пуста. Я не мог понять, что произошло. Я же видел, как инкассаторский вагон загоняли в депо для загрузки денег, как подъезжала машина… Неужели в этот раз что-то прошло не так? Неужели меня кто-то опередил ещё на вокзале? Тщательно подготовленный план, на который ушло столько времени и денег, полетел в тартарары.

Я сел рядом с вагоном на насыпь и стал тереть глаза. Просто

тупо тереть глаза, не зная, что делать дальше. Собственно, следовало взять всё своё барахло и драпать домой. Но у меня не было на это сил — скорее духовных, нежели физических. Мне было всё равно: пусть возьмут, пусть арестуют, пусть посадят. Успешно проведенная операция, называется. Идеальное преступление, блестящее ограбление пустого вагона.

Мне нужно было на чём-то выместить свою злобу. Я встал, забрался в почтовый вагон и начал вытряхивать на пол мешки с письмами. Один, второй, третий — а потом стал поджигать их. Когда я выпрыгнул наружу, внутри уже полыхало. Пусть никто не получит своих писем, сволочи. Пусть горит всё огнём, думал я. Ненависть бурлила во мне. Ей-богу, появись вдруг отряд полицейских, я бы без всяких раздумий вступил с ними в перестрелку и дорого продал бы свою никчемную жизнь.

Минут через десять я всё-таки сумел взять себя в руки. Ведро я оставил в наследство полицейским заодно с удерживающим дерево проволочным канатом. Оставшиеся шашки, гранаты, оружие, наручники — забрал с собой. С тяжёлым сердцем я брёл через лес, и самое странное, что никакого страха не было. Душа не уходила в пятки при мысли, что сейчас на меня сзади набросится отряд полиции. Я просто шёл, как мог идти, например, на озеро купаться или за продуктами в лавку.

Никто не заметил, как я пришёл домой. Я поднялся в свою комнату, аккуратно уложил боеприпасы в шкаф и плюхнулся на кровать. Я не знал, что делать. Сил на новое ограбление у меня явно не было, а подавленное состояние не позволяло делать ничего общественно полезного. Я чувствовал, что впадаю в депрессию, которая будет властвовать надо мной ещё долго.

Что спасло меня от депрессии? Вы не поверите: суд.

Да, меня взяли на следующий день. Я никуда не бежал, не пытался спрятать амуницию, не заметал следы. Машинист поезда обнаружил исчезновение двух последних вагонов на первом же повороте (или ему сообщили пассажиры — не знаю), и на следующей после Джонсонбурга станции, в Риджвее, он оповестил полицию. Полиция была на месте примерно через десять минут после того, как я бежал. По моим следам пустили собаку-ищейку, и дело было в шляпе.

Нетрудно догадаться, что в моём положении были и хорошие стороны. Во-первых, я никого не убил. Более того, не украл ничего ценного. Если бы я не сжёг почтовый вагон, всё бы вообще обошлось легко. Но намерение моё было понятным: ограбить инкассаторов. Поэтому на меня постарались навесить всех возможных собак. То есть незаконное приобретение и хранение оружия (ТНТ и гранат в частности, как запрещённых к свободной

продаже), уничтожение государственной (двух вагонов) и частной (письма, посылки) собственности, помехи движению транспорта и даже уничтожение деревьев, принадлежащих заповеднику национального значения.

Но самым неприятным было то, что на суде я узнал причину своей неудачи. «Железка» всегда была лишь отвлекающим манёвром. Как на самом деле перевозили деньги, никто не знал. Может быть, в подполе обычного пассажирского вагона. Может быть, на автомобиле. Может быть, в кабине у машиниста. Расчёт был именно на то, что грабить будут характерный инкассаторский вагон — он служил приманкой. Более того, как оказалось, это уже шестой случай ошибочного ограбления за последние пять лет (имеется в виду — в районе восточного побережья, а не только в нашем штате). Я попался на крючок.

Тем не менее полицейские были поражены моей выходкой. Доказать, что я действовал один, было крайне трудно. Технически в одиночку можно ограбить всё, что угодно. Но решиться на подобное — непросто.

Как ни странно, вкатали мне достаточно небольшой срок — при том количестве пунктов, по которым меня обвиняли. Три года. Я ожидал большего. А сразу после суда ко мне подошли представители банка и сказали, что я могу вообще избежать заключения, если помогу им с разработкой системы безопасности. Я не сразу осознал серьёзность их предложения. Мне казалось, что система безопасности у них на высоте: у меня ведь не получилось ограбить вагон. Но мне объяснили, что «железки» далеко не на всех маршрутах используются в качестве приманок. Это и в самом деле настоящий вагон-сейф; например, большие объёмы золота в подполе не перевезёшь.

В первый же день (обвинения ещё не были сняты) я рассказал им про недостатки использования сцепки Джаннея. Как можно прицеплять инкассаторский вагон при помощи стандартного устройства? Как оказалось, над этим вопросом думали уже достаточно давно, но модификация сцепки Джаннея требовала определённого согласования и не была столь проста. Дело в том, что для обеспечения пожарной безопасности сцепка должна была легко разъединяться; при этом требовалось исключить саморасцеп. В общем, техническая сторона требовала тщательной разработки.

Другим моментом, до которого почему-то не додумались создатели «железки», была возможность протолкнуть гранату в бойницу. Правда, «железка» разрабатывалась ещё в 1898 году, когда гранаты были круглыми, а до изобретения Хейлса № 1 оставалось несколько лет.

В общем, меня приняли по соглашению с судебными органами. Я не имел права покидать штат кроме как под спецнадзором в рабочие командировки, да и работал практически бесплатно. Но всё-таки это была не тюрьма.

Вот и вся моя история, право. В 1914 году я встречался с Фрэнком Джеймсом, братом Джесси. Фрэнку был семьдесят один год, и он зарабатывал на жизнь тем, что водил экскурсии по собственной ферме и окрестностям — всё-таки здесь жил сам Джесси, учился стрелять, планировал ограбления. Фрэнк тоже консультировал полицию в сфере безопасности, мы встречались, чтобы обсудить определённые профессиональные вопросы.

Фрэнк пожал мне руку и сказал: «Я верю, что наша эра ещё не завершилась. Пока есть подобные тебе, Джесси не забудут».

Конечно, его не забыли. Конечно, эра не закончилась. Поезда грабили, грабят и будут грабить всегда, мне кажется. Только благородство из этой сферы испарилось. Хитроумная техника заменила собой человеческую смекалку и храбрость. Ушли времена Джеймса, Янгера, Кэссиди, братьев Дальтон, Джека Кеннеди, но им на смену пришли другие.

За три года до того, как я ограбил пустой вагон, родились Клайд Бэрроу и Крошка Нельсон, а годом позже — Бонни Паркер. В то время только начинал карьеру Герман Лэмм по кличке Барон. Ещё мальчишкой был Диллинджер — и так далее.

Конечно, со своим единственным жалким неудавшимся ограблением я не мог сравняться с ними. Но я стал на удивление неплохим аналитиком и профессионально отслеживал все лазейки, через которые могли просочиться грабители. Когда мне нужно было решить какую-либо проблему, я просто ставил себя на место бандита и представлял, как он будет действовать. Со временем моя практика росла, и, если честно, мне было обидно за собственную загубленную карьеру преступника. У меня был — и есть — талант к ограблениям. Поезда, банки, магазины — я придумывал сотни планов, а потом строил системы безопасности, их разрушавшие.

Да, мне уже семьдесят два. Пора на пенсию, но компания не отпускает. Всё-таки я её ведущий специалист, и мою годовую зарплату страшно озвучивать: она не уступает доходам вице-президента.

Но я знаю, что я сделаю, когда уйду на пенсию. Я не буду отсиживаться дома в окружении детей (их у меня трое) и внуков (пока что тоже трое). Скорее всего, я придумаю очередной план по ограблению века — и реализую его. Мне же нужно доказать, что я могу стать гениальным преступником. Не хуже Джесси Джеймса.

Господин Одиночество

Когда Фрэнк Элоун появился в городе, мне было пятнадцать. Правда, я врал, что восемнадцать — росту во мне было под шесть с половиной футов, и я мог позволить себе немного преувеличивать. Ну да ладно, дело не в этом.

Фрэнк приехал на попутке. Водитель высадил его напротив почтового отделения, и первым делом Фрэнк отправил письмо. Важно ли это для моего повествования? Да, потому что без этого письма не было бы и рассказа. Помимо того, мне кажется, что любая, самая маленькая деталь может рассказать о Фрэнке что-то новое. Я так и не смог постичь глубину его удивительных способностей, но, возможно, это получится у вас.

Когда он вышел из здания почты на улицу, к нему тут же подлетела стайка мальчишек. Среди них был Карти, сын нашего соседа, и потому я знаю всё о первых минутах Фрэнка в городе. Мальчишки традиционно начали то ли задирать новоприбывшего, то ли выпрашивать монетку — тут и не поймёшь толком. Я и сам лет шесть-семь назад занимался тем же. Подбегаешь к незнакомцу и начинаешь вопить, предлагать ему какое-то барахло из карманов, пытаешься вытащить у него носовой платок из пиджака. Это напоминает котов и собак, пометивших территорию. Зашёл на чужую землю? Будь добр терпеть её законы.

Фрэнк не стал доставать кошелёк и откупаться от приставучих пацанов. Он сразу же отвесил пару мощных затрещин одному, второму, а остальные уже и разбежались. У Джерри Брауна потом ухо ныло так, что вызывали врача. Не знаю, что сказал наш эскулап: всё это тоже понаслышке.

В маленьком городке всё узнаёшь понаслышке. Везде твои знакомые — мясник, продавец в табачной лавке, старуха на крыльце прачечной. Каждый что-то запоминает, а ты бегаешь, расспрашиваешь, и в итоге головоломка сходится.

После посещения почты Фрэнк отправился в гостиницу. Она у нас одна, зато называется гордо: «Отель Делюкс Бреннон». В «отеле» всего-то шесть номеров на втором этаже; на первом жил сам Бреннон с двумя дочками. Жена его померла, когда младшей, Вирджи, было лет пять. На жизнь доходов от гостиницы вполне хватало, тем более у Бреннона ещё и магазин. Я не помню случая, чтобы в «Отеле Делюкс» все номера были свободны. Правда, такого, чтобы все шесть заняты, я тоже не помню. Но в целом дела шли не так плохо, как могли бы идти в маленьком городке.

Дело в том, что городок-то маленький, а вот трасса мимо проходит оживлённая, восемьдесят седьмая федеральная, и от Мидуэста до Кейси нет, кроме нашего города, ни одного населённого пункта. Вот и съезжают к нам — перекусить, прикупить чего в дорогу, а порой и ночь провести.

И ей-богу, каждый, кто останавливался в те годы в «Отеле Делюкс», мечтал провести эту ночь со старшей дочкой Бреннона, Кэтрин. Потому что она была сказочно красива. Я не берусь описать её — тут нужно иметь хорошо подвешенный язык. Она шла по улице, а время вокруг точно замирало. Каждый мужчина оборачивался ей вслед, каждая женщина завидовала. У неё были длинные светлые волосы, вздёрнутый носик, огромные глаза. Это всё так банально звучит, что я не хочу продолжать. В общем, она была совершенством, поверьте на слово.

Конечно, я был в неё влюблён — покажите мне того, кто не был. Ей было шестнадцать.

Я забыл упомянуть, что шёл 1978 год. Да, сейчас мне уже за сорок, я женат, растолстел (хотя мой немалый рост несколько сглаживает полноту), и я по-прежнему живу в этом самом городе. Но тогда мне было пятнадцать, я был романтиком и мечтателем, как все подростки. Я мечтал спасти Кэти от бандитов. Например, на неё набрасывается какой-либо нехороший постоялец, а я случайно прохожу мимо и — р-раз! — бью его прямо в челюсть. И всё: он лежит без сознания, Кэти целует меня, своего спасителя. Чёрт, мне и сегодня грустно об этом вспоминать.

Да, вот ещё что: у Кэтрин была сестра, Вирджиния. В тот год ей исполнилось тринадцать, и она напоминала гадкого утёнка. В ней были черты Кэтрин, но эти черты никак не хотели складываться в единую систему. Рот казался слишком большим, глаза — слишком широко расставленными, уши — чрезмерно оттопыренными. С Вирджинией я не водился, по-мальчишески презирая её как младшую, да ещё и девчонку. Конечно, я не рассматривал её в качестве женщины.

Но вернусь к Фрэнку Элоуну. Он занял третий номер: поднимаешься по лестнице и направо до конца коридора, там дверь слева. Это двухкомнатный номер с ванной и душевой кабиной. Вообще, у Бреннона все номера разные, первый — самый лучший, шестой — худший.

Зачем Элоун приехал в город, никто не знал. Если бы он передвигался на собственной машине, можно было бы предположить, что он просто съехал с дороги — отдохнуть. Но он приехал на попутке по Дагаут Роад (наш город расположен примерно в полутора милях от шоссе). Правда, он вполне мог попросить кого-то подбросить его до дороги или до ближайшего

города, находящегося непосредственно на трассе. В принципе, как минимум раз в неделю кто-то ездил и в Буффало за крупными покупками; Буффало — это наш окружной центр, там находится аэропорт.

Но Элоун не собирался никуда уезжать. Он заплатил Бреннону за неделю вперёд. Сначала я решил, что у него в городе какое-то дело, но потом изменил своё мнение. Он от кого-то скрывается, предположил я.

О да, с появлением Элоуна мои мечты относительно Кэтрин несколько поменяли направление. Теперь я планировал тайно раскрыть негодяя, который ограбил банк (казино, магазин, бензоколонку — нужное подчеркнуть), — и предстать перед Кэт могучим служителем закона и борцом за справедливость. Параллельно с борьбой за справедливость я был не против запустить лапу в мошну Элоуна и немного разжиться за его счёт. Всё равно деньги краденые, думал я.

Всё это, конечно, было не более чем фантазиями. Но кое-какие странности в поведении Фрэнка имелись.

Во-первых, он со всеми был знаком. Выйдя из отеля на второй день, он прошёл по главной улице городка и при этом поздоровался со старухой Джил, с Джейкобом Марри, с молочником Эбрехемом и так далее. Он здоровался с каждым, всем улыбался, всех приветствовал. Я в тот день выбрался на балкон второго этажа и читал книгу, забросив ноги на парапет. Фрэнк не мог опознать человека по подошвам домашних туфель. Тем не менее от книги меня отвлёк его оклик.

«Как там капитан Блад?» — спросил он.

Книга в моих руках была «Хрониками капитана Блада».

«Так себе», — ответил я и посмотрел вниз.

Надо отметить, что «Хроники», написанные Сабатини на волне успеха «Одиссеи», и в самом деле имеют сомнительную художественную ценность. Впрочем, я не знаю ни одного современного шестнадцатилетнего мальчишки, который открывал бы эту книгу. Сегодня дети не знают даже имени Шекспира, что уж говорить о Сабатини.

Но речь не об этом. Речь о том, что я ответил механически и вниз посмотрел тоже на автомате. А внизу был Фрэнк Элоун. Это был первый раз, когда я его увидел.

«А откуда вы знаете, что я читаю?» — спросил я.

«Дедуктивный метод!» — улыбнулся Фрэнк и пошёл дальше.

Я проводил его взглядом. С этого момента я заинтересовался Элоуном по-настоящему. Я провёл небольшое расследование, расспросил мальчишек и стариков и выяснил всё то, что вам уже рассказал. И про попутку, и про почту, и про затрещины, и про

гостиницу.

Больше в тот день я Фрэнка Элоуна не видел. И два последующих дня — тоже. Но я следил за каждым его шагом — через мальчишек, через невинные разговоры с мистером Бренноном и стариками, сидящими на крылечках, через болтовню с молочником. Почему я не хотел оставлять Фрэнка без присмотра? Вы думаете, что меня заинтересовала его реплика насчёт капитана Блада? Нет. Мной двигало совершенно другое чувство — ревность. И если бы не ревность, я бы никогда не узнал того, что знаю сейчас.

Наиболее неприятным было то, что моя ревность оказалась небезосновательной. На следующий день после приезда Фрэнк разболтался с Кэтрин Бреннон, встретив её в холле гостиницы. Это я знаю от самой Кэти. Конечно, она просто обронила что-то вроде «болтала с Фрэнком». Но я почувствовал, что это «болтала» пахнет чем-то более серьёзным. Я для неё был всего лишь уличным пацаном, сохнущим по её глазам и губам. А Фрэнк виделся неким рыцарем, солидным и обеспеченным мужчиной и одновременно искателем приключений. Разве что без своего автомобиля.

Мне пришла в голову мысль, что своим соглядатаем в доме Бреннонов я мог сделать Вирджинию. Она была ко мне неравнодушна, даром что мелкая и некрасивая, и я вертел бы ею как хотел. Доносить новости о постояльце — да пожалуйста. Но для этого нужно было ещё дождаться Вирджинию: похоже, она поехала в Буффало вместе с отцом, и поездка обещала затянуться на пару дней. Кэти была за старшую в доме, а гостиницей заведовал чернокожий портье по имени Джек, верный помощник Бреннона.

Фамилию новоприбывшего я узнал из книги постояльцев. Никто не обращал на меня внимания, когда я болтался в холле, листал журналы на столике для посетителей, рассматривал картинки на стенах. Всё-таки я считался другом Кэти и ездил с ней в одну школу. Она была на год старше, но жёлтый автобус собирал всех детей от Буффало до Каспера независимо от возраста. И мы часто сидели рядом — просто потому что нам было о чём поболтать. О новом телешоу, о какой-нибудь классной песне. Только читать она не любила, и капитан Блад оставался сугубо моим героем.

Уже после того как Кэти упомянула в мимолётном разговоре Фрэнка, я задался мыслью узнать его полное имя. Простое «Фрэнк» меня не устраивало. Я пошёл в гостиницу, улучил момент, когда портье отлучится, и заглянул в книгу. Элоун, прочитал я. Говорящая фамилия.

А через два дня, когда я увидел Фрэнка во второй раз, он целовался с Кэтрин Бреннон на заднем дворе «Отеля Делюкс». Я возненавидел этого выскочку и проклинал его; я не мог спокойно стоять и даже подпрыгнул от злости (это смешно звучит, но я был и в самом деле чертовски зол). Что делать, спрашивал я и признавался себе, что не знаю.

Мы были знакомы с Кэтрин чёрт-те сколько лет, я покупал ей сладости и смешил её, делал для неё домашние задания и сочинил стихотворение, а он только приехал и уже получил больше, чем я за всё время знакомства. Сейчас я, конечно, всё понимаю. Боже мой, дарил конфеты и решал задачки, смешно. Но тогда мои тщетные любовные потуги казались мне очень заметными и красивыми.

Ладно, вернусь к Элоуну. Итак, он целовался с Кэтрин, а я наблюдал за ним через щель в заборе. Я тогда ещё ни разу не целовал девушку и воспринимал поцелуй как что-то такое воздушное и нежное, точно зефир в шоколаде. Мне было странно видеть, как они впиваются друг в друга, как он пытается захватить как можно больший участок её лица, а когда они отрывались друг от друга, я видел, что последними расплетались их языки.

Да, Кэтрин казалась весьма искушённой в этом плане. Правда, вовсе не потому что у неё были отношения с мальчиками. Просто у её отца был видеомагнитофон и большая коллекция порнофильмов. Об этом я тоже узнал гораздо позже — когда мы начали встречаться с Вирджинией, и эта коллекция служила нам учебником любви. Хотя не исключаю, что многому Кэти научил именно Фрэнк Элоун.

В тот день я в сердцах пошёл прочь, кляня судьбу и обещая больше никогда не разговаривать с Кэтрин Бреннон. Конечно, на следующее утро, встретив её на улице, я как ни в чём не бывало поздоровался. При этом я заметил, как она светилась, как была счастлива. Значит, мне не на что надеяться.

Фрэнк Элоун приехал в середине августа, даже ближе к концу месяца. Каникулы подходили к своему логическому завершению; я немного скучал по школе. Я ждал, когда в город снова приедет жёлтый автобус и повезёт нас прочь, и Кэтрин будет сидеть у окна, а я — рядом с ней.

Ещё через день я во второй раз поговорил с Фрэнком Элоуном.

На этот раз он шёл мне навстречу по улице. Никакого Сабатини у меня не было, зато было страстное желание что-либо у Фрэнка узнать. Подростковая ревность всегда такова. Главное — не добиться любви, а мучить своё сердце сознанием того, что твоя

любовь принадлежит другому. Романтика страданий.

«Привет!» — сказал он.

Я кивнул. Он явно не собирался со мной заговаривать, просто поздоровался. Но я должен был его задержать.

«А зачем вы приехали, мистер Элоун?» — спросил я.

Честно говоря, такой наглости я от себя не ожидал. Просто мне показалось, что я ничего, совсем ничего не должен этому человеку. И он мне ничего не должен. И он не расскажет моей матери, что я был нагл по отношению к нему. И вообще, человек, который целуется с Кэти, вполне может быть воспринят как ровесник.

Он остановился и улыбнулся.

«У меня есть одно небольшое дело».

Меня подмывало спросить: целоваться с Кэти? Может, переспать с ней?

Но на это я не решился.

«Что же это за дело?» — спросил я.

Он покачал головой.

«Это только моё дело».

Его улыбка поблекла. Не то чтобы пропала, но стала какой-то грустной, отстранённой. Точно дело было неприятное. Странно. Мне казалось, что человек, поцеловавший Кэти, должен быть счастлив.

Чёрт побери, я не знал, как ещё задержать его, какой ещё вопрос задать. Нам было не о чем разговаривать. Нас связывало лишь то, что мы любили одну женщину.

Пока я раздумывал, он сказал: «Ну, я пойду».

И я не нашёл, что ответить.

***

Второго сентября должен был приехать первый школьный автобус из Буффало. Я ожидал этого дня с нетерпением — даже не потому что мне предстояло чаще видеться с Кэти, а потому, что ей предстояло реже видеться с Фрэнком. Меня это утешало.

Что мне оставалось кроме как следить за Фрэнком Элоуном? Ничего. Моими глазами и ушами был сам город. Я видел, как Фрэнк смеётся, беседуя с Миддлвестом, как помогает миссис Пратчетт дотащить пакет с покупками от магазина до дома, как что-то обсуждает с Бренноном. Последний вряд ли догадывался, что его дочь крутила шашни с приезжим, тем более что тот был старше её чуть ли не в два раза. По крайней мере, выглядел на тридцать с лишним.

Про любовные приключения новоявленной парочки я узнавал

от Вирджинии. Она доносила мне обо всём. Раздражало меня только обожание в её глазах, когда она рассказывала мне, что Элоун возил Кэти в город. Машину он брал у мистера Хофтона, видавший виды «Понтиак Бонневиль» шестьдесят девятого года. Хофтон сам почти не ездил, поэтому «Понтиак» застоялся и практически пришёл в негодность. Элоун за два дня привел машину в чувство и уже во вторую поездку взял с собой Кэтрин. Бреннон говорил: «Пусть девчонка хоть в кино съездит, от Фрэнки плохого не будет…»

Я поражался тому, что Бреннон знал Элоуна от силы несколько дней, а уже относился к нему, как к родному.

Более того, Вирджиния рассказала мне, что Бреннон думал освободить Фрэнка от платы за комнату. Мне казалось, что целью Элоуна была именно Кэти. Причём не просто поиграть с ней и бросить как сломанную куклу, а — чем чёрт не шутит — жениться. Последняя мысль вызывала такую бурю ревности, что у меня темнело в глазах. Да, Кэти всего шестнадцать, но по разрешению родителей и по законам штата она вполне может стать законной супругой Элоуна.

Представьте себе, какой сумбур царил в моей голове. Я даже сейчас не могу толком упорядочить мысли, которые не давали мне спать в последнюю неделю лета 1978 года.

Но вернусь непосредственно к событиям.

Элоун катал Кэтрин на машине. Он возил её в Буффало дважды — в кино и на какое-то представление проезжей театральной труппы (впрочем, и оно проходило на сцене кинотеатра). Он гулял с ней где-то, говорил ей какие-то слова — и за день до появления школьного автобуса занимался с ней любовью.

Вы думаете, такое можно скрыть?

Нет. Тем более от меня, старательно следившего за каждым шагом соперника. Вирджиния прибежала ко мне во второй половине дня. Она была растрёпана, глаза на пол-лица, какая-то солома в волосах.

«Они…» — проговорила она, задыхаясь.

«Отдышись», — ответил я.

Но она рвалась говорить.

«Они… это…»

Надо сказать, что о сексе я тогда имел довольно отдалённое понятие. Не забудьте, в те времена не было Интернета, а порнуху достать в нашем городке было невозможно. Ну, не считая запасов Бреннона. Но их мы с Вирджинией нашли гораздо позже. К тому времени я уже понимал, что мужчина и женщина должны как-то слиться, но как — этого я не знал. Целоваться — да, нужно. И вот

эту штуку нужно как-то куда-то засовывать (что такое эрекция я, конечно, уже знал, потому что с поллюциями и эротическими снами у меня всё было в норме). Но более — ничего.

В любом случае я догадался, что Вирджиния имела в виду.

«Откуда знаешь?»

«Они сейчас. Там, в пятом».

Конечно, зачем искать сеновал, если есть пятый номер гостиницы отца.

«А отец?»

«В Буффало».

Вот тогда я и сорвался.

«Бежим», — сказал я.

Одеваться мне было не нужно: Вирджиния застала меня на крыльце — я традиционно бездельничал. Правда, читать у меня не получалось: всё время отвлекался на мысли о Кэти.

Мы побежали к «Бреннон Делюксу» окружными путями, не по главной улице. Через пять минут мы уже тихонечко поднимались по лестнице на второй этаж. Я спросил у Вирджинии, откуда она наблюдала за сестрой. Она молча потянула меня в четвёртый номер.

Балконы четвёртого и пятого выходили в одну сторону. Вирджи провела меня на балкон и аккуратно повернула створку двери. И я всё понял.

Балконная дверь пятого тоже была открыта. Свет затейливо преломлялся через две двери, так что я мог видеть нечёткое отражение той части комнаты, где находилась кровать. На ней лежали двое. Кажется, он ласкал её тело рукой. Видно было очень плохо. Но никаких сомнений не возникало.

Это было подсудным делом, между прочим. Растление несовершеннолетней. Но мог ли я подумать о том, чтобы открыть кому-либо эту тайну? Ведь пострадал бы не только Элоун, но и Кэти. И тогда у меня уж точно не осталось бы надежды.

Я ушёл с балкона, Вирджи последовала за мной. В тот день я больше ничего не хотел делать. Где-то на середине дороги до моего дома я буркнул Вирджи: «Отвяжись». Она исчезла (кажется, обиделась до слёз), а я вернулся в свою комнату, лёг лицом вниз на кровать и молчал до вечера. Слава богу, мама не заметила моего настроения — у неё были свои дела.

Впрочем, случившееся в тот день было мелочью по сравнению с тем, что произошло на следующий.

Первый день школы после каникул обычно бывал развлекательным. Новые учителя и ученики, старые знакомцы, расписание, неожиданности. В общем, сплошные впечатления. Я обратил внимание на Кэти: она сияла. Я никогда не видел её

такой красивой, такой лучащейся, изящной, счастливой. Я знал причину — и мне было противно вспоминать о том, что я видел в отражении балконной двери. Любовь схлёстывалась в моём сердце с ненавистью.

Кэти подошла к двери автобуса. Я смотрел на неё изнутри, потому что заскочил первым и держал место рядом с собой — для неё. Если в прошлом году мы частенько ездили вместе, почему бы не поехать рядом и сейчас?

Но вдруг я увидел Бреннона. Он бежал и махал рукой. Мне не было слышно, но, похоже, он звал Кэти. Она обернулась и сделала несколько шагов навстречу отцу. Бреннон схватил её за плечо и поволок прочь от автобуса. Именно так — жестоко, сдавливая её тонкую руку. Я понял, что произошло: Бреннон узнал о том, что Элоун соблазнил девушку. Я хотел было вскочить, выпрыгнуть из автобуса, побежать за ними, но понял, что могу сделать только хуже. Тем более двери уже закрывались.

Дети, провожающие их родители, шофёр с удивлением смотрели на Бреннона и его дочь. Но вмешиваться никто не стал. Мало ли какие причины могут быть у отца.

Автобус тронулся, и я поехал в школу один. Ещё до Кейси автобус забирал ряд детей с отдельных фермерских хозяйств. Ко мне подсела незнакомая конопатая девчонка, я уткнулся носом в холодное стекло и постарался ни о чём не думать.

Тот день прошёл ужасно. Честно говоря, я совершенно не помню, что происходило в школе. Мои мысли вертелись вокруг Кэти. Особенно нетерпеливым я стал вечером, когда автобус уже возвращался из школы. Я не мог сидеть спокойно, «подгоняя» жёлтую машину своими телодвижениями и порядком мешая соседу, мрачному толстощёкому мальчику лет двенадцати.

И только в городе я узнал страшную новость, мама рассказала.

Я старался вести себя как ни в чём не бывало. Пришёл домой, поздоровался, отправился на кухню. Но мама была сама не своя.

«Ты знаешь, что случилось?» — спросила она.

Меня точно током ударило. Я едва сдержался, чтобы не передёрнуло. Мама стояла позади меня и могла начать ненужные расспросы.

«Что?» — Я постарался спросить спокойно.

«Бреннон… — сказала она. — Убил свою дочь и Фрэнка».

Тогда я не заметил этого, но гораздо позже мне пришло в голову: она назвала Элоуна по имени. Даже для моей мамы он стал за эту неделю добрым знакомым.

Но в ту минуту у меня подкосились ноги. Я чуть не упал. А потом прошёл мимо мамы и направился к отелю. Мама меня не

остановила.

Оказалось, что Бреннон откуда-то узнал, что Фрэнк переспал с Кэти. И наставил на Элоуна ружьё. Кэти попыталась заслонить Фрэнка собой и получила пулю. Когда Бреннон понял, что попал в дочь, он аккуратно поднял ружьё и всадил вторую пулю точно в голову Фрэнку Элоуну. А потом застрелился.

Тогда мне не пришла в голову мысль о самом несчастном человеке — о Вирджинии. В один день она потеряла и сестру, и отца.

А я бежал к отелю. Что я надеялся там найти?.. Полиция давно уже уехала, тела увезли. Где была Вирджи — я не знал.

Дверь была закрыта, но мне было известно, как попасть внутрь. Окно около заднего входа легко поддевалось снаружи и поднималось. Я пробрался в здание «Отеля Делюкс». Я не знал, где произошло убийство, как и когда это случилось. Я предположил, что Бреннон сбрендил утром, когда приволок брыкающуюся Кэти обратно домой, не пустив её в школу. Как оказалось позже, я не ошибался.

Несмотря на страшное горе, во мне проснулся детектив. Я поднялся в третий номер, который снимал Элоун. Дверь была открыта, но жёлтыми лентами проём не перекрыли: вероятно, убийство произошло не здесь. Я вошёл внутрь. Было темно, и фонарика у меня не водилось. Из окна был виден диск луны, она давала достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы.

Тем не менее я включил настольную лампу. Ну, заметят меня — и пусть. Пожурят и отпустят.

Комната выглядела нежилой. Впрочем, немудрено: вещи Элоуна наверняка забрала полиция. Я огляделся и внезапно наткнулся глазами на знакомый предмет. Знаете, так бывает: что-то мелькает перед тобой, а потом ты пытаешься найти это целенаправленно — и ничего не получается. Вроде вот оно, то самое, искомое, но нет, ни черта подобного.

«Это» было около письменного стола. Ручки, несколько фломастеров, чистый лист бумаги, полка с книгами. Заглавия на корешках: дешёвая беллетристика, детективы, фантастика.

И вдруг я увидел: «Хроники капитана Блада». Такое же издание, как и у меня. Старое, сороковых годов, лондонское. Я машинально взял книгу с полки, начал листать её — и нашёл конверт. Да, это был конверт, обычный, белый, почтовый. Внутри — аккуратно сложенные рукописные листки. Я достал их: почерк незнакомый, но уже тогда я понял, что это почерк Элоуна.

Собственно, всё то, что я вам рассказал, было лишь предисловием к письму Фрэнка. Честно говоря, я не знаю, верить или не верить этому письму. Возможно, он был просто

сумасшедшим. Возможно, в нём одновременно жило несколько человек, как бывает при шизофрении. Но это письмо перевернуло моё понятие о Фрэнке, его появлении в городе и последовавших за этим трагических событиях. Я и сегодня не могу толком сказать, верить или не верить. Решать вам. Привожу текст, написанный Элоуном, почти без купюр. Правда, кое-какие подробности я вырезал, потому что не хочу, чтобы вы о них знали. Какие — неважно. Итак…

ПИСЬМО ФРЭНКА ЭЛОУНА

«Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых.

В своей жизни я написал около сорока подобных писем, и каждое отличалось от предыдущих. Потому что моя история меняется. Сейчас, когда я в очередной раз пишу эти строки, мне тридцать два года. Точнее, моему телу. Моему разуму — примерно триста лет, я не берусь посчитать точнее. И я устал, чудовищно устал.

Я оставляю это письмо в разных местах. В книгах, в ящиках столов, забываю на стойках отелей, прячу в несгораемых шкафах. А потом, когда оно «устаревает», я возвращаюсь обратно — в то время, когда оно ещё не написано. И пишу новое.

Я родился в 1946 году. И вполне нормально жил примерно до шестнадцатилетнего возраста. Но иногда я замечал, что прожил день, точно во сне. То есть я просыпался, день проходил. А потом я просыпался на следующий день — а день оказывался предыдущим. И я знал, что произойдёт в каждую следующую минуту этого дня, прожитого повторно. Или двух дней. Чаще всего у меня появлялась возможность исправить то, что я сделал не так.

Несколько раз происходили и более короткие флешбэки. Однажды я шёл по тёмному переулку, и на меня напали хулиганы. Меня ткнули ножом. Я лежал, по моим пальцам текла кровь, а в следующую минуту я снова был на перекрёстке, с которого свернул в этот переулок. Я вернулся всего на пять минут назад — и спас свою жизнь.

Так вот, в шестнадцать лет я понял, что могу контролировать свои способности. И начал этому учиться. И научился.

Я могу возвращаться в собственное прошлое. Вот мне, предположим, тридцать лет. Но я хочу прожить жизнь ещё раз. И я открываю глаза в день своего шестнадцатилетия — с

тридцатилетним опытом. И живу снова. Меняю одно, другое, третье. Возвращаюсь назад на час, на день, на неделю.

Вперёд я переместиться не могу. Потому что будущего нет. Я создаю его вокруг себя точно так же, как любой другой человек. Но другие не могут его менять — а я могу.

Я прожил десяток жизней. Я был президентом США. Самым молодым в истории — тридцать шесть лет. Я был нефтяным магнатом, я объехал весь мир, я был московским нищим и стамбульским богачом, я менял гражданства, я любил тысячу женщин и даже мужчин. Я пробовал всё, потому что когда ты знаешь, что произойдёт завтра, ты контролируешь мир. Проще всего зарабатывать на скачках. Посмотрел результаты заезда, вернулся назад, поставил на правильную лошадь. Сделать состояние, зная будущее, ничего не стоит. Можно играть на бирже — тоже вариант.

Я знаю, когда умру. Мне будет тридцать девять, когда мне поставят диагноз: рак. И мне оставят всего полгода. Я буду чахнуть, дряхлеть — и умру. Точный день я не знаю. Я не могу рисковать и возвращаюсь назад, не дожив немного до этого времени. Я доживал до рака трижды. Первый раз я узнал о болезни, остальные два раза я пытался её избежать. Я нанимал лучших врачей, способных предречь и предотвратить болезнь. Но они ничем не могли помочь. Предрасположенность организма, рак в тридцать девять. Я не хотел и не хочу жить больным, хотя могу оттянуть смерть. И поэтому я никогда не увижу 1987 года. Моя жизнь заключена между 1946 и 1986 годами. Я не знаю, что будет потом.

Чемпионом сезона 1983/84 годов будет «Эдмонтон». До этого дважды подряд — «Нью-Йорк Айлендерс». Чтобы не возникало сомнений — если это письмо прочтут до этих дат. Президентом США в 1981 году станет Рональд Рейган — в той реальности, где им стану не я.

Да, я пробовал разные жизни. Иногда я делал страшные вещи, а потом сам же их и предотвращал. Я прыгал без парашюта из самолёта — и возвращался в себя, ещё не сделавшего шаг в бездну. Я побывал на войне и потому лучше других знаю, что такое смерть и боль. Я видел в сто раз больше обычного человека.

Да, у меня были дети. И одновременно — не было. Я видел своего сына, а потом возвращался в то время, когда он ещё не родился.

Я не знаю, как воспринимают мои «путешествия» другие люди. Возможно, с каждым новым прыжком я творю очередную реальность. А внутри этой реальности — другие, вложенные.

В этот город я приехал около года назад. Или даже больше: я

сбился со счёта. Вам кажется, что это мой первый день в городе, но нет, это не так. Собственно, эти строки я пишу в Буффало. А когда приеду в этот город, вложу письмо в книгу про капитана Блада. Она ничего не значит для Бреннона, Кэти или полицейских, но в городе есть один человек, способный найти письмо, — мальчишка, влюблённый в мою девочку. Конечно, он может никогда не войти туда, где хранится эта книга. Но может и войти. А может, это письмо найдёт кто-то другой через много лет после моего исчезновения. Ведь рано или поздно я сдамся. Пока что мне не надоело бессмертие. Но надоест, конечно, надоест.

Я приехал на собственной машине, белом открытом «Мустанге» шестьдесят четвёртого года. Зачем я приехал? Просто в одной из своих жизней я решил объехать родную страну. Не Вегас, Лос-Анджелес или Чикаго, нет. Мне были интересны маленькие городки — такие, как этот. Где все друг друга знают, где между людьми нет вражды, где царит мир. Но, к сожалению, идиллия оказалась недостижимой. Во всех городках, где я побывал, была одна и та же проблема: пьянство. Безделье порождает поиск выхода, а выход находится в бутылке.

Этот город — первый, в котором всё выглядело действительно хорошо. И я задержался в нём на один день, потом — на второй, потом — на неделю.

Только горожане не любили меня. Потому что я приехал из большого города на белой машине, и у меня были деньги. Много денег. Я был чужаком. Со мной не разговаривали в баре, меня сторонились на улице, а мальчишки с каждым днём всё больше наглели, хотя я бросал им столько мелочи, сколько они не видели за всю свою жизнь.

И мне стало интересно покорить этот город. Просто интересно. Поэтому во второй раз я приехал сюда на попутке, с потёртым рюкзаком за спиной. И вместо того, чтобы раздавать мальчишкам мелочь, надавал им по ушам.

Именно во второе своё появление в городе я встретил Кэти Бреннон. То есть я видел её и в первый визит. Но теперь моё зачерствевшее сердце старика неожиданно дрогнуло и стало оживать. Нельзя сказать, что я влюбился с первого взгляда. Поживи с моё — и поймёшь, что любовь искореняется возрастом легко, очень легко. Но всё-таки я влюбился — в той мере, в какой мог. И поставил себе цель хотя бы соблазнить эту девочку.

Первый визит, второй визит — я путаю тебя, своего читателя. Если ты есть. Для тебя мой первый и последний недельный визит был единственным.

Женщины всегда давались мне легко. Я возвращался на пять, десять минут назад, чтобы исправить неверную фразу, сделать

всё, как надо. И не было женщины, которая не ложилась в мою постель в первую же ночь. Хотя нет, некоторых удавалось соблазнить лишь во вторую — особо принципиальных.

Кэти была податливым пластилином. Но слишком неопытным и боязливым для того, чтобы сразу сломать её.

Я совершил много ошибок. За десятки моих появлений в городе я попадал в разные переделки. Бреннон вышвыривал меня из дома и даже палил вслед из ружья. Кэти дала мне сотню пощёчин. Мальчишка, влюблённый в Кэти, пытался напасть на меня с бейсбольной битой. Чего только не было. Но каждый раз моя стратегия совершенствовалась.

Так, медленно, но верно, я пришёл к тому, что на пятый день Кэти становилась моей.

И когда я добился этого, когда я положил её на кровать в пятом номере гостиницы, то понял: я влюбился по-настоящему. Физически ничего не мешало нашему союзу — шестнадцать лет, не такая и большая разница. Но фактически мне было несколько веков. Я не думал, что смогу влюбиться. Хотя все эти годы я был авантюристом. Я сменил столько судеб и мест жительства, что представить себе не мог такого, чтобы мне захотелось осесть на одном месте. Впрочем, бывало — оседал. С первой женой, со второй. Третьей не было.

Кэтрин Бреннон стала моим наваждением. И я подумал, что нужно поговорить с её отцом. Что нужно предложить ему это. Взять её в жёны, увезти с собой. У меня было море денег. Бреннон бы не отказал. И она бы не отказала.

А потом пришёл тот самый день, когда жёлтый автобус приехал для того, чтобы забрать детей в школу. И Кэти в том числе.

Это был старый Gillig C-180D 1966 года выпуска. Ему было пора на покой, но он всё ещё колесил по восемьдесят седьмой, собирая детей по окрестным городкам и фермам. Я не провожал Кэти. И Бреннон — тоже. Он сказал: «Девчонка взрослая, пусть сама хоть до школьного автобуса дойдёт». Я тем более знал, что она — взрослая.

Автобус разбился примерно на полпути до Кейси. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Скорее всего, он уворачивался от вылетевшей на его полосу встречной машины. По крайней мере, об этом говорили следы тормозов на асфальте. Но нарушителя не нашли. К тому моменту автобус успел собрать двадцать одного ребёнка. Трое погибли — в том числе и Кэти.

Конечно, я ничего не сказал Бреннону — в тот раз. Более того, я не огорчился, потому что знал, что могу всё изменить. И я вернулся назад — на день. И напросился в автобус. Уговорил

водителя подвезти меня до Кейси. Кэти сидела рядом с влюблённым в неё мальчишкой, поклонником Сабатини. Но смотрела она на меня.

Нарушителем оказался чёрный «Форд». Он и в самом деле вылетел на встречную полосу. Не знаю, может, водитель был попросту пьян. Когда наш шофёр собирался вывернуть руль к кювету, я дёрнул его в обратную сторону. Мы миновали «Форд» чудом — с другой стороны. Он исчез в зеркалах заднего вида, а потом я обернулся и понял, что мы всё равно опрокидываемся, в другую сторону.

Кэти погибла. На этот раз — она одна.

В третий раз я постарался не допустить того, чтобы Кэти поехала в школу на автобусе. С нескольких попыток я убедил Бреннона, что сам отвезу девушку. Я взял у Хофтона «Понтиак», как обычно. Мы выехали раньше автобуса и двигались по совершенно пустому шоссе.

Я не отвлекался ни на секунду, нет. У нас просто отказали тормоза. Я нажал на педаль — и она провалилась вниз.

Кэти погибла — в третий раз.

В четвёртый раз я попытался не пустить её в город. Путём сложного перебора я нашёл верный подход и к ней, и к Бреннону. Не буду рассказывать, каких трудов мне это стоило. В итоге Кэти сказалась больной и осталась в своей комнате, а Бреннон вызвал врача. Врач вколол ей какое-то успокоительное, у неё началась аллергическая реакция, и она скончалась в течение десяти минут.

Я убедил Бреннона не вызывать врача. Час «Ч» миновал: она оставалась жива до трёх часов дня. Но в три часа она решила подняться за чем-то наверх. Спускаясь, она поскользнулась на лестнице и сломала шею.

Я видел смерть Кэти сотню раз. Я видел, как её расплющивает искорёженным бортом автобуса, как она лежит у лестницы с неестественно вывернутой шеей, как в её груди разверзается дыра от выстрела (однажды она решила поиграть с папиным ружьём и была неосторожна).

Я понял, что ничего не могу изменить. Впервые в жизни я был бессилен. Я был ограничен во времени — впервые в жизни.

Я пытался менять мир более глобальным образом. Я приезжал в город за три, четыре, пять недель до первого школьного дня, я соблазнял Кэти десятки раз, я даже увозил её в другой город, в другой штат, похищал — она оставляла отцу слезливые записки — но она неизменно умирала в тот день, второго сентября 1978 года.

Это письмо написано мной после нескольких десятков попыток спасти Кэти. После того как я допишу это письмо, я

сделаю копию и отправлю её по почте на свой собственный адрес в Нью-Йорк. Если я сумею победить обстоятельства, то когда-либо вернусь в этот город и заберу письмо. Если не сумею — его найдут другие.

После посещения почты я сниму комнату в отеле Бреннона и снова начну этот короткий бессмысленный круг. Я буду возвращаться всякий раз в свою комнату, в третий номер — в тот момент, когда письмо уже отправлено. И снова буду пытаться её спасти.

И снова, и снова, и снова. Потому что каждый миг рядом с ней — это счастье. Потому что она будет вечно молода и прекрасна в эту последнюю неделю лета. Потому что у меня нет другого выхода.

Я понимаю, теперь понимаю, что всё же не сломаю время, не сломаю судьбу, предначертанную Кэтрин Бреннон. Но я буду с ней столько, сколько захочу. Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, по вечному кругу.

А если ты найдёшь это письмо, мой случайный адресат, значит, я проиграл. Или выиграл — я даже не знаю.

Прощай».

***

Как я уже говорил, сейчас мне за сорок. И хотя теперь я живу в том же самом городке, я провёл тут не всю жизнь. Мы с Вирджи решили вернуться не так давно. Мы хотим прожить остаток наших дней в родном городе, добром, спокойном и мирном. Тем более сообщение за двадцать с лишним лет заметно усовершенствовалось. У нас есть Интернет, мы заказываем любые товары на дом с доставкой, а моя компания работает без моего участия, я только снимаю сливки.

Начало моему успеху положил Фрэнк Элоун. В сезоне НХЛ 1981/82 года я ставил на «Нью-Йорк Айлендерс» перед каждым матчем плей-офф и превратил скопленные пятьдесят долларов в тридцать тысяч (немного взяв у друзей на дополнительные ставки). Уже в следующем году я нажил состояние, а в последний год, на который распространялось предсказание Фрэнка, я превратил это состояние в очень, очень большое. Конечно, между сезонами я не сидел сложа руки. Я уехал в Буффало, потом в Солт-Лейк-Сити — и заставил свои деньги работать. Наверное, у меня талант. Но не будь Элоуна, мне не было бы откуда взять стартовый капитал.

Собственно, когда «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли первый сезон, я поверил Фрэнку по-настоящему. Я понял, что его письмо

— правда.

А президентом и в самом деле стал Рейган. Но это можно было предсказать и без способностей Фрэнка.

Что произошло в тот день, который остановил странную жизнь человека-во-времени? Как я понял из отрывочных сведений, Фрэнк решил попробовать кардинальный способ спасения Кэтрин. Он откровенно признался Бреннону, что соблазнил его шестнадцатилетнюю дочь. Бреннон схватил ружьё. Остальное я вам уже пересказал.

Собственно, вот и всё. Я долго запрягал, а закончил неожиданно быстро. Моё непосредственное участие в истории Элоуна было небольшим. Два диалога, слежка — и всё. Я не знаю, что случилось со вторым письмом. Но, кажется, больше никто не сделал состояния на играх НХЛ в те годы. Вполне вероятно, оно много лет пролежало невостребованным в почтовом ящике Фрэнка Элоуна в Нью-Йорке, а потом где-то затерялось, когда родственники или друзья разбирались с квартирой покойного.

Мне кажется, он хотел умереть. Покончить с собой — трудно, а вот нарваться на смерть — не слишком. В любом случае он всегда мог «откатиться» назад. Поэтому его смерть могла быть только мгновенной.

Интересно, если первой погибла Кэти, почему он сразу же не изменил будущее? Вполне вероятно, я знаю ответ на этот вопрос. В какой-то параллельной вселенной он не умер. И снова — неделя за неделей — пытается спасти девушку. Но я живу в реальности, где старик Бреннон двумя выстрелами лишил жизни сначала свою дочь, а потом и её удивительного любовника.

И ещё одна мысль не даёт мне покоя. Каково это — быть запертым в своих сорока годах, как в клетке? Я знаю, что никогда не увижу, к примеру, две тысячи сотого года. Но для меня это нормально. А для Фрэнка? Он метался по времени, пытался найти из него выход — и не находил.

А теперь представьте себе, как можно сознательно выбрать такую жизнь — в пределах одной недели и одного города. День за днём, год за годом — одно и то же. При бескрайних возможностях Фрэнка это выглядит странно и даже страшно.

Но я знаю этому название. Мы с Вирджи знаем.

Это называется любовью.

Хитроумный Холман

С мистером Холманом я познакомился в конце 1896 года на заводе Baldwin Locomotive Works в Пенсильвании. О, это был очень харизматичный человек, скажу я вам. Величественный, с пышными усами, расхаживающий с королевским видом между локомотивами и дающий рабочим указания таким тоном, что они плевались в сторону от ненависти к нему. Он знал всё и вся, разбирался в каждом узле паровоза, мог в уме рассчитать силу, приходящуюся на рычаг, и нагрузку на рельсы в зависимости от развесовки. Неизменное шерстяное пальто делало его грузным, а котелок он не снимал даже сидя в кабинете у главного инженера завода; туфли всегда были налакированы до блеска, и если на них попадала сажа, Холман старательно оттирал её батистовым платочком. Если бы не надменность и позёрство, его бы слушали, открыв рты, потому что говорить Холман умел, как умеют говорить политиканы с трибуны. Для некоторых речи пишутся специальными людьми, Холман же складывал слова сам, и результат их сложения порой выходил великолепным. У него был ряд патентов на самые разные усовершенствования для железной дороги — составные рельсы, стыковые железнодорожные мосты, ускорительные тележки для локомотивов. Он знал тексты заявок наизусть и мог воспроизвести любой рисунок из любого патента. Да, чуть не забыл, ему было лет шестьдесят — шестьдесят пять на вид. Точного возраста Холмана не знал никто.

Холман появился в Пенсильвании в 1894 году и сразу отправился к главному инженеру Baldwin мистеру Слейтеру. Он провёл в его кабинете порядка часа (по свидетельству секретаря — сам я ещё там не работал), после чего вышел, сияя подобно начищенному тазу. Вообще, на моей памяти у Холмана почти всегда было хорошее настроение. Ничто не могло смутить его, повергнуть в отчаяние, сбить с толку. Уверенность в себе защищала его лучше любых стен. После Слейтера он посетил директора компании господина Пристли, от которого тоже вышел с блеском в глазах. Как выяснилось позже, Холман разместил достаточно крупный заказ на три паровоза оригинальной конструкции. Правда, официально их изготовителем должна была считаться существующая только на бумаге компания самого Холмана Holman Locomotive Speeding Truck Co. Но для Baldwin это ничего не значило: Холман платил деньги и имел право заказывать музыку.

Я пришёл на завод в середине 1896 года, когда первый паровоз был уже наполовину закончен, а для двух других готова львиная доля деталей. Я помню, как увидел этого железнодорожного монстра впервые. Я остановился и спросил сопровождавшего меня инженера, мистера Баксли: «Что это такое?» «Это паровоз Холмана», — ответил Баксли, и в его словах проскользнула грустная ирония. «А зачем это?» Я показал на удивительные тележки паровоза. «Этого не может объяснить даже мистер Холман».

Вот тут стоит описать, чем же паровоз Холмана отличался от обычных железнодорожных гигантов того времени. С первого взгляда, если просто бежать мимо и скользнуть по нему глазами, то ничем. Паровоз колёсной схемы 4-4-0 (если придерживаться американской традиции, введённой Фредериком Уайтом, и нумеровать по колёсам, а не по осям) с прицепным четырёхосным тендером. Кстати, стоит отметить, что Уайт ввёл свою формулу лишь в 1906 году, во времена Холмана мы использовали старый германский метод записи осевой формулы в виде дроби: 2/4, где двойка обозначает число спаренных осей, а четвёрка — общее число осей. Но с появлением большого количества паровозов с тендером, который не цеплялся отдельно, а был частью локомотива, такая запись устарела. То есть пришлось ввести разделение между направляющими осями (передними, если говорить проще) и поддерживающими (расположенными под кабиной или под тендером). Так появилась формула Уайта.

Вернусь к Холману. Как я уже сказал, с виду это был обыкновенный 4-4-0. Но его спаренные (ведущие) колёса не стояли на рельсах! Они стояли на дополнительных тележках и передавали усилие на три небольших колеса через зубчатые передачи. Вместо каждого колеса получалось что-то вроде пирамиды: большое ведущее колесо, под ним — два поменьше, под ними — ещё три, и вот эти три уже опирались на полотно. Передние, направляющие колёса были обыкновенными.

Когда я впервые увидел паровоз Холмана, я никак не мог понять смысл этого нагромождения колёс. Никакого выигрыша в скорости или силе они не давали. Наоборот, переизбыток зубчатых соединений мог повлечь за собой только более низкую прочность конструкции и высокую вероятность её разрушения под воздействием неровностей на путях или в случае резкого торможения паровоза. Вы же знаете правило: чем больше деталей в конструкции, тем выше вероятность её поломки. Сам Холман был для меня тогда недостижимым человеком. Вхожий в кабинеты всех начальников, вальяжный и обеспеченный, он не удостаивал простых рабочих и рядовых инженеров даже взглядом.

Вторым этапом моего приближения к Холману была реклама в местной газете, причём на первой полосе. Большое объявление занимало чуть ли не пятую часть передовицы, и на нём был изображён тот самый абсурдный паровоз, который строился на Baldwin под началом Холмана. Объявление в самых ярких красках расписывало невероятные перспективы конструкции Холмана, объявляя паровозы со слоёными пирамидами из колёс как минимум локомотивами будущего. В рекламе приводился ряд наукообразных утверждений, противоречащих элементарным законам физики. Например, там говорилось, что большее количество точек соприкосновения с рельсами позволит избежать проскальзывания колёс, и это будет работать на увеличение скорости и уменьшение пустых затрат мощности. Но если такому утверждению ещё можно было поверить, то ключевой фразе рекламы — никак. В ней утверждалось, что при тех же затратах энергии схема Холмана позволит получить шестикратный (!) выигрыш в скорости. Более того, этот бред был полностью «обоснован» для публики: одно колесо на верхнем уровне, два на среднем, три на нижнем, то есть $1 \times 2 \times 3 = 6$. Неужели Холман и в самом деле считал, что для расчёта выигрыша в скорости достаточно перемножить количество колёс?..

Итоговым выводом объявления был призыв покупать акции компании Holman Locomotive Speeding Truck Co, поскольку они пока ещё стоили довольно дёшево, от двадцати пяти до ста долларов, но в будущем обещали возрасти в цене до нескольких тысяч долларов за штуку. Уставной фонд акционерной компании составлял безумную сумму в десять миллионов долларов, и каждая акция была номерной, подписанной лично президентом Холманом. Я прикинул, сколько же времени Холман потратил на подписание сотен тысяч акций…

Самое смешное, что я купил одну акцию за двадцать пять долларов для коллекции. Почему бы и нет, не так и дорого. Купил я её несколько позже, когда случайно увидел в витрине рекламу компании Холмана и обнаружил, что это один из офисов по продаже акций.

Всё это время паровоз строился. К концу 1896 года работы почти не оставалось — чуть-чуть внешней отделки, система освещения, а затем — дорожные испытания. Вот тут-то меня и перевели из общего отдела на разработку системы сигнализации для паровоза Холмана. Holman type был заметно выше обычного паровоза, разместить традиционный лобовой фонарь и боковые осветительные системы не представлялось возможным. Обычная схема крепления рассчитывалась, исходя из средней высоты паровоза, и подразумевала невысокую подвижность фонаря. При

использовании такой схемы луч света бил бы достаточно далеко, но оставлял слишком большое мёртвое пятно по бокам паровоза и перед ним. Машинист, высунувшись из кабины ночью, просто не видел бы обочин. А так как я специализировался именно на светотехнике и при этом был достаточно молодым специалистом, на меня свалили эту разовую и малоосмысленную работу.

В середине ноября меня представили Холману. Это сделал главный инженер проекта, мистер Джилли. Холман смерил меня взглядом, был удовлетворён увиденным и только после этого соизволил протянуть мне руку.

«Ну-ну, молодой человек, — сказал он покровительственным тоном. — Посмотрим, что у вас выйдет».

Мне ужасно хотелось задать ему тот же вопрос относительно абсурда его технических вычислений. Но я смолчал. Всё-таки Холман был ценным клиентом нашей компании.

Работа моя была не слишком сложной. Рассчитать необходимые мощности фонарей, их углы наклона и люфт относительно тела паровоза. Реально всё можно было сделать за неделю, тем более что для изготовления системы освещения использовались стандартные узлы и детали. Уже в январе мои фонари установили на паровоз; параллельно на тендер нанесли гордую надпись South Jersey Railroad — именно Нью-Джерсийскую дорогу Холман сумел раскрутить на предварительный заказ многоколёсного уродца. На меня Холман внимания почти не обращал и не давал мне никаких указаний (хотя это дело он любил независимо от глубины собственных познаний в предмете).

Рекламы в городе с каждым днём было всё больше и больше. Информация о самом лучшем в мире паровозе Холмана расползалась по журналам и газетам, появлялась в виде растяжек между домами, наносилась на экипажи и боковые поверхности вагонов. Она мелькала повсюду, и, насколько я понимал, не ограничивалась городами штата Пенсильвания, где строился паровоз, и Нью-Джерси, где он должен был эксплуатироваться.

Собственно, незадолго до первого выезда холмановского паровоза за заводские ворота я впервые побеседовал с его создателем. Для этого разговора не было никаких причин, мои дела с абсурдной машиной были уже окончены, но природное любопытство не отпускало меня. Тем более я вложил в предприятие Холмана целых двадцать пять долларов.

И однажды весной 1897 года я подошёл к этому величественному господину, когда он в очередной раз проводил инспекцию своего детища.

«Добрый день, мистер Холман», — поприветствовал его я.

Некоторое время он смотрел на меня с выражением «я, конечно, тебя помню, но, во-первых, не помню, как тебя зовут, во-вторых, не хочу с тобой беседовать и потому делаю вид, что тебя не помню». Получилось довольно витиевато, но именно это я прочёл в его надменном взгляде.

Но в итоге в нём взыграла совесть, он прекратил разыгрывать комедию и поприветствовал меня в ответ.

«Мистер Холман, как человек, который тоже принимал участие в создании вашего паровоза, могу я задать несколько технических вопросов?»

Я произнёс эту тираду максимально подобострастно, с выражением «перед тобой, мой учитель, я ничтожная букашка и хочу отхватить хотя бы крошечный кусочек от светоча твоих необъятных познаний». Это была правильная тактика. Холман сразу подобрел, расслабился. Если до того он искал глазами наиболее удобный путь по избеганию моей персоны, то теперь он казался вполне настроенным на беседу.

«Слушаю вас!» — произнёс он важно.

Разговор я начал издали, чтобы Холману не казалось, что я скептически отношусь к его изобретению и хочу осмеять его.

«Какой расчётный выигрыш в скорости даёт ваша система?»

«Механически — в шесть раз, — ответил он. — Плюс минимализация проскальзывания за счёт большего суммарного пятна контакта с рельсом, это ещё порядка одной десятой».

Да, он в точности повторял информацию из рекламы.

«То есть, потратив то же количество топлива, паровоз вашей системы преодолеет сорок миль, скажем, не за час, а за десять минут?»

«Теоретически — да. Но придётся учитывать состояние дорожного полотна, которое не рассчитывалось на подобные скорости, расписание движения других поездов и необходимость замедления в населённых пунктах и в районе стрелок».

«То есть практически…»

«Практически — порядка четырёх раз».

«Всё равно немало».

«Конечно. Это же Холман!»

Да, самолюбия у него было не отнять. И вот тут я задал самый животрепещущий вопрос.

«Но, мистер Холман, ведь в зубчатом соединении и в данном случае в частности всё зависит от диаметра шестерен, потому что они должны быть одного модуля для нормальной работы! Диаметр колёс, движущихся по рельсам, в два с лишним раза меньше, чем диаметр ведущих колёс, это полностью нивелирует весь выигрыш, достигнутый путём увеличения угловой скорости

вращения…»

Надменность во взгляде Холмана сменилась презрением.

«Мальчик, — сказал он. — Именно такие, как ты, впитавшие в себя многочисленные ошибки того, что называют “образованием”, и тормозят прогресс. Вам, точно аксиомы, вбивают в головы глупости, а вы всему слепо верите и не можете выйти за однажды очерченные рамки. Это мой паровоз, и если тебе он не нравится, оставь своё мнение при себе».

И он ушёл, даже не попрощавшись.

Я остался стоять в полной растерянности. По сути, никаких аргументов в защиту своей конструкции у Холмана не было и быть не могло. Но он брал харизмой, умением задавить своим мнением и непререкаемой уверенностью в собственной правоте.

В общем-то, я оставался лишь сторонним наблюдателем развития ситуации со странным паровозом. Символическую акцию, купленную для коллекции, я всё равно не собирался продавать или вкладывать во что-либо, поэтому отношение моё было спокойным. Я смотрел, как люди заходят в офисы Holman Locomotive Speeding Truck Co, оставляют там свои кровные, обменивая их на ничего не стоящие бумажки с личной росписью мистера Уильяма Дженнингса Холмана.

В апреле 1897 года паровоз с большой помпой своим ходом выкатился из ворот завода Baldwin Locomotive Works. Он был увешан цветами, а из кабины, помимо обязательной команды из машиниста и кочегара, зрителям махал рукой его создатель. Холман сиял. Казалось, солнце отражается в его зубах и пускает зайчики в глаза столпившемуся люду. А столпотворение было немалое. Холман заблаговременно позаботился о должном освещении уникального события, рождения на свет революционного паровоза. Я заметил, что многие зрители размахивали над головой акциями Холмана, точно флагами. Интересно, сколько денег заработал на этом изобретатель?

Сама демонстрация должна была проходить на следующий день после первого выезда паровоза из цеха. К тому времени кроме банальной рекламы был напечатан тираж коммерческих и технических предложений — небольших брошюр, в которых подробно излагалась концепция Холмана и перспективы развития этого направления паровозостроения. Один из самых заметных разделов брошюры был посвящён возможности модернизации любого существующего паровоза, его преобразования в Holman type. Холман предлагал эту услугу совсем за небольшие деньги. По сути, из дополнительных материалов для такого переоборудования нужны были только новые тележки с зубчатым зацеплением.

Но самое удивительное я нашёл в конце одной из брошюр (в день премьеры они раздавались бесплатно всем желающим). Это были подробные результаты дорожных испытаний паровоза Холмана! При том, что машина ещё толком вообще не двигалась своим ходом, если не считать медленного и пафосного выезда из заводских ворот. Холман блефовал настолько открыто, что я никак не мог понять логику людей, приобретавших акции его предприятия и восторженно размахивавших ими в день презентации.

Кстати, в тот день в офисы Холмана было не пробиться. Толпы штурмовали их. У каждого наготове были извлечённые из запасников или снятые с банковских счетов деньги, которые должны были в считаные месяцы преумножиться и сделать миллионерами своих обладателей. Мне казалось, что за один день тогда продали больше акций, чем за всю предыдущую кампанию.

Для демонстрационных заездов был выбран ровный участок дороги длиной порядка четырёх миль, ведущий от ворот завода к ближайшей рабочей ветке. Участок был почти ровный, с небольшим изгибом, позволяющим оценить работу локомотива на поворотах. Горок и спусков на участке не было.

Holman type медленно проехал первую милю, после чего остановился. Холман забрался на крышу кабины и начал вещать. Честно говоря, я не слышал, что он говорил. Я следил за паровозом практически из ворот завода; когда я последовал вслед за толпой, паровоз уже уехал вперёд на четверть мили, поэтому, когда я добрался до места его остановки, Холман уже завершал свою речь. Говорил он безо всякого рупора, и отдельные слова разбирали разве что стоящие в первом и втором рядах.

Через некоторое время Холман спустился и забрался обратно в кабину. Локомотив дал пар, обдав людей влажным горячим воздухом. Толпа отшатнулась, рассеялась. Паровоз медленно двинулся вперёд, а после начал постепенно разгоняться. С моего ракурса было невозможно определить его ускорение: я видел только заднюю стенку тендера. В принципе, удалялся локомотив достаточно резво, но, честно говоря, не быстрее паровоза традиционной колёсной схемы.

Закончились заезды примерно так же, как и начались. Паровоз вернулся, Холман забрался на кабину и произнёс ещё одну пламенную речь. Народ слушал и рукоплескал. Лишь стоящий рядом со мной человек довольно громко произнёс:

«Бред!»

Я повернулся к нему.

«Вы тоже так считаете?»

Он улыбнулся.

«Слава богу, я не один. Меня зовут Джек Шефтер, я из журнала Popular Mechanics».

«Уильям Джейкобсон, инженер на Baldwin».

«Очень приятно».

Мы пожали друг другу руки.

Я рассказал Шефтеру, что недолго работал над паровозом Холмана, а точнее, над системой освещения.

«О, — улыбнулся он. — Так вы приближённый к королю человек».

«Не совсем. Он довольно презрительно относится ко всем, кроме себя».

«На то он и король. А вы знаете, что это уже вторая его попытка?»

«В каком смысле?»

«О… Вы ничего не знаете. Тогда я позволю себе занять несколько минут вашего времени».

Я согласился, и Шефтер рассказал мне следующее.

В 1887 году Холман заявился к руководителям Нью-Джерсийской железной дороги со своей бредовой с первого взгляда идеей о паровозе на «пирамиде» из колёс. Тогдашний начальник дороги мистер Гривз очень заинтересовался предложением Холмана и выступил спонсором для постройки паровоза. Холман арендовал цех, купил подержанный паровоз типа 4-4-0 и водрузил его на тележки своей конструкции. Только в первом варианте на тележках стояли не только ведущие, но и направляющие колёса, то есть весь паровоз был поднят над рельсами. Это было заметно дешевле современной разработки Холмана, поскольку не требовало изготовления новой подвески для направляющих осей. Надо сказать, что в те времена у Холмана была другая фирма — Holman Locomotive Company, которая номинально специализировалась на производстве обычных паровозов, хотя в реальности не изготовила ни одного.

Холман точно так же устроил мощнейшую рекламную кампанию, напечатал огромное количество акций, лично подписал если не все, то бóльшую часть, и распродал их на «ура» в штате Нью-Джерси. Стоимость акций на фондовом рынке в считаные дни поднялась до небес, их скупали тысячами. Некоторые из газет, куда Холман давал объявления, обратились к техническим специалистам, способным провести анализ «изобретения». Наиболее часто встречающимся мнением было то, что Холман — банальный самоучка, попросту не понимающий элементарных законов физики. Слава Холмана дошла до Нью-Йорка, и Шефтер как корреспондент Popular Mechanics был

направлен для расследования и возможной подготовки материала об удивительном изобретении. Первый же взгляд убедил Шефтера в том, что Холман или дурак, или мошенник.

Спустя несколько месяцев Холман исчез. Просто сел на поезд (ведомый обычным, немодернизированным локомотивом) и уехал. И больше о Холмане никто и ничего не слышал. Самое смешное, что официально против него даже дело не могли возбудить. Потому что в уставных документах компании было указано, что выплаты последуют через двадцать (!) лет после официального выпуска акций. То есть в 1907 году. В наследство Нью-Джерсийской дороге достался паровоз, получивший прозвище «Абсурд Холмана», и много ничего не стоящей бумаги, нарезанной на прямоугольнички с автографами гениального изобретателя.

«Вот такая история, — подытожил Шефтер. — А теперь он появился здесь. Срок ещё не истёк, у него ещё десять лет по тому делу, да и по этому, я думаю, он всех в дураках оставит».

«Но этот паровоз тоже заказали в Нью-Джерси! Неужели они не поняли своей ошибки относительно Холмана?»

«Наоборот, поняли, — усмехнулся Шефтер. — Этот паровоз Холман построил на свои собственные деньги, и Нью-Джерси просто возьмёт его себе, не отдав Холману ни цента. Другой вопрос, что стоимость постройки он целиком окупил новой порцией акций, да ещё и подзаработал».

«Но он заказал три паровоза!»

«Правда? Я не знал».

«Остальные пока в стадии шасси, но уже заложены и ждут своей очереди в цехах».

Шефтер покачал головой.

«Вряд ли Холман будет строить остальные паровозы. Он уже собрал все сливки, новая машина пойдёт ему в убыток. Готов побиться об заклад, что в течение двух-трёх месяцев Холман пропадёт с концами. Может, ещё всплывёт где-нибудь лет через пять, когда деньги закончатся, а там снова исчезнет, и уже навсегда».

Я трезво поразмыслил и спросил:

«А мы можем что-либо сделать?»

«Нет, да и не нужно. Это естественный отбор дураков, которые выбрасывают деньги на ветер. Мистер Дарвин не ошибся ни на йоту».

Я грустно усмехнулся.

К тому времени Холман уже закончил вещать. Паровоз медленно полз обратно на заводскую территорию. На следующий день он должен был отбыть в направлении Атлантик-Сити, Нью-

Джерси. На душе у меня было неспокойно. Теперь я точно знал, что Холман — мошенник. Но я не имел никакой возможности остановить его и даже не мог никого предупредить. Мне оставалось лишь наблюдать.

На следующий день первый паровоз Холмана и в самом деле отправился в Атлантик-Сити. Холман провожал его, стоя у заводских ворот. Его акции скупались по всей Пенсильвании и Нью-Джерси, он снова был на коне. Интересно, что думали обо всём этом жертвы предыдущего мошенничества? Скорее всего, они по-прежнему ждали, когда их состояние, вложенное в акции, приумножится.

«Сдав» паровоз, Холман вернулся к своему обычному времяпрепровождению. Он вальяжно расхаживал вокруг строящихся паровозов и давал указания всем — от простого рабочего до главного инженера. Кроме того, всю следующую неделю по огромной территории завода дефилировали коммивояжёры, торговавшие… акциями Холмана. Что самое смешное, заводчане брали их не хуже других жителей округи, хотя понимали в паровозах гораздо больше.

Так как с первым паровозом я работать закончил, а с остальными по разработанной мной документации вполне могли справиться другие (да и до установки освещения было ещё достаточно далеко), с Холманом я почти не пересекался, лишь пару раз видел его издалека. Акции его продавались хуже, чем перед демонстрацией паровоза, эпидемия пошла на спад. И через некоторое время я стал замечать, что офисы Holman Locomotive Speeding Truck Co постепенно сворачивают свою работу. Там, где они находились, появлялись объявления «сдаётся», витрины пустовали, коммивояжёров не было видно. Я понял, что Холман готовится к исчезновению.

Тогда я решился и отправился к главному инженеру Говарду Слейтеру. Слейтер был сед, лыс и мрачен. Он отлично разбирался в паровозах и ни бельмеса не понимал ни в чём другом. Он не знал, кто такой Эдгар По, и не мог точно назвать даты гражданской войны (хотя застал её, надо отметить), зато про паровозы мог говорить часами. Идеальный главный инженер для крупного паровозостроительного завода.

Слейтер принял меня благожелательно и предложил рассказать ему о приведшей к нему проблеме. Я как мог изложил ему историю первой аферы Холмана, а затем решился спросить, оплатил ли мистер Холман постройку остальных двух машин.

«Мистер Джейкобсон! — ответил мне Слейтер. — Вы молоды и неопытны. Я понимаю ваше рвение и ценю его, но в данном случае оно излишне. Мистер Холман прекрасно понимает, что

делает. За то, что уже сделано и по первому, и по остальным паровозам, заплачено в полной мере. Мы не имеем никаких оснований сомневаться в честности мистера Холмана и его платёжеспособности».

В последнем я и сам не сомневался. В принципе, Слейтер был прав. Холман платит — Холман и заказывает музыку. Какое право я имел вмешиваться в его дела?

А потом он, наконец-то, пропал. Я говорю это, потому что искренне ждал его исчезновения. Я не мог поверить в то, что Холман и в самом деле решил продвинуть своё чудовище на рынок и потратить деньги на изготовление целых трёх экземпляров. В один прекрасный день он не пришёл инспектировать паровоз, как мне рассказали рабочие. Потом возник вопрос, где Холман и будет ли он платить за дальнейшую работу. Оказалось, что в бывшей его квартире уже неделю как проживает какая-то пожилая дама, а сам Холман уже давным-давно сел на поезд, идущий куда-то на запад, и был таков.

Я мысленно поаплодировал этому человеку. Он во второй раз всех обманул, причём ровно по той же схеме и даже в том же самом штате! Как и предсказывал нью-йоркский журналист, свой удивительный паровоз он оставил в наследство железнодорожному управлению штата Нью-Джерси. Позже его вернули в состояние «4-4-0» и продали в Канзас, где он успешно работал на Северной железной дороге долгие годы. Как оказалось впоследствии, Холман дважды получал патенты на «тележки-ускорители» — в 1895 и 1898 годах. Всего же у него было шесть железнодорожных патентов разной степени важности. На этом заканчивается первая часть моей истории.

***

Минуло почти тридцать лет. В 1925 году я возглавлял Юго-Восточное отделение Американского патентного бюро. Из инженерного дела я ушёл ещё в 1900-е и достаточно быстро сделал карьеру в патентном деле. Мне нравилось копаться в чужих изобретениях, изобличать их недостатки, находить их устаревшими или повторяющими уже зарегистрированные авторские свидетельства. Я и сам запатентовал ряд мелких усовершенствований в конструкции локомотивов, почти все они так или иначе были внедрены в производство. Много лет проработав с патентами, я научился отличать изначально бесперспективные конструкции от тех, которые могли принести их создателю какую-никакую прибыль.

У меня была жена и двое сыновей, умных и крепких ребят;

младший учился в университете в Принстоне, старший уже работал — как ни странно, в компании Baldwin. Видимо, паровозы — это у нас семейное.

В мои обязанности по работе не входил просмотр многочисленных заявок, поступающих со всех уголков страны. Для этого хватало моих подчинённых. Но, честно говоря, мне нравилось просматривать заявки. С авторами наиболее интересных я встречался лично. Некоторым я безвозмездно помогал пристроить своё изобретение, иным объяснял на пальцах бессмысленность их идеи, в общем, работал в своё удовольствие. Одной из задач профессионального патентоведа является отсеивание откровенных сумасшедших до того, как их заявка пройдёт все бюрократические препоны и возникнет необходимость созывать комиссию. Таким отсеиванием я тоже занимался. Иногда было очень весело беседовать с сумасшедшими, право слово. Я знаю, что нехорошо так говорить, но что поделаешь, буду честен с собой и с вами.

В один из рабочих дней я сидел в своём кабинете и разбирал небольшую стопку заявок, отобранных для меня моим заместителем. В большинстве своём они оказались на редкость скучными или бесперспективными. Но вдруг мой взгляд зацепился за знакомое имя — У. Дж. Холман. Я вытащил патент из стопки и прочёл его.

Как ни странно, он не имел отношения к железной дороге. Это была усовершенствованная конструкция сельскохозяйственного листера. Листер — это особый вид плуга, способный отваливать земляной пласт сразу на обе стороны. Сложно сказать, почему этот патент попал в мою стопку, но я был благодарен судьбе. Значит, старик Холман был ещё жив — сколько же лет ему стукнуло? Правда, у изобретения было два создателя — помимо Холмана, к нему приложил руку некто Джордж Хэйуорд. Но последний был мне малоинтересен (собственно, как и сам плуг — им пусть занимаются мои подчинённые). В первую очередь я хотел поговорить с Холманом. И я поручил моему секретарю найти господина У. Дж. Холмана и пригласить его для индивидуальной беседы, которая поспособствует получению им патента на листер.

На следующий день секретарь сообщил, что мистер Холман проживает в городе Хьюготон, штат Канзас, но именно он приехал для подачи заявки и потому всё ещё находится в Филадельфии, так что пригласить его оказалось нетрудно. Холману назначили на три часа дня, и он появился — минута в минуту.

Он вошёл в мой кабинет, и мне сразу стало его безумно жаль. Сморщенный, маленький старичок, в котором ничего не осталось

от его прежнего величия. Его можно было ещё узнать по чертам лица, но где эта стать, где эта мощь, где самоуверенность и блеск в глазах? Секретарь не преминул узнать по моему поручению, сколько лет господину Холману. Оказалось, что он родился в 1835 году. Значит, когда мы впервые встретились, ему было шестьдесят два, а сейчас — девяносто.

Он поздоровался, немного шамкая ртом, а затем не без труда присел на стул передо мной. Его спасала достаточно дорогая одежда — хорошо скроенный сюртук, новые брюки, начищенные туфли, изящная трость. Но девяносто лет — это серьёзный возраст, от природы не уйдёшь.

Холман смотрел на меня слезящимися глазами и иногда промокал их уголки носовым платком. Он ждал вопросов по своей заявке.

«Мистер Холман, — начал я. — Честно говоря, по вашему изобретению у меня вопросов нет. Всё оформлено прекрасно, если мои подчинённые не найдут аналогов в нашей патентной истории, вы получите патент в течение года. Но у меня к вам есть другой разговор».

Он чуть склонил голову.

«Слушаю вас».

Я невольно остановил взгляд на пигментных пятнах на его лысине. Свой котелок он положил рядом, на второй стул.

«Мистер Холман, помните, как некогда вы разрабатывали тележки для ускорения паровозов?»

Он поднял голову, и мне показалось, что в его глазах я поймал отблеск того самого величия и самолюбия.

«Да, конечно. К сожалению, у меня ничего не вышло».

«Мистер Холман, вы, конечно, меня не помните…»

Он покачал головой.

«Когда-то вы строили три паровоза на заводе Baldwin. Я работал там и проектировал системы освещения для того паровоза, который всё-таки был окончен. Мне тогда было двадцать четыре года, сейчас — уже пятьдесят два, я сильно изменился…»

И тут он меня перебил.

«Простите меня», — сказал он.

Я не знал, что сказать, и пробормотал что-то вроде вопросительного «э-э-э…».

«Простите меня, мистер Джейкобсон. Тогда я был груб и неприятен. Я строил из себя бога, а был просто мошенником. Наверное, я тогда отшил вас или чем-то обидел. Простите меня, старика, хотя бы теперь…»

И он замолчал.

Я был готов пожать его старческую руку и в свою очередь попросить прощения за то, что напомнил о тех временах, когда он был ещё в силе. Но в итоге я сказал:

«Ничего страшного, мистер Холман, это было так давно. Но скажите, пожалуйста, то есть вы тогда всё понимали? Вы знали, что никакого выигрыша в скорости не будет? Или всё-таки вы верили?..»

Он слабо улыбнулся.

«Я верил, мистер Джейкобсон. Я верил, что смогу сделать что-то действительно новое, что смогу сделать мир лучше, а паровозы — быстрее и надёжнее. Но у меня получилось только обмануть и обокрасть людей, которые поверили в меня гораздо больше, чем верил в себя я сам. Вот и всё».

Честно говоря, я так и не понял до конца, что хотел сказать Холман. Он сожалел о том, что обманул людей. Но сознательно ли он их обманул или всё-таки надеялся на то, что его паровоз станет транспортом будущего? Переспрашивать было некрасиво.

Он сидел передо мной, такой маленький и жалкий, что мне захотелось побыстрее выпроводить его, а потом налить себе стаканчик виски. Но я чувствовал необходимость как-то поддержать его.

«Возможно, вы не ошибались, мистер Холман. Возможно, к вашей идее ещё вернутся…»

«Нет, — он покачал головой и поднял на меня глаза. — Я не ошибался, мистер Джейкобсон. Когда я понял, что мне не хватает сил на изменение мира, я отказался от веры и сознательно пошёл на обман. Вы же это хотели от меня услышать?»

Я хотел услышать именно это. Но у меня не хватило сил сказать «да».

«Пожалуй, я пойду, мистер Джейкобсон. Надеюсь, с моим патентом проблем не будет».

Он с трудом поднялся, надел котелок и пошёл к выходу. Я выскочил из-за стола, обогнал его и открыл дверь.

«С дверью я бы и сам справился, мистер Джейкобсон, — он усмехнулся. — Я же всё-таки Холман!»

И вышел.

Больше я никогда не видел Уильяма Дженнингса Холмана. Мне трудно судить этого человека или восхищаться им. Гениальность в нём сочеталась с отвратительными манерами, сила воли — с собственным бессилием. В нём боролись два человека, хороший и плохой, и никто из них так и не смог победить. Именно поэтому мне кажется, что мистер Холман покинул этот мир в состоянии абсолютного спокойствия и внутреннего равновесия.

Окно на шестом этаже

22 ноября 1963 года я провёл в школьном книгохранилище, на шестом этаже. Вам это о чём-нибудь говорит? Думаю, нет: вы всё забыли. Сорок лет прошло. Ещё сорок пройдёт, и вам придётся объяснять, кто такой Кеннеди. А впрочем, это нормально. Мы тоже не слишком-то хорошо помним, кто был президентом США двести лет назад. Адамс или Джонсон, кто их разберёт.

Я тогда молодой был и очень, честно говоря, глупый. День за днём среди книг, и хоть бы одну удосужился в руки взять. Потом, лет уже через двадцать, пожалел и стал навёрстывать. Не то чтобы было поздно, просто чем больше лет, тем хуже знания усваиваются. Я в двадцать лет новый язык бы за год выучил. В сорок — уже за пять лет. А сейчас уже и браться нет смысла…

А тогда я был уборщиком, обычным уборщиком. Ходил со шваброй и целой вагонеткой всяких моющих средств. Пол — это полбеды, и даже подоконники с цветами — мелочь. А поди пыль с книжных полок сотри, когда на них книг — целое море. Так и работал. А что мне делать-то было? Какую ещё работу дадут чёрному без всякого образования, с полузаконченной школой только? Впрочем, платили сносно. Не шибко много, но и не так, чтобы нищенствовать приходилось. Чтобы вы не думали, я потом на механика выучился. Машины ремонтировал, даже свою мастерскую открыл. Но это позже было, и к делу не относится.

Принимал меня на работу мистер Харрисон. Вот же жирюга! Сидел, половину офиса тушей своей занимал. Но добрый. Закрепил за мной этажи с пятого по седьмой. Книгохранилище — это вам не казино и не ресторан, двух-трёх уборщиков на всё здание с избытком хватает. В общем, к концу шестьдесят третьего я работал там уже три месяца и постепенно подыскивал другую работу.

Родом я не из Далласа, конечно, а из Одессы. Нет, не из той, что в России (или это Украина — всегда путаю), а из той, что в Техасе. Но в Одессе мне житья особо не было, вот я и подался в город побольше — счастья искать. Сложно сказать, нашёл или не нашёл. Было хорошее, было и плохое, всякое случалось. Ну да ладно.

В общем, убирал я книгохранилище следующим образом. Начинал с пятого этажа и полз наверх. Самое гадкое — это седьмой этаж, если честно. Потолки высоченные, пока доберёшься

до верхних полок, замучаешься по полной программе. Больше всего мне как раз шестой этаж нравился. Шкафы закрытые, пыли почти нет, полы ровные. И никогда ни одного человека. Ходишь себе королём, песни поёшь. Я ещё думал как-то радиолу приволочь, чтобы музыка была, пока по этажу убираешься.

Не помню, говорил я или нет, но было мне тогда двадцать. И был я дурак дураком. Зато память хорошая, вот и запомнил всё, что там происходило.

***

В общем, во вторник мне в руки попалась газета. А там, на первой полосе, схема того, как кортеж президента должен был ехать по городу. Это сейчас понятно, что лучшей инструкции для киллера не найти, а тогда все наивные были. Думали: народ столпится, приветствовать будет, цветы бросать. Кеннеди же любили все. Если не все, но многие. Молодой, приятный, улыбчивый — не президент, а мечта.

Потом все его ошибки всплыли — и война во Вьетнаме, и Карибский кризис. Но в шестьдесят третьем никто ещё не понимал, к чему вьетнамские события приведут. Зато космическая программа была у всех на виду. «Мы полетим на Луну!» — кричал Кеннеди, и мы поддакивали, да, да, на Луну. И были счастливы, хотя нам с той Луны — никакого толку.

В принципе, верно всё посчитали. Народ с цветами и впрямь столпился. Записи вы видели. В смысле не Запрудера, где Кеннеди уже голову пробивают, а прочие, где по другим улицам кортеж движется. Девочки в белых фартучках, цветочки, президент машет ручкой, Жаклин вся из себя красотка.

Но я вам не про убийство хочу рассказать. То есть про убийство, конечно, но не то, что вы и так знаете. Тут же такая теория заговора, что деваться некуда. Поэтому я уже сорок лет молчу. Но не вечно ж в молчанку играть, я и решил, что можно уже и рассказать. Может, деньжат каких на старости лет подкинут.

В общем, я на схему поездки президента посмотрел и обрадовался: прямо по Эльм-стрит кортеж пойдёт. То есть я всё увижу со своей верхотуры. И президента, и как он рукой машет. Тогда ещё снайперов на крыши для охраны не сажали, я мог спокойно в окно высунуться и до посинения президенту в ответ махать.

Собственно, так я сделать и хотел. Конечно, президент бы меня вряд ли заметил. У него там полно народу по обеим сторонам дороги было. Но я же глупый был, надеялся.

Надо сказать, что народу в книгохранилище работало мало. Причём в лицо я знал разве что толстяка, что меня на работу брал, да Джармена, охранника. Служащих, работавших с выдачей и контролем книг, я вовсе не знал, разве что видел иногда. Но мы с ними редко пересекались. Уборку в основном после окончания рабочего дня делали.

Уборщик в тот день был один, то есть я. Джармен ещё внизу сидел да пара сотрудников учёта. Среди них и Освальд. Тогда я с ним знаком не был. Пару раз видел в холле, и всё. Я даже не думал о том, что он у нас работает. Он мог быть курьером или сотрудником смежной какой организации.

В общем, двадцать второго ноября того самого года я на работу пришёл с самого утра. Думаете, выходной бы следовало сделать? Так его и сделали почти для всех, только не для меня. А я и рад — посижу на шестом, попью пивка, поглазею на кортеж.

Я появился часов в девять, поприветствовал Джармена.

«Ты что рано-то так?» — спросил он.

«Так президент же», — ответил я.

Джармен понимающе кивнул.

«С какого смотреть будешь?»

«С шестого».

«А я, наверное, к дороге подойду», — и он показал мне язык.

Дразнись-дразнись, подумал я. Ещё неизвестно, кому лучше видно будет.

В общем, взял я свои уборочные принадлежности и пошёл на пятый. Кеннеди прилетал в половине двенадцатого, я по пятому как раз успел бы пройтись.

Кстати, как я через площадь шёл, так поражался. Толпа уже стояла! Не то чтобы было очень жарко или холодно, но несколько часов стоять в ожидании тех секунд, что кортеж мимо ехать будет, — это же какую выдержку нужно иметь.

А я работал. Аккуратно вытирал пыль, мыл пол, всё как обычно. Но как-то не терпелось. Хотелось быстрее, быстрее уже усесться у окна. Так ожидаешь бейсбольного матча любимой команды по телевизору. Тогда телевизора у меня, нищеброда, не было, но теперь-то есть. Я, бывает, в воскресенье с утра уже предвкушаю, а в кресло заваливаюсь часа за два до матча. Жена, конечно, недовольна, но не так и много у меня недостатков, такую мелочь и простить можно.

В общем, в половине одиннадцатого я уже на шестой пошёл, налаживать наблюдательный пункт. И тут осенило: магазин-то, куда я за пивом сбегать собирался, закрыт. Точно закрыт, я там проходил, ещё подумал: всё позакрывали на время проезда президента. Вот обида-то. Ладно, и без пива можно было

пережить. Главное, что я бинокль не забыл. Это было очень важно: без бинокля в человеческой массе не то что президента, так даже его машину не разберёшь.

Иду я со своими приборами через шестой, и вот уже заветная комнатка. Она должна быть закрыта по-хорошему, и я уже ключами брякаю — а тут раз! Открыта! Я заглядываю, а там Освальд сидит. То есть я не знал, что его Освальдом зовут. Просто увидел лицо знакомое, вроде как тоже тут где-то работает. Конечно, я сразу понял, зачем он там засел. Тоже хотел на кортеж с удобной точки посмотреть. Я не жадный, места у окна обоим хватило бы. Поэтому я зашёл и сказал:

«Привет».

Он аж отшатнулся.

«Привет».

Его ответ был каким-то неуверенным. Точно он не слишком-то хотел кого-то видеть, и я ему серьёзно помешал. Но ничего сказать он не мог. Шестой этаж был моей вотчиной.

«Я — Джерри», — представился я.

«Харви».

Мы пожали друг другу руки.

«Кортеж поглядеть?» — спросил я.

Он кивнул.

Комната была большая, почти зал, угловая. Окна были в обеих стенах, можно обозревать всю площадь. Тут стояли ящики для временного хранения учебников, ещё не рассортированных по полкам и классам. Харви сидел на складном стульчике. Рядом с ним к ящикам было прислонено что-то длинное, в чехле. Тогда я не догадался, но вам-то всё понятно. Это был тот самый карабин «Каркано» M91/38.

«Вы в каком отделе работаете?»

Мне очень хотелось завязать беседу. Сидеть больше часа в комнате с мрачным молчуном мне совершенно не улыбалось. Лучше уж в одиночку.

«Каталожном».

«А-а. А я вот убираю».

«Я заметил».

Он был неприятным. Что-то мышиное было в его лице, что-то такое немужское. Но я и теперь не могу объяснить, что. Фотографии Освальда в полной мере не отражают этого.

Я оставил в комнате тележку со швабрами и пошёл за креслом. Кресло у меня стояло в подсобке, старое, но уютное и удобное. С некоторыми усилиями я всё-таки его приволок в комнату. Освальд сидел в той же позе.

«Да расслабьтесь вы! — сказал я. — Пива у вас нет, кстати?»

«Нет».

«Жаль».

На площади царила суета. Люди бегали туда-сюда, толпа накапливалась. Президентский самолёт должен был сесть с минуты на минуту, а от аэропорта до площади Дили Плаза ехать от силы минут пятьдесят, даже если очень медленно.

«Как муравьи, право слово», — заметил я. Освальд не ответил.

Я смотрел в окно. Погода стояла прекрасная, в воздухе висело какое-то ощущение праздника, что ли. Хотелось даже не пива, а мороженого. И воздушный шарик, и в детство.

А потом Освальд спросил: «Как вас зовут, вы сказали?»

«Джерри».

«Джерри, я не думал, что вы будете здесь. Но теперь мне придётся кое-что вам рассказать. Вы кажетесь мне честным и открытым человеком».

«Ну… — промямлил я. — Наверное. Расскажите».

«Только сначала поклянитесь никому и никогда не рассказывать то, что услышите от меня».

Я удивился, но поклялся именем Господа. И своей мамой тоже поклялся для верности.

Тогда Освальд сказал:

«Президента хотят убить».

Я присвистнул, воспринимая его слова как шутку.

«Ничего себе!»

«Я не шучу, Джерри. Сегодня, когда кортеж будет проезжать по Дили Плаза, на президента Кеннеди будет совершено покушение».

Я нахмурился.

«И кто же его совершит? Вы?»

«Нет, — он покачал головой. — Моя задача — спасти президента. А теперь это не моя, а наша задача».

Спасти президента. Это звучало весомо, не откажешь. Но, честно говоря, я ощущал себя идиотом.

«Так, может, я сбегаю за полицией?» — спросил я.

«Ни в коем случае! — Он вскочил с места. — Полиция нас арестует и будет ещё три дня дознание проводить. А президент будет проезжать тут меньше чем через час!»

В принципе, я был не против отсутствия полиции. Полицейские тогда чёрных не очень-то жаловали. Раз чёрный — значит, вор и дегенерат. Слово белого против слова чёрного — всегда побеждал белый.

«Смотрите сюда, — сказал Освальд, подзывая меня к окну. — Откуда-то будут стрелять. Где-то там человек с винтовкой».

Я стал искать глазами человека с винтовкой, но с такого расстояния, да ещё в толпе, ничего не разглядеть.

«Да нет, нет, не сейчас. Сейчас он где-то прячется. Но когда кортеж будет выезжать на Дили Плаза, он проявит себя. Винтовка будет уже наготове. Нужно будет засечь его».

«И что, — спросил я. — Мы крикнем ему «не стреляй»?»

«Нет, — покачал головой Харви. — Я его застрелю».

Вот тогда он расстегнул чехол и достал свой «Каркано». Винтовка была в сборе, только оптический прицел Харви извлёк отдельно и стал пристраивать к оружию. Честно говоря, тогда я как раз подумал, что Освальд и есть человек, готовящий убийство президента. Но побежать всё-таки за полицией я не решился. Мало ли что, выстрелит ещё мне в спину. Всё-таки пушка в руках, не хухры-мухры.

«Наша задача, Джерри, следить, — сказал он. — У вас нет радио?»

Я покачал головой.

«Жаль. Тогда придётся следить внимательно всё время от посадки самолёта до появления кортежа на площади. И особенно — когда президента будут везти под нашими окнами».

Я сел.

«А откуда вы знаете, что президента пытаются убить?» — спросил я.

Он посмотрел на меня внимательно, очень внимательно.

«Потому что я — один из тех, кто разработал план».

А потом он рассказал мне свою историю. Говорил он довольно долго и не очень-то складно. В середине рассказа мы переместились к окну, чтобы иметь возможность параллельно «шерстить» глазами площадь. Иногда я перебивал его вопросами, но в целом монолог Освальда выглядел цельным. Закончил он примерно в десять минут первого, то есть за двадцать минут до проезда кортежа.

Я постараюсь пересказать историю Освальда своими словами. Я попросил жену её немножко «причесать», жена лучше разбирается в том, как красиво всё изложить, у неё образование получше. Так что тут без прибауток будет.

В общем, биография Освальда, которую можно найти в различных справочниках, близка к реальности. Бросил школу, служил морпехом, научился работать со снайперкой, потом каким-то хитрым образом уехал в СССР, где жил в Минске. Там женился, жена родила ребёнка, работал на заводе, хотел стать советским гражданином, но всё-таки вернулся в США. В Минске Освальд вёл лёгкую и беспечную жизнь. Он рассказывал, что платили ему весьма прилично, но эти деньги совершенно некуда

было потратить. Ничего — ни тебе ночных клубов, ни ресторанов, ни боулинга. Единственной его отдушиной были женщины, он заводил роман за романом, на американца «клевали» легко. Даже женился он на своей Марине, чтобы досадить другой виснущей на нём девушке. А потом обнаружил, что влюбился в жену.

Интересная штука была с его дочерью. Он хотел назвать её Джун Марина Освальд. Но при регистрации ему сказали, что по советским законам должно быть отчество, то есть второе имя по отцу, и никак иначе. И дочь стала Джун Лиевна Освальд. Вернувшись в США, он поменял это имя на Джун Ли Освальд, потому что русское «лиевна» выглядело смешно. На момент знакомства у Освальда было уже две дочери, второй только-только месяц исполнился…

Потом я много читал о семье Освальдов. Хотя с Харви я разговаривал от силы полтора часа, поверить не могу, что он действительно бил жену, что она хотела вернуться обратно в Россию. Он показался мне логичным таким, спокойным.

А в 1962 году, проживая в Новом Орлеане, Освальд стал членом антикастровской группировки. Ну, эта борьба против Кастро и коммунистов была просто ширмой, прикрытием. Основной целью группировки являлся, как ни странно, мир во всём мире и рай на Земле. Только вот добиваться этих высоких целей ребята планировали исключительно с помощью оружия. Первым шагом к миру во всём мире был, конечно, захват верховной власти в США. В общем, по рассказу Освальда выходило, что это толпа малолетних придурков, вроде агрессивных хиппи, что ли.

Но, конечно, они могли хоть сто лет сочинять свои манифесты и раскидывать листовки по улицам. Им даже оружие толком негде было взять. То есть пистолет-то можно было купить свободно, но с пистолетом против охраны Белого дома не попрёшь.

Тут-то и появился на горизонте Дэвид Этли Филлипс. Основной его работой была организация спецопераций ЦРУ на Кубе; в связи с этим он приглядывал за большинством американских прокастровских и антикастровских движений. Так вышел и на компанию, к которой притесался Освальд. Называлась она, кстати, гордо: «Белые львы». В те времена все придумывали себе красивые и бессмысленные названия.

Филлипс довольно быстро нашёл общий язык с руководителем «Львов» Гарри Смэдли. Он предложил ему бескорыстную помощь, убедив в том, что ЦРУ тоже хочет мира во всём мире и готово поставить Смэдли во главе нового государства. Тот купился, тем более что Филлипс предоставил

«Львам» оружие. Настоящее — несколько гранат, несколько автоматов и винтовку. Ту самую, из которой якобы был застрелен президент.

Уже было ясно, что Кеннеди собирается проводить жёсткую внешнюю политику. Он отправил во Вьетнам несколько регулярных военных частей, посылал войска на Кубу. Стремление Кеннеди к усилению внешнеполитического и военного влияния США очень раздражало Смэдли. И Филлипс вовсю этим пользовался. Он легко убедил главного «льва» в том, что единственный выход из ситуации — это убийство Кеннеди.

Но Филлипс-то понимал, что молодые придурки с фантастическими целями могут напороть по полной программе. Поэтому он собирался использовать их только одним способом — в качестве козлов отпущения. Настоящим убийцей должен был стать профессионал, корсиканец Люсьен Сарти, уже подготовленный к будущему делу.

Откуда такие подробности знал простой член организации Освальд? Так он и не был дураком или фанатиком. Организация ему нужна была в первую очередь как средство; «львов» можно было уболтать на всё, что угодно, а Освальд любил и умел манипулировать. В принципе, ещё пара месяцев — и он был сместил Смэдли.

Филлипс испортил Освальду жизнь. Абстрактные заявления ушли в прошлое, у Смэдли появилась цель. Тогда Харви связался с Филлипсом и откровенно рассказал ему, что обо всём догадался. Что понимает необходимость в козлах отпущения, на роль которых выбраны «львы». В принципе, Освальд предлагал Филлипсу своё портфолио. «Возьмите меня на работу в ЦРУ», — говорил он. Я не дурак, я могу быть полезен.

Филлипс был не против. Освальд стал двойным агентом. Теперь он контролировал действия «львов» изнутри. Именно через него был передан тот самый «Каркано», которым кто-то из «львов» якобы должен был убить президента.

И тут на Освальда снизошло откровение. Чем дальше он общался с Филлипсом и «львами», тем меньше понимал, зачем нужно убивать Кеннеди. У Филлипса и его организации были какие-то политические или экономические причины. Но у Освальда таких причин не было. Он просто хотел побольше денег, которые можно тратить на семью и на развлечения, вот и всё. Да и молодой он был совсем. Двадцать четыре года — это ли возраст?

В общем, постепенно в нём зрело ощущение того, что убийство нужно предотвратить. К тому времени, когда операция была уже спланирована, Освальд знал практически все её детали.

Группировка ожидала прибытия Кеннеди в Даллас (о предстоящем предвыборном туре стало известно летом шестьдесят третьего). Расписание и маршрут были расписаны заранее. Освальд тогда уже жил в Далласе и работал в книгохранилище. Конечно, «убивать» Кеннеди должен был не он, а другой участник группировки «львов», Джим Слейтер. Слейтер был подробно проинструктирован. Освальд должен был провести Слейтера в здание и обеспечить точку для стрельбы. Филлипс и Освальд понимали, что «Каркано» не обладает достаточной точностью, да и Слейтер слишком плохой стрелок, чтобы «снять» Кеннеди с такого расстояния. Но «львам» активно внушалось обратное.

Настоящий убийца должен был занять позицию на травяном холме чуть дальше по Эльм-стрит. О нём, корсиканце Сарти, Освальд почти ничего не знал, да и видел всего один раз. Но если Филлипс кому-то доверял некое дело, значит, человек того стоил.

К середине ноября Освальд окончательно убедился в том, что президента нужно спасти. Он мог сделать это по-разному. Собственно, я и спросил у него, почему он просто на холме не стал «дежурить». Увидел бы Сарти, да и вышиб бы винтовку. Но оказалось, что про холм Освальд слышал только какие-то отрывочные сведения. То есть он толком не был уверен, что Сарти будет там. Из окна холм виден отлично, а у Освальда была снайперская подготовка. Он надеялся «снять» убийцу, прежде чем тот выстрелит в президента. С шестого этажа можно было обозревать всю площадь; хотя в первую очередь Освальд планировал искать на холме, он не должен был упускать из вида и другие возможные точки обстрела.

А в комнате с «Каркано» должен был сидеть Слейтер.

«И где он?» — спросил я.

«Связан, — ответил Освальд. — У себя дома в подвале. Думаю, освободится через пару часов. Но к тому времени всё будет кончено».

Да, подумал я. Отличный план. Госнаёмник убивает президента, в то время как с хорошо заметной точки по президенту стреляет участник организации недоделанных террористов. Последнего берут. Он гордится тем, что убил Кеннеди. Его сажают на электрический стул. Наёмник и заказчики исчезают без следа. Блестящий план. Ха-ха-ха.

Освальд и в самом деле мог всё разрушить. Но я подумал о другом:

«А если он попадёт, а вы — промажете? Вы ж займёте место Слейтера».

Он посмотрел на меня.

«Не будем об этом думать».

Через некоторое время Освальд снова обратился ко мне.

«Сотрите все отпечатки, Джерри. Мы тут работаем, и я, и вы. Но в этой конкретной комнате лучше чтобы наших отпечатков не было».

Я последовал его совету.

Где-то в двенадцать десять мы напряглись, всматриваясь в окрестности всё внимательнее. Искали человека с чехлом, с чемоданом, с рюкзаком. У Освальда, как и у меня, был бинокль — он прихватил его для наблюдений. Конечно, он мог искать через оптический прицел, но согласитесь, торчащее из окна накануне появления кортежа ружьё выглядело бы слишком привлекательно для полиции. Поэтому мы внимательно прочёсывали площадь через бинокли.

Но мы ничего не находили. Площадь была забита народом, стоял галдёж, люди бегали туда-сюда; опознать среди них убийцу было нереально.

Я рассматривал и холм, на который указал Освальд. Ничего там интересного не было. Несколько человек пересекали его порой, чтобы найти более удобное место для наблюдения. И всё, ничего такого особенного.

Я ощущал какой-то откровенный идиотизм ситуации. Ну, сами поглядите: я и человек со снайперкой сидим на шестом этаже книгохранилища, чтобы убить убийцу президента. Это же комедия какая-то.

Час «Ч» приближался. По площади начал прокатываться рокот. Это значило, что кортеж уже где-то неподалёку — шумовая волна всегда бежит по толпе раньше, чем её возбудитель. Чёрт, заумно выразился. Вы не смотрите, что я иногда начинаю простословить, а иногда вдруг красиво говорю. У меня всегда так — рывками. То есть воспитали меня плохо, зато потом учили хорошо. Ну и наложилось.

Неожиданно Освальд оборачивается ко мне и говорит:

«Если что пойдёт не так и я вдруг попадусь, или меня убьют, запомни: за всем стоит Линдон Джонсон, вице-президент. Если Кеннеди погибнет, он станет президентом, а потом уж позаботится, чтобы никто не помешал ему переизбраться».

Я подумал тогда: ну да, запомню. Ну и что? Что я-то смогу сделать? Пойти в полицию и сказать: Кеннеди заказал Джонсон? Нет, конечно.

Но Освальд был уже в своём мире. В мире, где на травяном холме прятался корсиканец-убийца, которого нельзя было упустить.

Мы ждали Кеннеди. Я тоже смотрел на площадь во все глаза.

Было 12.20. Потом — 12.25. Кортеж должен был подъехать, если верить расчётам, с минуты на минуту.

И мы ждали. Мы сидели и ждали. А потом Освальд вдруг сказал: «Вижу!»

***

Он отбросил бинокль. Прямо вот так взял и отбросил. Правда, тот упал в мою тележку, а там были половые тряпки, и он не разбился. Освальд схватил винтовку и стал целиться. Я всматривался в холм, но ничего не мог разглядеть.

«Чёрт, — выругался Освальд. — Только что он появился. Мелькнул — и всё. Я его в бинокль засёк, а через прицел — не вижу. Сейчас бы подстрелить…»

На холме никого не было. У меня аж глаза заболели от напряжения.

Гул толпы уже был так силён, что мешал даже перебрасываться короткими фразами. Освальд заметно нервничал. Прицел его винтовки ходил ходуном: видно было невооружённым взглядом.

Кортеж появился на площади. Первая машина вывернула с Мейн-стрит на Хьюстон-стрит, затем повернула на Эльм-стрит. Затем появилась вторая — открытый чёрный лимузин. В бинокль я хорошо видел его пассажиров — президента Кеннеди и его жену на последнем ряду, какого-то неизвестного мне мужика и женщину на среднем, шофёра и агента в тёмных очках на переднем. Уже потом я узнал, что «неизвестными» были губернатор Техаса Джон Конналли и его супруга Нелли.

Их машина уже сворачивала на Эльм-стрит, когда Освальд снова произнёс: «Вижу!»

Его голос звучал твёрдо, и он мгновенно выстрелил. Отдачей его толкнуло назад, а мне заложило уши. Но даже при этом я услышал ещё один выстрел, а потом ещё один — но стрелял не Освальд. У Харви что-то заело в винтовке, и он судорожно перезаряжал её. А потом снова начал стрелять. Я, честно говоря, вообще не видел настоящего убийцу и не понимал, в кого стреляет Харви.

А потом он отложил винтовку в сторону и посмотрел на меня.

«Нет», — он покачал головой.

Я не услышал его слов, но жест понял. Он промахнулся или не успел. Но я ещё не знал, убил ли Сарти президента. Я хотел выглянуть в окно, но Освальд оттащил меня в сторону.

«Дурак! — закричал он. — Не высовывайся. Они не знают, что ты здесь, видели только белого с винтовкой».

Я понял и стал лихорадочно собирать свои вещи.

«Вали!» — Освальд показывал на дверь.

Я сорвался с места, как бешеный, и убежал. Я нёсся через шестой этаж, моя чёртова телега грохотала и чудом не перевернулась. Я не видел, как уходил Освальд. Я поднялся по технической лестнице на этаж ниже (на пятом, скорее всего, были служащие, тоже глазевшие на кортеж), разложил там вещи, точно занимался уборкой, а потом побежал вниз.

Внизу меня встретили Джармен и ещё один сотрудник, которого я не знал. Впоследствии оказалось, что это непосредственный начальник Освальда, Рой Трули.

«Что случилось?» — завопил я.

Вероятно, я даже чуть-чуть переиграл.

«Кажется, в Кеннеди стреляли», — ответил Джармен.

«Откуда?»

«Не знаю. Где-то тут, похоже. Надеюсь, не от нас…»

На самом деле, определить, откуда стреляли, было ох как непросто. Часть свидетелей слышала выстрелы Сарти, часть — выстрелы Освальда. Источники находились на разных концах площади, и потому возникла порядочная путаница. Никто и в самом деле не догадывался, что стреляли именно из книгохранилища. Я не знал, остался ли Освальд в здании или успел смыться.

Мы стояли в холле и толком не понимали, что делать. Оптимальным вариантом могло стать возвращение к работе. Только я боялся возвращаться. Ведь я автоматически попадал в число подозреваемых, работая на том же этаже, откуда стрелял Освальд.

Минут через пять мы увидели полицию. Точнее, двух полицейских, беседующих у крыльца с неким человеком. Тот показывал на книгохранилище, куда-то наверх. Я понял, что это свидетель, который слышал выстрелы.

Полицейские вместе со свидетелем вошли внутрь. Джармен поприветствовал их.

Первый полицейский представился сержантом Майлзом и сказал:

«Мистер Бреннан утверждает, что выстрелы раздавались из этого здания. Может ли кто-нибудь подтвердить это?»

Тут Джармен меня удивил. Ещё несколько минут назад он ни в чём не был уверен, а теперь вдруг сказал:

«Да, кажется, сверху. От нас».

«Никто не выходил из здания в последние несколько минут?» — спросил Майлз.

«Только один из наших сотрудников, Ли Освальд», — встрял Трули.

Значит, Освальд всё-таки успел уйти. Конечно, он зря это сделал. Резоннее было аккуратно спрятать винтовку и вернуться к работе. Вероятно, сработало нервное возбуждение и огорчение от неудачи миссии.

«Что с президентом?» — спросил Джармен.

«Пока неизвестно. Его увезли в больницу», — ответил полицейский.

Он повернулся к свидетелю.

«Мистер Бреннан, думаю, сейчас вы можете быть свободны. Я зафиксировал ваши данные; вероятнее всего, вас вызовут повесткой».

Бреннан поблагодарил и исчез.

Полицейский обратился к нам:

«Господа, — сказал он. — В здании есть ещё сотрудники?»

«Да, — ответил Джармен. — Ещё четверо, плюс Освальд вышел».

«Хорошо. Я прошу вас созвать их всех сюда. Джонсон, — он обратился к напарнику, — проверь остальные этажи. Кто может быть гидом?»

Джармен сразу указал на меня:

«Джерри Квинс. Он уборщик, каждый угол знает».

«Мистер Квинс, — сказал Джонсон, — как вы думаете, с какого этажа могли стрелять?»

Гораздо позже я понял, что проверяли все высокие здания, из которых могли нанести удар, не только наше. Но тогда я ужасно боялся. Я был уверен, что сейчас меня арестуют и отправят на электрический стул за преступление, которого я не совершал.

Поэтому я постарался максимально запутать полицейского. По дороге он задавал мне разные вопросы.

«Вы слышали выстрелы?»

«Да».

«Стреляли из этого здания?»

«Не знаю. По мне так они довольно глухие были».

«На каком этаже вы работали?»

«На седьмом».

Первым делом он предложил отправиться на седьмой. Там он нашёл мою моечную тележку. Слава богу, он не заглянул под тряпки, куда я на всякий случай спрятал бинокль. Все помещения, окна которых выходили на южную и западную стороны, были закрыты на ключ. Я достал связку ключей и поочерёдно открывал их для Джонсона. Он посматривал на связку с подозрением. В принципе, основания для того были. Тем не менее нигде не было и следа человеческого присутствия; все окна были закрыты. На боку у Джонсона засвиристела рация.

«Да. Хорошо. Понял», — вот и весь разговор.

«Шестой этаж, угловое окно», — сказал он мне.

Судя по всему, Освальд не додумался опустить раму, и открытое окно заметили снаружи. Мы отправились на шестой этаж. По дороге рация Джонсона снова заработала. На этот раз он выслушал сообщение молча, после чего повернулся ко мне.

«Президент умер», — сказал он.

Я смолчал. Честно говоря, я не испытывал особой скорби. Лично для меня президент Кеннеди не сделал ничего хорошего. Впрочем, плохого тоже.

Пока мы шли по коридору, я молился, чтобы не случилось никакого казуса, чтобы в комнате не осталось никаких моих следов. Отпечатки я, кажется, все постирал. Хотя мог что-то и пропустить. Плюс ко всему, я не знал, какие следы оставил за собой Освальд.

Я старался не показывать своего волнения. Кажется, у меня получилось. По крайней мере, верный ключ нашёлся с первой попытки, да и дверь открылась сразу. Мы с Джонсоном вошли внутрь.

Джонсон прошёлся по комнате. Тут было прохладно, через окно проникал лёгкий ветерок.

«А вот и оно», — сказал полицейский.

У стены за коробками с книжками стояло ружьё. Матерчатый чехол валялся чуть подальше.

Джонсон вызвал напарника и подкрепление.

В его словах «Я нашёл!» слышались торжествующие нотки. Конечно, теперь ему выдадут премию, вероятно.

«Ты на этом этаже убирал?» — спросил он.

«Нет пока».

Это было правдой.

«У кого ещё есть ключи?» — «Много у кого. У отдела учёта, у охраны, ещё кто-то себе личные копии делает, кому часто нужно в разные комнаты». — «Понятно. У этого… Освальда мог быть ключ?» — «Не знаю. Я просто уборщик. Может, и был». — «Ладно. Пока свободен. Но с работы не уходи, будет общий сбор сотрудников».

Я кивнул и ушёл. Мне стало немного спокойнее. Обидно было только, что награды за спасение президента не видать…

***

Что дальше было, вы и без меня знаете. В тот же день Освальд убил полицейского, который остановил его, а ещё часом позже его взяли. Через два дня его застрелил Джек Руби,

владелец ночного клуба, с целью отомстить за любимого президента. Я понимаю, что это глупости. Скорее всего, Руби был пешкой Филипса (или Линдона Джонсона, если брать выше). Версия о выстрелах с травяного холма была признана «конспирологической» (вот словечко-то выдумали). По официальным данным расследования тридцать пятого президента США Джона Фицджеральда Кеннеди убил Ли Харви Освальд из окна шестого этажа школьного книгохранилища штата Техас.

Меня несколько раз таскали на допросы, как, впрочем, и всех остальных сотрудников книгохранилища. Но толком ничего не выяснили. Я надевал маску дурака-уборщика. В принципе, таким и был, если уж честно.

У Освальда осталась вдова и две дочери. Позже я читал интервью с младшей. Когда она училась в школе, у неё был непробиваемый козырь против любого хвастовства одноклассников. Они говорили: у меня красивые серёжки, у меня новая кукла, у нас два телевизора. А она отвечала: а мой папа убил Кеннеди. И все затыкались.

Линдон Бэйнс Джонсон стал президентом США в день убийства своего предшественника, а позже выиграл выборы и стал президентом во второй раз. Так как первый его срок был чуть менее двух лет, он имел право снова баллотироваться в 1969 году, но решил этого не делать, потому что был не слишком популярен у народа. Впрочем, если бы у меня было право голоса на выборах 1965 года, я бы отдал его Голдуотеру. Он, конечно, был параноик и ненавистник красных (при нём шансы на войну с СССР возросли бы в сто раз), но он хотя бы не убивал своего предшественника.

В общем, прошло сорок лет. Все эти годы я молчал, потому что не видел смысла говорить. Не погибни Освальд, я бы, вероятно, выступил на суде в его защиту. А тут… Защищать было некого. А процесс «Джерри Квинс против Линдона Джонсона» звучит смешнее, чем шуточки Джорджа Карлина.

Но, если вы опубликуете мою историю, мне будет очень приятно. Может, ко мне приедут и даже интервью возьмут. Ведь я не кто-то там, а человек, который пытался спасти Кеннеди. И честно могу рассказывать «а вот как-то мы с Ли Харви…».

Такие дела.

Монолог охотника за привидениями

Добрый день.

Мне не хочется «светить» своё настоящее имя. Прочтёт ещё кто-нибудь из знакомых, будет считать меня психом. А я не псих. У меня с головой всё в порядке. Поэтому пусть будет Джон. Это проще всего: Джон. Джонов в Америке — тьма тьмущая.

В 1985 году мне было двадцать девять, и я был мошенником. Талантливым, профессиональным и матёрым обманщиком. Больше всего мне нравились пожилые одинокие дамы в качестве клиентов.

Впрочем, насчёт мошенничества я погорячился. Я никогда не обманывал их, если говорить о результате. Все шумы, странные шаги на чердаке, стуки в ванной, вздохи за стеной после моей работы бесследно пропадали. Поэтому я заслуженно получал свои деньги.

Годом ранее Айвен Райтман исковеркал понятие «охотник за привидениями», выпустив на экраны свою комическую нетленку с Биллом Мюрреем в главной роли. Каким бы смешным и приятным ни был этот фильм, он серьёзно подпортил репутацию нашей братии. Если раньше охотника за привидениями воспринимали таким, какой он есть, то после выхода райтмановского шедевра у нас стали спрашивать: а где ваш заплечный ядерный реактор? Где ваш протонный излучатель? Где позитронная ловушка? Более того, львиная доля вызовов начала поступать от сумасшедших, уверявших, что у них на чердаке живёт Лизун. Наконец, наши доходы заметно снизились из-за сумасшедшего роста конкурирующих организаций. Вот их-то можно было назвать шарлатанскими. Потому что их «специалисты» действительно носили за спиной «протонный» ранец, радующий глаз глупых клиентов.

Я был настоящим охотником. Оборудование у меня было довольно современное: переносной сейсмограф, счётчик Гейгера, ряд кинокамер, подключаемых к портативному компьютеру. Меня вызывали, когда на чердаке слышался звук шагов, а на стекле каждое утро появлялись нацарапанные изнутри перевёрнутые кресты. Иногда после настоящей работы приходилось проводить сеансы демонстрационного экзорцизма, чтобы клиент поверил в то, что привидение убралось прочь, а чёрт отправился обратно в свою Преисподнюю.

На самом деле я всегда искал настоящую причину

беспокойства. Например, одна дама страшно волновалась из-за странных стуков на кухне. Будто кто-то в пол снизу постукивает. Причём только по ночам, днём — тишина. Вызвала меня.

Сначала я думал, что это крысы. Разобрал паркет (дама была из состоятельных, дом не гипсокартонный, а кирпичный, и полы добротные, деревянные), а там — фундамент. То есть подпола нет, никаким крысам там не ужиться. Всю ночь дежурил и засёк этот стук — он точно из бетона доносился. Казалось, там замурован человек, который стучит какой-то железякой изнутри, так на азбуку Морзе было похоже.

Ох, много времени я потратил на тот дом. Всё исследовал вдоль и поперёк. Записал сотню, наверное, лент сейсмографа. Постепенно нашёл источник колебаний: им оказалась старая канализационная труба начала двадцатого века, входившая в фундамент где-то в ярде под землёй. Хозяйка подтвердила, что дом построен на старом фундаменте. Я начал отслеживать движение звука вдоль трубы. Работать приходилось ночью, потому что днём труба безмолвствовала. А потом я, наконец, понял, в чём проблема.

Ночью холодало. Предметы сжимались, труба — тоже. И она начинала «ходить» в одной из таких же старинных, как она сама, опор. Металл бился о металл, и возникал тот самый пресловутый звук, который успешно доходил до дома и там резонировал в бетонном фундаменте. Когда пригревало солнце, труба расширялась и не вибрировала. В общем, я зажал трубу несколькими камнями, забил туда раствора — и всё, стук прекратился.

Вы можете спросить — в чём же я смошенничал? В том, что я не рассказал хозяйке ничего из того, что только что изложил вам. Ей я рассказал про призрак бывшего мужа прежней владелицы старого дома. Муж по моей версии был замурован в подвале, который находился под кухней, и вот уже сто лет как пытается оттуда выбраться. А я его выпустил, и всё, он улетел в рай. Этому объяснению дама поверила с радостью. А все эти трубы, температурное расширение, резонанс для неё были тёмным лесом. Ну и содрал я с неё, конечно, раз в пятьдесят больше, чем взял бы за такую же работу строительный рабочий.

Много было таких случаев. Помню, другая дама начала видеть на стенах квартиры женскую тень. Оказалось, что тень падала из окна соседней квартиры (дом изгибался углом в этом месте). «Изгнал» я призрака путём визита к соседке и просьбы переставить куда-нибудь лампу.

Ладно, перейду, собственно, к моей истории.

Это случилось весной 1985 года в городке Бокс Элдер близ

Рапид-Сити в Южной Дакоте. Жило там от силы две тысячи человек, зато туристы съезжались со всей округи, потому что в Бокс Элдере нашёл себе место Аэрокосмический музей Южной Дакоты, туристическая мекка штата. Мне, честно говоря, музей был неинтересен, потому что город обещал некоторый доход. Точнее, одна из жительниц города.

Она нашла меня по телефонному справочнику. Там честно написано: охотник за привидениями. Гарантированно избавит ваш дом от призраков любого толка за считаные часы. Несмываемое кровавое пятно на паркете? Это ко мне. Мертвецы выходят из зеркала и забираются в вашу кровать? Это тоже ко мне. Гарантированное избавление от любых явлений, если только они не связаны с расстройством рассудка.

С двухсот тридцатого шоссе я свернул на Коттонвуд Драйв и через несколько минут был у дома клиентки. Дом выглядел довольно ветхим. Я тщательно подготовился, изучив историю города и по возможности историю дома. Поселение было основано в 1907 году, в 1965 — получило статус города. Ничего значимого в истории Бокс Элдера не происходило, помимо основания Аэрокосмического музея.

Фотографий города в прессе я не нашёл, да и вообще все упоминания, которые я раскопал, относились к моменту открытия музея, а также к экспозиции последнего. И к местной авиабазе, на территории которой находился музей. Моя клиентка, судя по карте, жила в старой части Бокс Элдера, около реки.

Реальность подтвердила справедливость карты. Дом мисс Карпентер стоял у самой воды, и на вид ему было лет двести. Хотя разум подсказывал мне, что на самом деле — не больше семидесяти. Просто он плохо сохранился.

Старые перечницы, даже если были некогда замужем, очень любят называться «мисс». Это возвращает им частицу юности. Самое неприятное, если они и в самом деле начинают верить в собственную молодость и приставать к вам с различными непристойностями, потому что вы — молодой и симпатичный. А вы едва сдерживаете рвоту при виде их усохших «прелестей». Этого я и опасался, когда выбирался из своего пикапа и шёл к дому. Пикап у меня был довольно новый — «Додж Рэм Д150» 1981 года; я купил его трёхлетним и за год службы он ни разу меня не подвёл.

Место жительства мисс Карпентер являло собой типичный «дом с привидениями», как его обычно показывают в кино. Скрипучие ступеньки на крыльцо, покосившиеся ставни, облезлые стены, отделанные дранкой. Я представил, что сейчас меня встретит взлохмаченная старуха, от которой несёт плесенью, и

даже остановился. «Может, ещё успею уйти?» — подумал я.

Кстати, за визит я брал деньги в любом случае, чтобы компенсировать затраты на дорогу. Бензин всё-таки не бесплатный. Далеко не каждый сумасшедший из тех, кому я помочь не мог, сразу соглашался оплатить визит, не давший результатов.

Но уйти я не успел. Дверь открылась, хотя я даже не нажал на кнопку звонка. Собственно, я этой кнопки вовсе и не видел. Может, её и не было совсем.

На пороге стояла женщина лет сорока. Типичная такая старая дева. Очки в уродливой оправе, покатый, как у грызуна, подбородок, жидкие волосы мышиного цвета.

«Добрый день! — сказал я. — Меня зовут Джон, я к вам по звонку о привидениях».

«Заходите», — сказала она.

Внутри дом был точно таким, каким я его себе представлял. Ветхим, пыльным, наполненным загадочными скрипами и неприятными запахами. Как тут можно было жить, я не понимал. Дом производил угнетающее впечатление.

«Его всё порываются снести, — повела она рукой, что должно было обозначать указание на дом, — но я не позволяю. Тут жила моя бабушка. И моя мама».

Прямо какие-то ведьмы, подумал тогда я. По наследству передавали дом, тайное знание и жуткие очки в громоздкой оправе.

«Расскажите, пожалуйста, в чём ваша проблема», — попросил я.

Оборудование я пока что оставил в машине, взял с собой только карманный счётчик Гейгера и компас. Первый — для красоты. Он эффектно пикает и показывает загадочные циферки, которые любит клиент. Второй подсказывает, нет ли где поблизости источника магнитного излучения. Это частенько является причиной сдвигов по фазе. Я, конечно, не доктор, но заметил одну штуку: если компас сбоит, значит, у клиента точно не все дома. Был один, помню, который жил около свалки радиоактивных отходов и регулярно видел призрак собственного папаши. Компас там прыгал как сумасшедший. Впрочем, это к делу не относится.

Мы миновали коридор, и хозяйка отперла одну из комнат.

«Вы живёте одна?» — спросил я.

«Да».

Держать комнату запертой при том, что живёшь одна, — это уже не слишком нормально.

В комнате было ещё более пыльно, чем в остальной части

дома.

«Здесь», — сказала она и щёлкнула выключателем.

Мисс Карпентер (если это была она) смотрела на меня выжидающе. Она имела манеру говорить, экономя слова, будто каждое новое слово отбирает у неё частичку души.

Стоит описать вам комнату, ведь именно здесь разыгрались основные акты этой драмы.

Помещение было прямоугольным, где-то пятнадцать на десять футов, дверь располагалась в той стене, что поуже. Напротив двери было окно, закрытое снаружи ставнями. Справа у стены стоял узкий диван, под окном — рабочий стол, слева — три шкафа один за другим. Вся мебель — начала века, слишком громоздкая для такой маленькой комнатушки. В комнате было очень, очень тесно.

«И что же здесь? По телефону вы ничего не рассказали…» — протянул я.

Она покачала головой и, миновав меня, вошла в комнату.

«Здесь живёт моя бабушка», — сказала она.

Я недоумевал. В принципе, я понял её идею. Бабушка умерла, когда-то она жила в этой комнате, потом здесь стал появляться её призрак. Стандартная сказка. Вероятнее всего, клиентка слышит шаги по ночам (конечно, тут дом сам по себе способен издавать любые звуки). И ещё находит по утрам вещи не на своих местах (сама и перекладывает, лунатичка). Но что-то в её словах было… даже не знаю, как сказать… «другим». То есть интонации отличались от стандартных, которые используются в подобной ситуации.

«И давно она тут живёт?» — спросил я.

«Скорее всего, с тех пор, как умерла».

Мы стояли у входа. Повисло неудобное молчание.

«Мисс Карпентер, — обратился я к ней, — если вы хотите, чтобы я вам помог, вам придётся подробно рассказать мне, в чём проблема, и что вы хотите с ней сделать. Может, вы хотите от неё избавиться. Может, организовать туристические рейды по местам, населённым призраками. Я не умею читать мысли и не знаю, чего вы хотите конкретно от меня».

Она подняла на меня глаза.

«Посмотрите внимательно», — она ткнула пальцем в направлении окна.

Я посмотрел и решительно ничего не увидел. Подошёл поближе. Снова ничего. Стол, стул. На столе — открытая тетрадь, покрытая тонким слоем пыли, стакан с карандашами, стопка пожелтевших газет. Ничего особенного.

«Я ничего не вижу». — «Сядьте на стул».

Я сел.

«Я всё равно, честно говоря, пока что ничего не ощущаю». — «Возьмите карандаш и пишите». — «Где?» — «Где угодно. В тетради, например».

В этой тетради давно ничего не писали, хотя пыль была явно не многолетняя, а примерно двухнедельная.

Я начал писать. Писал то, что в голову взбредало. Сонет Шекспира номер восемьдесят: «O, how I faint when I of you do write, knowing a better spirit doth use your name, and in the praise thereof spends all his might…»

Но я сразу понял, что пишу что-то другое. То есть началось всё с «praise», но слово «spends» уже толком не получилось. Вместо него я вывел начало другого сонета: «Not marble, nor the gilded monuments of princes, shall outlive this powerful rhyme…»Не то чтобы меня кто-то к этому принуждал, но мне вдруг захотелось написать что-то другое. Я убрал руку.

«В чём-либо, кроме письма, это проявляется?» — спросил я.

«Нет. Точнее, да. Иногда ощущается её присутствие. Точно она и в самом деле тут. Оглядываешься — а никого нет. А если начинаешь писать, она отвечает, только невпопад как-то». — «Вы пытались с ней переписываться?» — «Нет. Я обнаружила это только несколько недель назад. Комната долгое время была закупорена. Потом я её открыла, но писать тут ничего не собиралась. Хотела что-то набросать на клочке газеты, а написала непонятную чушь. Попыталась ещё — то же самое. И почуяла её присутствие. А через несколько дней вызвала вас». — «Вы…» — «Я хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы мне принадлежал весь дом».

Она говорила жёстко, чеканя слова, точно генерал перед строем.

«Хорошо, — я поднялся. — Мне понадобятся все бумаги, связанные с вашей бабушкой. Фотографии, письма, официальные документы вроде водительских прав или свидетельства о собственности. Мне нужно знать об объекте всё».

В её глазах промелькнуло одобрение. Мне показалось, что оно связано в первую очередь с тем, что я назвал её бабушку «объектом», а не с деловым подходом.

«Пойдёмте», — сказала она.

«Постойте, — позвал её я. — А чей это портрет?»

На столе и в самом деле стояла фотография начала века. На ней была изображена замечательной красоты девушка; она улыбалась, глядя в камеру. Ровные белые зубы, огромные глаза, какое-то благородство черт и осанки — всё в ней было прекрасно.

«Это, собственно, бабушка, — ответила мисс Карпентер. —

Здесь ей лет восемнадцать, наверное».

Я кивнул, и мы покинули комнату. Мы направились на второй этаж, а затем и на третий, чердачный. Лестница скрипела и грозила обрушиться в самый неподходящий момент. По дороге мисс Карпентер рассказывала.

«Часть документов хранится на чердаке. В комнате бабушки вы найдёте её личные вещи, возможно, какие-то записи, которые она вела. Она умерла молодой, в сорок два, от тифа». — «В каком году?» — «В сороковом. Она родилась в тысяча восемьсот девяносто восьмом». — «Когда она родила вашу мать?» — «В девятнадцатом». — «Она была замужем?» — «Да. Муж, мой дед, управлял этим домом до сорок второго года, когда он добровольцем уехал в Европу, на войну. Там его и убили. Я его не знала». — «Простите, некорректно спрашивать, но…»

Она поняла мою мысль.

«Сорок. Я сорок пятого года рождения».

Мы уже добрались до чердака. Тут было темно, пыльно и сухо. Были бы дети — получилось бы отличное место для шпионских игр. Мисс Карпентер со скрипом открыла старинный шкаф.

«Вот, — сказала она. — Тут семейный архив. Ничего такого, что бы стоило скрывать, нет, так что изучайте».

Я уже начал радоваться. Нечасто встречались столь покладистые клиенты. Я повернулся к ней.

«Работа займёт у меня несколько дней. Оплата — по результату». — «Сколько?»

Я назвал сумму гонорара и уточнил, что в неё не входят деньги на питание, ежедневные расходы, бензин.

«Меня устраивает, — сказала она и протянула мне пятидесятидолларовую бумажку. — Хватит на расходы на пару дней?» —«Конечно». — «Тогда можете приступать. Сейчас я покажу вам вашу комнату и объясню, как пользоваться горячей водой. Тут старая система».

Мне положительно нравилась эта работа. Несколько оплачиваемых дней среди природы, в старом доме. Но меня серьёзно беспокоил один вопрос: впервые в жизни я столкнулся с чем-то, чему не мог сразу найти объяснения. Попросту говоря, мне было страшно.

***

Один из важнейших законов нашей работы — не верь клиенту. Клиент сказал, что виновата бабушка, — будь уверен, виноваты трубы канализации. Или разболтавшийся бойлер в

подвале. Поэтому после обеда я приступил к исследованию комнаты. Обед был скромный, но приятный — курица, гарнир, даже десерт. Женщины вроде мисс Карпентер обычно очень религиозны, моя же клиентка даже не помолилась перед едой. Просто пожелала мне приятного аппетита и приступила. Ела она обычно, не слишком аккуратно, часто вытирая рот салфеткой. Ожидаемой чопорности в ней не было ни на йоту.

С разрешения хозяйки я немного прибрался в комнате её бабушки. Кстати, чтобы не отвлекаться потом, скажу, что хозяйку звали Селена, её мать — Фанни, а бабушку — Маргарет. В общем, не обыденные «джоан» или «кэти».

Я вытер стол, открыл окно и проветрил, убрал пачку старых газет куда подальше. Потом повторил тот же эксперимент, который провёл при Селене.

O, how I faint when I of you do write,
Knowing a better spirit doth use your name,
And in the praise thereof spends all his might…

Тут я понял, что дальше хочу написать писать другой сонет. Я отлично помнил следующую строку «To make me tongue-tied, speaking of your fame!», но рука сама выводила другие слова. И я отдался на волю провидения. Точнее, привидения.

«Not marble, nor the gilded monuments — писал я, — of princes, shall outlive this powerful rhyme…»

Усилием воли я прервался. А потом задал (точнее, написал) простой вопрос:

«Кто вы?»

И моя рука начала выводить ответ — изящным женским почерком, тонким, почти прямым, с едва заметным левым наклоном.

«Меня зовут Джейн, мне девятнадцать лет…»

Знаете, бывает такой страх, при котором руки перестают работать нормально. Не то чтобы дрожат, а, скорее, немеют. Подобное чувство овладело мной. И первый вопрос был — кто такая Джейн.

Я сразу же встал и отправился искать мисс Карпентер. Я нашёл её в саду. Она опрыскивала какие-то цветы. Заслышав мои шаги, она обернулась и сказала, будто оправдываясь: «Знаете, тут уйма вредителей…»

«Да, — сказал я. — Но у меня к вам вопрос. Срочный». —«Пожалуйста». — «Кто такая Джейн?» — «Хм…»

Она нахмурилась.

«Это сестра-близнец бабушки. Она умерла совсем юной,

кажется, захлебнулась в ванной». — «В этом доме?» — «Кажется, да. Точно не знаю. Но, скорее всего, да. Нормальная ванна тут была с самого начала, даже когда не было централизованной канализации. Бойлер поставил ещё прадед, когда строил дом. Он и сейчас тут — вы увидите. Возможно, где-то в документах есть упоминание о смерти Джейн. Я лишь знаю, что у бабушки была сестра-близнец, да и мама моя её никогда не видела, та умерла до её рождения».

Я кивнул.

«Спасибо, мисс Карпентер». — «Селена». — «Спасибо, Селена».

Я вернулся в дом, в комнату — и снова сел за стол. Снова начинать писать то же самое? Но я рисковал получить такой же результат. Благо сонетов Шекспира я наизусть помнил много и мог оперировать ими как языком общения с духом.

Чёрт, обругал я себя тогда. Я же никогда ни в каких духов не верил, а тут буквально за несколько секунд поверил. Надо было найти резонное объяснение. Но прежде чем его искать, стоило всё-таки исследовать явление.

Кстати, вы можете задать вопрос, откуда я знаю наизусть сонеты Шекспира. Так вот, я их целенаправленно выучил. Из них очень удобно выдирать различные загадочные фразы при общении с помешанными на духах. Больше никаких стихов я наизусть не знаю, но сонетов хватает с запасом. Спрашивает у тебя какая-нибудь маразматическая старушка что-то вроде «так что, тут и в самом деле дух моего умершего мужа?», а ты ей: «Будь так умна, как зла. Не размыкай зажатых уст моей душевной боли…»И всё: старушка покорена и готова платить вдвое больше, чем нужно на самом деле.

Я снова взял тетрадь, потом подумал — и отложил её. Мне показалось стоящей идеей написать следующий сонет в собственном блокноте. Может, это тетрадь виновата, а не комната?

If thou survive my well-contented day,
When that churl Death my bones with dust shall cover…

К слову «cover» моя рука уже выводила другие слова:

O, how much more doth beauty beauteous seem
By that sweet ornament which truth doth give!..

Я оторвал руку от блокнота. Надо было прекращать забавы с сонетами Шекспира, а писать простыми словами. Обычным

языком.

И я снова задал призраку вопрос, ответ на который мне уже был известен: «Меня зовут Джон, как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя… Джейн, меня зовут Джейн».

«Ты жива?»

«Конечно, я жива, — отвечала мне моя же рука. — А ты — ты жив?..»

«Жив, — написал я. — Ещё как жив».

Чёрт, я разговариваю с духом. Это была единственная моя мысль на тот момент.

Каждый ответ я получал не сразу, а написав вопрос по три-четыре раза (иногда — больше). И ответ как будто становился частью вопроса, когда я выводил его своей собственной рукой. Таким образом, я получил некоторые отрывочные сведения о Джейн Честертон. Да, именно так звучала девичья фамилия бабушки Селены. Я не думаю, что это как-то связано со знаменитым писателем: фамилия всё-таки не такая уж и редкая.

Джейн родилась в 1898 году и действительно была сестрой-близнецом Маргарет. Умерла она в 1917 году, но от чего, ответа я не получил. В то время как у её сестры был жених, Джейн к моменту своей смерти была одинока и даже не была влюблена. Причём формулировка звучала странно: «не была влюблена ни в одного из достойных». Я допускал мысль о том, что её возлюбленный, к примеру, был негодяем. Это наводило, в свою очередь, на возможность самоубийства.

С Джейн я «беседовал» примерно час, но затем ответы начали «приходить» через один, а потом и вовсе прекратились, точно странный канал между нашими временами истощился. Часть вопросов не вызывала у призрака никакой реакции, некоторые вели к однообразным ответам, точно забитым в память компьютера и выдаваемым в соответствии с программой. Мой разум, всё ещё отказывавшийся верить в происходящее, уцепился за последнюю ниточку, как за спасательный круг. Возможно, это всё-таки был мощный розыгрыш с применением гипноза. Но зачем кому-то и мисс Карпентер в частности разыгрывать меня, да ещё и платить за это?

Вечером я вооружился фонарём и отправился на чердак копаться в документах. Там было и стационарное электрическое освещение, но его катастрофически не хватало: одна тусклая лампочка едва выхватывала из мрака громаду шкафа, а уж шрифта на бумагах совсем не разглядеть. В принципе, я мог перенести несколько стопок вниз и рассматривать их по очереди, но было как-то интереснее сидеть наверху и изучать документы с фонарём. Я будто бы возвращался в детство, когда мы с

мальчишками забирались в домик, собственноручно построенный недалеко от отцовской фермы, и играли в подлых шпионов и героических полицейских.

В общем и целом за документами я сидел весь вечер первого дня, весь второй день и половину третьего дня. Не буду вас утомлять перечислением различных бланков, свидетельств о рождениях и браках, судебных повесток. Представители семьи мисс Карпентер были на редкость дотошными людьми и сохраняли абсолютно всё. Пожалуй, вкратце стоит пересказать, какие данные я выудил из моря бюрократических бумажек.

Джейн и Маргарет Честертон родились 18 февраля 1898 года в Рапид-Сити. Бокс Элдера как такового тогда ещё не существовало — лишь несколько отдельных фермерских хозяйств. В 1905 году их отец, Джереми Честертон, откуда-то узнал, что вскоре по району будут вести железнодорожную ветку, и купил достаточно большой участок земли, граничащий с местной речушкой. Двумя годами позже компания Chicago and Northwestern Railroad и в самом деле провела железнодорожную ветку; тут же образовался небольшой городок, получивший своё название благодаря наличию в округе огромного количества ясенелистных клёнов. Земля взлетела в цене, а фермерские хозяйства начали обогащаться благодаря упрощению доставки продуктов и в Рапид-Сити, и в другие крупные города. Сложно сказать, где жила семья Честертонов до 1910 года, но в том году в одном из документов впервые появился дом. Документ свидетельствовал о найме рабочих для его отделки (именно отделки, а не строительства).

Среди документов я нашёл и фотографию близнецов — Джейн и Маргарет были похожи как две капли воды. Я подумал, что фотография на столе в комнате может изображать вовсе не бабушку Селены, а её сестру. Обе девушки были потрясающей красоты. Хотелось снова и снова возвращаться к фотографии, ловить глазами тонкие, изящные черты их лиц. Мне было очень жаль, что они умерли давным-давно и что я не встречал подобных в реальной жизни.

20 августа 1917 года Джейн умерла. Я нашёл свидетельство о смерти. Там было написано, что она захлебнулась в ванной, причиной стал несчастный случай. Больше о Джейн не было ни слова ни в одном из документов. Такое ощущение, что между её рождением и смертью была лишь эта фотография.

Джереми Честертон скончался от сердечного приступа в 1932 году, годом позже умерла и его жена Джиллиан. К тому времени их внучке Фанни Харгривз было уже четырнадцать лет. Муж Маргарет, Саймон Харгривз, переехал жить в дом жены, с

тридцать второго года они жили в нём втроём с дочерью. Саймона убили на войне, Фанни выросла, вышла замуж, родила Селену. Ко времени моего приезда в Бокс Элдер все родственники Селены были уже мертвы. Ничего странного в смертях не было — так умирают люди каждый день. Отец Селены, Роберт Карпентер, умер за три года до моего приезда, он пережил Фанни на шесть лет. Единственной загадочной смертью была кончина Джейн.

Не думайте, что я безвылазно сидел на чердаке всё это время. Конечно, я спускался вниз, обедал, беседовал с Селеной, ужинал.

Иногда меня беспокоил рёв самолётов.

«Здесь недалеко аэродром?» — спросил я Селену.

«Да. Военно-воздушная база Элсворт и музей при ней».

Всё-таки нужно будет посетить музей, подумал я.

«Они не слишком беспокоят, — сказала Селена. — Летают себе и летают. К шуму привыкаешь за столько-то лет».

На третий день мне пришла в голову одна мысль.

«Селена, — спросил я, — а не сохранилось ли семейных альбомов с фотографиями? Наверху в шкафу было лишь несколько снимков, и те технического плана…»

Она всплеснула руками.

«Конечно, я совершенно забыла вам их дать».

Альбомы она приволокла из гостиной.

«Здесь все фотографии, начиная с 1875 года и до середины пятидесятых. Более свежие вам нужны?»

«Думаю, нет. Спасибо, Селена».

В тот же день вечером я принял ванну. Она была старинная, а наполнялась от огромного сверкающего начищенной медью бойлера. Правда, тут было и централизованное водоснабжение, но оно, судя по всему, частенько барахлило, и приходилось пользоваться дедовской конструкцией.

Половину третьего дня заняло исследование фотоальбомов. Сёстры Честертон оказались очень похожи на свою мать, хотя её красота была более тяжеловесной, мрачной. Всего в альбомах нашлось семь фотографий сестёр вместе и более двадцати одиночных снимков. Я отличал, кто изображён на фото, по подписи. Лишь на двух была Джейн. По фотографиям Маргарет было видно, как она становится зрелой женщиной, потом у неё на руках появляется ребёнок, потом она начинает стареть. Правда, постареть она толком не успела, остановившись на отметке «сорок два». Джейн же всегда оставалась юной.

В целом альбомы дали немного. Старинные фотографии всегда похожи одна на другую. Красивые люди с благородными лицами и сложными причёсками.

Надо сказать, что в процессе своих изысканий я ни на

секунду не забывал о конечной цели — избавления дома от призрака. И ещё: меня постоянно тянуло в комнату Маргарет (или Джейн?), чтобы «поговорить» с ней ещё. Но я оттягивал этот момент, потому что хотел подойти к «беседе» во всеоружии. На третий день вечером я, наконец-то, вернулся в комнату. Надо сказать, что все три дня мисс Карпентер меня нисколько не беспокоила и не интересовалась моими успехами. То ли она действительно слепо мне доверяла, то ли послеживала тайком, чтобы убедиться, не прохлаждаюсь ли я за её счёт.

***

Первым делом нужно было выработать стиль общения с призраком. С учётом того, что молодость Джейн (впрочем, зрелости у неё не было как таковой) пришлась на начало века, когда ещё не испарилось окончательно благородство Викторианской эпохи, я принял за правило обращаться к ней вежливо и нежно, как восхищённый поклонник — к юной леди. В какой-то мере я и был поклонником, а она — юной леди. Правда, нас разделяло семьдесят лет.

«Милая Джейн, здравствуйте!» — поприветствовал я призрака. Прежде чем пришёл ответ, я написал приветствие четырежды. А на пятый раз рука вывела «Здравствуйте» совершенно другим почерком.

Я оторвал руку от бумаги и задал первый из запланированных вопросов.

«Сколько вам лет, Джейн?»

Через некоторое время я получил ответ: «Мне девятнадцать». В дальнейшем я не буду подробно описывать процесс получения каждого ответа, а представлю наш «разговор» в виде обычного диалога.

«Вы замужем?» — «Да, я замужем, но… не совсем». — «Как это? Вы помолвлены? У вас есть возлюбленный?» — «Это нескромный вопрос, но я отвечу вам. Да, есть». — «Комната, если пройти прямо по коридору, а потом свернуть налево — это ваша комната?» — «Да». — «А в какой комнате жила Маргарет?» — «Тоже в этой». — «Вы жили вместе?» — «Да, до некоторых пор».

После этого ответа я осмотрел комнату. Дом был достаточно просторен, чтобы каждая девушка могла получить по комнате. Вероятно, они жили вместе, пока были маленькие?

«Вы не всегда жили в одной комнате с Маргарет?» — «Нет».

Это уже было прогрессом.

«Когда вы начали жить вместе с Маргарет?» — «Когда переехали в дом». — «А когда прекратили?» — «Когда нам

исполнилось шестнадцать. Маргарет уехала в город, а когда она приезжала, жила отдельно от меня».

Ага. Значит, примерно с 1910 по 1914 год они жили в этой комнате.

«А Маргарет уехала в Бокс Элдер?» — «Нет, в Рапид-Сити». — «Что она там делала?» — «Училась в пансионе для девочек. Я тоже хотела, но мне было нельзя…»— «Почему, Джейн?»

На последний вопрос я не получил ответа. Джейн замолчала. Никакие попытки снова «разбудить» её не приводили к успеху.

Опять же, хочу заметить, что наш «диалог» длился немного дольше; некоторые вопросы я задавал по несколько раз в различных формулировках.

Вечером, уже после ужина, мы с Селеной сидели в гостиной. Горел камин, трещали поленья, Селена вязала. Именно тогда она впервые меня спросила, как мои успехи.

«Это призрак Джейн, а не Маргарет», — ответил я. «Я так и думала». — «Почему же вы сказали мне, что это ваша бабушка?» — «Я не знала толком. Поэтому сказала так».

Мы помолчали.

«Селена, может, вы знаете… — начал я. — Почему Джейн по достижении шестнадцатилетия не отправилась учиться в город?»

«Нет, — покачала Селена головой. — Я вообще почти ничего не знаю о Джейн. Бабушка училась в пансионе в Рапид-Сити, потом вышла замуж за молодого человека из города, родила маму. А Джейн… Не знаю. К моменту свадьбы бабушки она была уже мертва».

«Спасибо, Селена».

Впрочем, толку от её слов было немного.

Новый прорыв в расследовании произошёл на следующий день, когда я начал обыскивать комнату Джейн. Мать и отец Селены никогда и ничего не трогали в комнате Джейн. Селене они всегда говорили, что это комната Маргарет. Судя по всему, комната служила семье чем-то вроде алтаря. Она была неприкосновенна. Правда, в каком году «заморозили» комнату, я понять не смог. Может, до рождения Селены, а может, и после. Но я понадеялся на то, что найду при обыске что-нибудь интересное — и не ошибся.

В комнате было два шкафа — старинных, начала века. Открывались они со скрипом, с них сыпалась вековая пыль. В одном шкафу были платья. Сложно сказать, кому они принадлежали — я не слишком-то разбираюсь в фасонах полувековой давности. Но, вероятнее всего, близнецам.

Второй шкаф имел ряд ящиков. Я последовательно выдвигал один за другим. Там было старинное нижнее бельё, несколько

опасных бритв и немецкая машинка для их заточки, зеркальце, какие-то безделушки и недорогие украшения. Я предположил, что более ценные вещи у девушек тоже наличествовали, но впоследствии они «переехали» из этой комнаты в более удобное для хранения место. Наконец, в самом нижнем ящике я нашёл плоскую деревянную шкатулку. Внутри оказались бумаги.

Это были счета от врачей, причём в качестве пациента везде проходила Джейн Честертон. Мне стало интересно, и я начал разбираться, чем же болела девушка. И буквально через несколько минут выяснил: полиомиелитом. Надо сказать, что вирус полиомиелита впервые выделили в 1908 году (это я позже посмотрел в энциклопедии), а вакцину и вовсе создали в середине века. Конец XIX — начало XX века ознаменовались эпидемическим всплеском полиомиелита во всём мире — судя по всему, под этот всплеск и попала Джейн Честертон.

Из многочисленных счетов, рецептов, выписок и рекомендаций я составил себе более или менее полную картину болезни девушки. Выше пояса она была совершенно нормальной. Даже выше коленей. А вот ноги ниже коленей были ослаблены и отчасти деформированы. Судя по записям, в детстве девочка вообще не могла ходить, а потом научилась — с помощью специальных поддерживающих приспособлений (там были и чеки на их приобретение). Но всё-таки большую часть времени она проводила в кровати.

В тот же день я снова беседовал с Селеной.

«Вы знали, что Джейн страдала от полиомиелита?» — спросил я.

«Нет», — она покачала головой.

«А в доме никогда не было инвалидного кресла?»

«Нет».

Инвалидное кресло не фигурировало и на фотографиях. И вообще никаких приспособлений видно не было. Я сделал из этого логичный вывод: молодая красивая девушка совершенно не хотела афишировать для возможных потомков свой недуг. Зато я понял, почему на многих фотографиях одна близняшка стоит, а вторая — сидит. Стояла всегда, конечно, Маргарет.

В какой-то мере болезнь могла стать объяснением таинственной смерти Джейн. Может, она поскользнулась, выбираясь, ударилась головой. Скорее всего, девятнадцатилетней девушке уже никто не помогал мыться…

Вечером я снова занялся спиритизмом. Диалог наш с Джейн выглядел примерно следующим образом:

«Джейн, вы больны?» — «К несчастью, да». — «Это полиомиелит?» — «Да. С детства». — «Вы можете передвигаться

самостоятельно?» — «Да, конечно. Но с трудом, с костылями». — «Поэтому вы не поехали учиться вместе с сестрой?» — «Да». — «Но вы же могли передвигаться?» — «Да, могла». — «Вы передвигались плохо и потому не смогли отправиться в город на обучение?» — «Да, именно так».

Беседуя в таком ключе, я получил подтверждение всем сведениям, найденным в документах. Самым интересным было то, что с каждым «диалогом» Джейн становилась «разговорчивее». Хотя большинство её ответов по-прежнему были общими или ограничивались «да/нет», тем не менее несколько раз она выдавала длинное сложносочинённое предложение. Например, на вопрос «хотели ли вы учиться вместе с вашей сестрой?» она ответила: «Я очень хотела, но моё физическое состояние не позволяло, и родители приняли решение оставить меня дома».

Как выяснилось, Джейн бывала в Рапид-Сити с достаточной регулярностью. В 1914 году (ещё до отъезда Маргарет) отец купил автомобиль и возил её то на ярмарку, то в синематограф, то ещё куда-нибудь. Я уже планировал перейти к «опасным» вопросам о смерти Джейн, когда случайно наткнулся на другую запретную тему, и моя «собеседница» замолкла. Тема касалась молодых людей. Я спросил, ухаживали ли за Джейн молодые люди. И она ничего не ответила. Почему-то я представил себе, как она рыдает, отвернувшись к стенке, неспособная встать с постели из-за изувеченных ног.

***

В принципе, к пятому дню я уже понимал, что делать. Нужно было разговорить Джейн. Я обложился со всех сторон старинными фотоальбомами и после завтрака затеял беседу с двоюродной бабушкой Селены.

Во время завтрака произошёл разговор и с самой мисс Карпентер.

«Расскажите мне, Джон, как обстоят дела. Я ничего не узнавала у вас, а вы работаете уже пятый день…» — сказала она.

Я кивнул.

«Конечно, Селена. Во-первых, как ни странно, это действительно привидение».

«Вы сомневались?»

«Девяносто девять из ста моих клиентов — просто сумасшедшие».

«Понимаю».

«Как я уже говорил, это Джейн, сестра вашей бабушки. Она страдала от полиомиелита; когда ваша бабушка уехала в город,

Джейн осталась тут, прикованной к дому. И утонула в ванной в возрасте девятнадцати лет. Остальные подробности я пытаюсь выяснить».

«Вы нашли способ избавиться от призрака?»

«Я так понимаю, что ему что-то нужно. То есть ей. Если мы сумеем дать ей это, она уйдёт сама».

«И что же это?»

«Пока не знаю. Но думаю, время тут не играет большой роли. Как видите, никаких дополнительных расходов, кроме питания, вы из-за моего пребывания в доме не несёте».

Она чуть улыбнулась и кивнула.

«Что правда — то правда».

«Мисс Карпентер, — решился я. — Позвольте нескромный вопрос?»

Она утвердительно наклонила голову, хотя и заметно напряглась.

«За чей счёт вы живёте?»

Лицо её снова приняло скучающее выражение.

«Почему же нескромный? — спросила она. — Нормальный вопрос. Я сдаю земли в аренду. Тут четверть города построена на землях, принадлежащих моей семье. Мы ничего не продали государству».

Можно было и догадаться, укорил себя я. Я же видел копии купчих на землю среди документов в верхнем шкафу.

Как я уже сказал, после завтрака я снова занял свой «пост» в комнате Джейн. На этот раз я не стал начинать разговор с вопросов. Первым делом я снова представился.

«Меня зовут Джон».

Честно говоря, я ожидал, что она ответит: «Меня зовут Джейн».

Но полученный мной ответ был ошеломляющим.

«Нет, тебя зовут Саймон, не нужно обманывать меня», — ответил мне призрак.

Я даже не знал, что ответить.

«Нет, меня зовут Джон», — снова написал я.

«Нет, Саймон».

Я почувствовал, что эта ветка беседы зайдёт в тупик и сменил тему.

«Джейн, вы сказали, что никогда не любили никого из достойных. Кого же вы любили?»

Ответа я не получил. Кажется, я перегнул палку, нужно было действовать аккуратнее. Но Джейн замкнулась, как это бывало раньше. Она задала вопрос в свою очередь:

«Саймон, почему ты задаёшь вопросы, а я отвечаю? Я тоже

хочу знать что-нибудь о тебе».

«Спрашивайте, Джейн».

Как ни странно, она обращалась ко мне именно на «ты», используя устаревшую форму «thou».

«Саймон, где ты сейчас?» — «В вашей комнате». — «Какой у тебя год?» — «Тысяча девятьсот восемьдесят пятый». — «Ты обманываешь меня, такого не может быть». — «Я не обманываю, правда». — «Как там, в твоём времени?» — «Прекрасно. Очень много автомобилей и зданий из стекла и бетона». — «Как я себе и представляла. Жаль, что я не могу увидеть тебя». — «Зато я вижу тебя. У меня есть твоя фотография». — «Может, это фотография моей сестры». — «Нет, твоя, точно твоя». — «Я красивая?» — «Да, очень». — «Саймон… Ты же Саймон, правда?»

Я не знал, что ответить. Я помнил, что Саймон — это муж Маргарет, отец Фанни, дед Селены — об этом я прочёл в бумагах.

«Нет, я Джон», — попытался возразить я.

«Всё равно я буду называть тебя Саймон».

И всё, «сеанс связи» оборвался. Я снова писал, задавал вопросы, но Джейн не отвечала.

В тот же день я ещё немного продвинулся в своём расследовании. Внимательное изучение фотографий надвинуло меня на одну идею, которая изначально не была очевидной. Я нашёл снимок, датированный 1919 годом. На нём была изображена Маргарет с дочерью. Если верить документу о рождении Фанни, на момент съёмки ей должно было исполниться три месяца. Но девочке на фотографии было порядка двух лет, не меньше. Я предположил, что дата проставлена неверно. Но в том году было сделано много фотографий Маргарет, на некоторых она была одета в то же платье, и даты вполне соответствовали. После этой находки я отобрал все фотографии Фанни. К определённому возрасту её внешность уже переставала смущать: она выглядела на свои. Но на редких детских снимках девочка была заметно взрослее, чем нужно.

Я решил не обращаться с этим вопросом к Селене: она вряд ли что-то знала. Я дождался следующего дня, когда Джейн снова стала со мной разговаривать.

Очередной наш диалог я начал очень осторожно, с аккуратного введения, беседы о погоде (я спросил, например, каким было лето 1914 года). Через некоторое время я подвёл диалог к интересующей меня теме и задал вопрос:

«Джейн, в каком году родилась Фанни Харгривз?»

И получил ожидаемый ответ:

«В тысяча девятьсот семнадцатом».

Вот здесь-то меня и прошиб холодный пот. Кажется, я

догадался, почему возраст Фанни был занижен на два года.

«Джейн, Фанни — ваша дочь?»

Я не ждал ответа, но получил его.

«Зачем я рассказываю вам это?» — написала она.

«Наверное, потому что мы с вами никогда не встретимся, потому что я живу через шестьдесят лет после вас. Отец Фанни — Саймон?» — «Да. Да… Джон. Хорошо, будьте Джоном. Он — отец». — «Саймон — ваш муж?» — «Да. Но он любит Маргарет». — «Джейн, а кого любите вы?» — «Не знаю, Джон. Я уже ничего не знаю».

Вопросы я задавал интуитивно. Итак, Саймон был женат как минимум дважды. Или призрак «воспринимал» свои отношения с Саймоном как отношения между женатыми людьми. В принципе, рано или поздно я всё равно узнал бы. У меня был надёжный свидетель и непосредственный участник тех событий.

Последним, что я сумел выудить у Джейн в тот день, это сведения о месте бракосочетания Маргарет и Саймона. Они поженились в Рапид-Сити. Чтобы не дёргать Джейн лишний раз и получить новую пищу для размышлений, на следующий день я сел в свой пикап и отправился в город.

***

Рапид-Сити был основан во второй половине девятнадцатого века золотоискателями, нахлынувшими в Южную Дакоту после успешной экспедиции печально известного авантюриста генерала Кастера. Вскоре в штате появилась сеть железных дорог, а город из небольшого посёлка разросся до вполне приличного торгово-промышленного центра. На момент моего приезда в нём проживало порядка пятидесяти тысяч человек (и всего около ста тысяч с учётом пригородов). Раз в полвека Рапид-Сити страдал от серьёзного наводнения, причём как из-за разлива озера Кэньон и впадающих в него речушек, так и из-за аномальных осадков, обусловленных близостью горного хребта Блэк Хиллс. Последнее такое наводнение произошло в 1972 году и унесло двести тридцать восемь жизней, около трёх с половиной тысяч человек получили ранения, более тысячи зданий было разрушено.

С четырнадцатой федеральной я свернул на шестнадцатую и вскоре оказался в центре города. Меня интересовали в первую очередь три точки: городской архив, публичная библиотека на Квинси-стрит и пансион для девочек, где обучалась Маргарет Честертон. Первым делом я отправился в архив.

Милейшая служащая без всяких проволочек предоставила мне доступ к базе данных всех бракосочетаний и рождений в

городе. Я представился Джоном Честером и рассказал, что мои предки были из Рапид-Сити. Фамилию я намеренно придумал близкую к Честертонам, чтобы не смущать даму копанием в других разделах алфавитной картотеки. В считаные минуты я нашёл все данные по Маргарет Честертон. Она вышла замуж за Саймона Харгривза 5 февраля 1918 года.

Слава богу, сочетание имени и фамилии мужа Маргарет оказалось достаточно характерным, и через несколько минут я нашёл и данные о нём. Родился он в 1895 году в Рапид-Сити, данных о смерти я не нашёл. Служащая развела руками: «Мы всё-таки городской архив. Если он уехал и умер в другом месте, то я вряд ли могу чем-нибудь помочь…» В принципе, я знал, где он погиб — в Европе, на войне, в сорок втором.

Нашёл я и сведения о Фанни Харгривз. По всем данным она родилась в тысяча девятьсот девятнадцатом. Значит, мистификация удалась.

Вторую половину дня я провёл в публичной библиотеке, пытаясь найти упоминания о фигурантах этой истории в местных газетах того времени. Но никаких результатов это не дало. Зато я выяснил, что пансион для девочек был ликвидирован ещё в тридцатые годы, и оставаться в Рапид-Сити на ночь не имело никакого смысла.

У меня уже сложилась общая картина произошедшего, не хватало всего нескольких кусочков пазла. В 1915 году Маргарет Честертон отправляется учиться в Рапид-Сити, где знакомится с молодым человеком по имени Саймон Харгривз. Каким-то образом выходит так, что Харгривз спит не с Маргарет (или, наверное, не только с Маргарет), но и с её парализованной сестрой Джейн. Джейн обнаруживает, что беременна — вне брака. Ребёнок рождается, через некоторое время после этого Джейн погибает. Маргарет выходит замуж за Саймона, все данные по ребёнку Джейн изменяют, выдавая Фанни за дочь Маргарет и Саймона. Судя по всему, других детей у этой четы не было.

Оставалось несколько вопросов:

— как получилось, что Джейн, а не Маргарет, родила дочь от Саймона?

— как всё-таки умерла Джейн?

Я понимал, что дать ответы на эти вопросы может только сама Джейн Честертон, и это будет непростой разговор. В любом случае целью моего расследования было выяснение того, как упокоить Джейн окончательно.

Мисс Карпентер ничего у меня не спрашивала, а сам я ничего не рассказывал. Поэтому на следующий день после завтрака…

Сейчас я ловлю себя на мысли, что постоянно повторяюсь.

Каждый день одно и то же. Впрочем, так эта история и выглядит со стороны. Мне было безумно интересно заниматься расследованием, и каждый диалог с Джейн казался захватывающим приключением. Но снять по моей истории фильм вряд ли получится. Почти всё время на экране будет молодой человек, сгорбившийся за старинным письменным столом.

Это я в качестве извинений, если вы заскучали. Теперь вернусь к моей истории.

Очередная беседа с Джейн была направлена в первую очередь на выяснение обстоятельств зачатия Фанни. Я поздоровался, перевёл разговор в нужное мне русло, затем задал вопрос о годе рождения девочки, затем хотел уже перейти к щекотливым вопросам, но что-то во мне щёлкнуло.

«Джейн, как получилось, что Саймон — твой муж?» — спросил я.

«Он женился на мне, вот и всё», — ответила она.

Я понял, что нахожусь на верном пути.

«Но Фанни родилась вне брака?»

«Нет, в браке! Зачем ты спрашиваешь меня об этом?»

«Потому что… Потому что в моём времени все думают, что Фанни — дочь Маргарет».

«Как?»

«Никто не знает, что Саймон был твоим мужем. Дочь Фанни не знает, что её бабушка — ты, а не Маргарет».

И она рассказала. Просто, прямо, без стеснения. Я исписал почти две страницы её изящным почерком. Здесь я постараюсь изложить всё в сокращённом варианте, своими словами.

Зимой 1916 года Маргарет Честертон встретила в Рапид-Сити молодого человека по имени Саймон Харгривз. Они полюбили друг друга. Маргарет неоднократно рассказывала больной сестре о том, какой прекрасный молодой человек Саймон и — самое главное — какая замечательная вещь секс. Нравы в те времена царили вполне обычные, как и сегодня, просто скрываться нужно было аккуратнее, да и предохранение вызывало некоторые сложности. Впрочем, насколько я помню, презервативы из бычьего пузыря уже производили (могу ошибаться, не обессудьте). В любом случае Джейн очень страдала от того, что лишена возможности любить — как в духовном, так и в физическом смысле. Поэтому однажды сестра приняла волевое решение ей помочь. То есть предоставить на одну ночь своего молодого человека, дабы сестра познала радости любви. Для Саймона это было представлено как нечто вроде квеста, поисков приключений. Маргарет сказала, что нужно всё делать тихо и почти неподвижно, и в темноте. Главное, чтобы Саймон не

заметил, что с ногами Джейн ниже колен что-то не так. Тот вопрос, что Джейн не имела до того контактов с мужчиной и могла при первом соитии испытать боль, был решён просто — подсвечником. И всё свершилось. Саймон пробрался на территорию Честертонов, забрался в окно, проник в спальню Джейн и сделал всё, как нужно, причём сам ни о чём не догадался.

Однако месяц спустя Джейн стало плохо, и Маргарет поняла, что сестра беременна. Скрывать это от родителей было невозможно, и девушки признались во всём. Точнее, всё рассказала Маргарет. Родители были уверены в целомудрии обеих дочерей, и рассказанное стало для них шоком. Саймон был приглашён в дом и поставлен перед выбором: против него начинается судебное дело или он женится на Джейн, которая ждёт от него ребёнка. Саймон согласился. К моменту венчания Джейн уже не могла ходить — ей постоянно было плохо; священник был вызван «на дом», а запись сохранена только в церковной книге.

Примерно на этом месте рассказа Джейн замолчала. Как я ни пытался её разговорить, это не привело ни к каким результатам.

Я уже догадывался, что произошло потом. Вскоре после родов Джейн умерла. Так как первая свадьба была практически тайной, а Саймон всё-таки любил Маргарет, решили не препятствовать их женитьбе.

Сложно сказать, какие отношения были между ними. Они воспитывали дочь Саймона и Джейн — и в этом были виноваты сами. Саймон имел все основания ненавидеть свою жену за провёрнутую ею некрасивую операцию. Маргарет имела все основания ненавидеть Фанни как дочь своего мужа и другой женщины. А Фанни… Фанни была жертвой, выглядящей на два года старше своего паспортного возраста.

Вечером того же дня я рассказал всё мисс Карпентер. Она то бледнела, то краснела, а потом сказала: «Ужас».

Через несколько секунд молчания она добавила: «Значит, моей бабушкой была Джейн?»

«Да, — ответил я. — Но для вас, как мне кажется, это ничего не меняет. Вы не знали ни ту, ни другую».

«Не знала», — она кивнула.

Мы поговорили ещё некоторое время, а потом я отправился спать.

Следующий день я начал с возвращения к Джейн.

Да, теперь я воспринимал общение с призраком совсем иначе. «Вернуться к Джейн», «поговорить с Джейн», «спросить у Джейн». Точно она была жива и находилась в одной комнате со мной. В

какой-то мере так оно и было.

«Джейн, — спросил я. — Каким образом ты переписываешься со мной?» — «Пишу в тетради, ты мне отвечаешь». — «Как ты думаешь, эта тетрадь могла бы сохраниться до моего времени?» — «У меня есть тайник. Если я когда-нибудь оставлю её там, ты сможешь найти её». — «Где он?»

Почему я не догадался спросить этого раньше? Почему? Мои руки тряслись, а сердце билось о рёбра.

«Ты сможешь найти его, — ответила она, — если нажмёшь на третий слева внутренний выступ под столешницей».

Я нащупал слева ряд деревянных выступов-рычагов и нажал на третий. Прямо мне на колени упал небольшой секретный ящичек. В нём был засушенный цветок и тетрадь.

«Я нашёл. Тут тетрадь и цветок», — написал я. «Саймон подарил мне его в ту ночь». — «Это была ваша единственная ночь?» — «Да».

Я задавал себе вопрос — почему она так откровенна со мной. А потом открыл найденную в тайнике тетрадь — и получил ответ.

Это была старинная тетрадь с узором из цветов, выполненным в технике аппликации. На первой странице красовалось имя: «Джейн Честертон». Почерк был тот же, какой получался у меня, когда я писал ответы Джейн.

Я подумал, что некрасиво читать её тетрадь. Пусть она умерла давным-давно, но одновременно она остаётся живой.

«Можно, я прочту её?»

Это был глупый вопрос. Она же сама доверилась мне.

«Читай, Саймон. То есть Джон».

И я открыл тетрадь.

***

Судя по первым листам, тетрадь представляла собой дневник. Но не аккуратный, как показывают нам в кинофильмах, а обыденный, то есть бессвязные заметки, зарисовки, планы на день, иногда с датами, иногда — без. Рисованные профили украшали почти все страницы. Профили в основном мужские. Преобладал орлиный профиль человека с небольшими бачками. Я предположил, что это Саймон. Я видел фотографии Саймона в семейном альбоме, но сравнить их с накаляканными женской рукой профилями было затруднительно. Никакого сходства не наблюдалось, кроме бачков.

Здесь были какие-то рецепты, какие-то пометки, цифры — всё смешано, всё чёрт-те как. И мне это нравилось, потому что выдавало в Джейн живого человека, а не механическую куклу,

пишущую без помарок ежедневный отчёт о собственной жизни.

Некоторые страницы топорщились — в них были вклеены фотографии. На одной были изображены Джейн и Маргарет, такой же снимок был и в альбоме. На другой — Саймон, причём совсем молодой — подобных фотографий в альбоме я не видел. На третьей фотографии были изображены Саймон и Джейн. Судя по всему, других совместных снимков этой странной пары не существовало. Саймон стоял у кресла, держа руку на плече сидящей Джейн. В том, что это не Маргарет, я не сомневался. Могла ли Джейн вклеить в свой дневник фотографию сестры-соперницы?

Собственно, вся картина уже была передо мной, и я её вам вполне обрисовал. Оставался последний вопрос — отчего умерла Джейн?

Я не ждал, что дневник даст мне на него ответ. Но он дал.

На одной из страниц я вдруг наткнулся на строки, написанные чужим почерком. Я присмотрелся, и сердце моё ушло в пятки. Это был мой почерк. Чёрт побери, это был мой собственный почерк.

Более того, это были мои слова:

O, how I faint when I of you do write,
Knowing a better spirit doth use your name,
And in the praise thereof spends all his might…

А потом — другой сонет, выведенный уже рукой Джейн. Собственно, я сам и попросил у Джейн тетрадь, посредством которой она поддерживала со мной связь. Но я до самого конца не верил.

Чёрт побери, всё, что я писал на столе, уже было написано и лежало всё это время в потайном отделении под столешницей.

И тогда я решился и открыл последнюю страницу, на которой ещё были записи.

«Читай, Саймон. То есть Джон», — её рукой.

И всё, больше ни слова.

Наверху, над нашим последним диалогом — дата. 20 августа 1917 года. День смерти Джейн.

Сердце моё сжалось. Я почувствовал, что нужно срочно бежать, что нужно срочно спасти её, успеть вытащить из этой чёртовой ванны, вытащить Джейн, — и откачать, прижавшись губами к её губам и сделав ей искусственное дыхание. Она смотрела на меня с фотографии, она едва улыбалась подобно Джоконде, и в её прекрасном взгляде я прочёл то, о чём она мне не рассказала, хотя могла.

В тот день Джейн Честертон каким-то образом самостоятельно добралась до ванной. Ослабленная после беременности (я не знаю, кормила ли она — скорее всего, ребёнка отдали кормилице), она не могла мыться самостоятельно, ей помогали. Кто — не знаю. Но в этот раз она сама наполнила ванну — достаточно было лишь открутить кран на большом медном бойлере и протянуть шланг. Потом она перевалилась через край ванны, ушла под воду с головой — и вдохнула полными лёгкими.

Я понял это, точно последнюю свою мысль Джейн транслировала прямо в мою голову. Более того, я понял, зачем она это сделала. Ради Саймона. Нет, не ради сестры. Ради мужчины, которого любила, но который был холоден к ней. Она подарила ему счастье, и ценой этому счастью стала смерть.

***

Я нашёл Селену в гостиной. Она сидела в кресле и читала газету.

«Мисс Карпентер», — начал я. «Да?» — «Думаю, призрак Джейн вас больше не потревожит». — «Как вы этого добились?» — «Ей просто нужно было рассказать свою историю. Я её выслушал». — «Прекрасно. Можно проверить?» — «Можно».

Я ничего не сказал ей ни про потайной ящик, ни про тетрадь. Она шла впереди, я — позади.

Она села за стол, взяла карандаш и стала писать. Примерно через минуту она повернулась ко мне.

«И в самом деле. Ничего не чувствую. Похоже, вы неплохо выполнили свою работу».

Я кивнул.

Мне было неприятно. Я понимал, что сейчас получу за работу деньги и уеду. Но Селена всё-таки задала вопрос, который нельзя было не задать.

«Как умерла Джейн?» — спросила она. «Покончила с собой. Чтобы освободить Саймона и позволить ему жениться на Маргарет». — «Моя мать рассказывала, что роды у Маргарет прошли тяжело и после них она не могла иметь детей». — «Скорее всего, она никогда не могла иметь детей. Джейн стала суррогатной матерью, выражаясь современным языком».

Селена прошла мимо меня.

«Какая пустая жизнь, — вдруг сказала она. — Любить чужого мужчину, родить чужого ребёнка и умереть, будучи никому не нужной, никем не любимой».

«Да», — согласился я.

Но я солгал. Я понял это позже, когда мой пикап уже покидал Бокс Элдер. Был человек, один-единственный, который влюбился в Джейн и навсегда сохранил её в своём сердце.

Назовём этого человека Джоном. А то прочтёт ещё кто-нибудь из знакомых, будет считать меня психом. А я не псих.

Вэрик

У меня на стене висит «Вэрик» Алекса Каца. Гениальная картина. Никто толком не может объяснить, что на ней изображено, хотя все видят одно и то же, и даже способны это достаточно точно описать. Попытаюсь и я.

На картине — окна высотного здания. Шесть сдвоенных окон. Пять — по фасаду, обращённому к зрителю, ещё одно — по перпендикулярному фасаду. Собственно, именно так мы видим ночью светящиеся окна одинокого офиса. Снизу вверх, точно находимся в более низком здании неподалёку. Видны люминесцентные лампы на подвесном потолке, и больше ничего. Кто-то засиделся, кто-то работает.

Вся закавыка в том, что на картине, кроме этих шести окон, нет ничего. Нет никакого небоскрёба. Нет никаких стен, никакого неба, ничего вообще. Только шесть светящихся офисных окон в абсолютной темноте. Огромная площадь картины равномерно покрыта чёрной краской.

Большинство зрителей через несколько секунд наблюдения убеждают себя в том, что здание есть. Они начинают видеть угол между окнами, начинают видеть едва заметный силуэт небоскрёба, видеть звёзды на небе. Но всё это иллюзия. На картине нет ничего, кроме шести прямоугольников, поделённых пополам тонкими чёрными линиями.

Это «Вэрик».

Но он имеет весьма опосредованное отношение к моей истории. Я позже разъясню, какое. Просто запомните, что такая картина существует.

Ещё одно дополнение. «Вэрик» — большой, пять футов в высоту и двенадцать в ширину. Пусть это не оригинал. Пусть настоящий «Вэрик» висит в какой-то картинной галерее. Я смотрю на него прямо сейчас и представляю, что это кисть Алекса Каца, великого сюрреалиста и постмодерниста. Мне достаточно этого представления.

Всё, хватит о «Вэрике». Моя история — совсем о другом.

***

В середине осени 1990 года мне по работе понадобилось отправиться в Небраску. Вы можете спросить — да какие дела могут быть в этой провинции? Ну, провинция тоже порой

принимает участие в крупном бизнесе. Летел я в Омаху, приземлялся в аэропорту Миллард, а затем на арендованной машине должен был ехать в Дэвид-Сити, крошечный городок к западу от Омахи. В принципе, в Дэвид-Сити тоже был муниципальный аэропорт (при населении чуть больше двух тысяч человек), но пересаживаться на пятиместную крылатую тарахтелку мне не хотелось; кроме того, в автомобильном путешествии была возможность посмотреть на виды из окна. Природа в США всё-таки прекрасная. Бывал я и в Европе, и в Индии, и в России, ничего не сравнится с нашим природным многообразием.

Машину я арендовал прямо в аэропорту — маленький «Форд-Фиеста». Я вообще не люблю большие машины, поэтому чаще всего в командировках беру напрокат маленьких европейцев или японцев. Дороги в Небраске прямые, точно нарисованные на карте под линейку, и обозначены буквами алфавита. Весь штат расчерчен квадратиками. Сначала нужно ехать по Каунти Роад М, затем по Каунти Роад К, затем по пятнадцатой муниципальной, и оп! — мы уже в Дэвид-Сити.

Бизнес мой был связан с самым крупным и заметным предприятием (если можно его таковым назвать) в городе — гольф-клубом Дэвид-Сити. Великолепные поля для игры в гольф сделали этот крошечный городишко привлекательным местом для профессиональных игроков и просто для обеспеченных любителей. Кажется, здешние места даже принимали один из этапов кубка США, но в этом вопросе я могу ошибаться. В принципе, я не собирался подробно рассказывать, в чём состояла моя миссия. Приведу только сухие факты: я приехал в Дэвид-Сити, устроился в небольшой, на тридцать номеров, гостинице, затем отправился в клуб, за день решил все необходимые вопросы, после чего вернулся в гостиницу. Самолёт из Омахи вылетал в пять часов вечера, поэтому я собирался выехать из Дэвид-Сити около девяти утра, чтобы иметь в запасе достаточно времени.

Покидать гостиницу я не собирался. Примерно в десять вечера я лежал, щёлкал каналами кабельного телевидения и думал о женщинах. Это как в старом анекдоте: «О чём вы думаете, когда смотрите на строительный блок? — О женщинах! — Но почему? — А я всегда о них думаю…» Просто не анекдот, а суровая правда жизни.

У меня был номер на втором этаже, в конце коридора. Обычный такой номер провинциальной гостиницы. В меру уютный, в меру приятный. Ухоженный, с какими-то картинками в стиле примитивизма над кроватью.

Когда я уже собирался выключить телевизор и лечь спать, в дверь постучали. Я подумал, что это горничная, и крикнул:

«Войдите!»

Но это была не горничная. На пороге появился человек лет двадцати пяти, худой, немного помятого вида, с бутылкой в руке. Я тут же вскочил с кровати со словами:

«Вы кто такой?»

«Не беспокойтесь, прошу вас! — Он сделал успокаивающий жест. — Я ваш сосед по этажу, Дуглас Маркс».

Мне пришло в голову, что я и в самом деле зря всполошился. Возможно, соседу понадобилась какая-то помощь. Он и в самом деле продолжил:

«Простите, что побеспокоил вас, но мне очень, очень нужно с кем-то поговорить. Точнее, поделиться информацией. Если я не поделюсь, я просто сойду с ума. Я не отберу у вас более десяти минут…»

На переносице у него были тонкие круглые очки, нос выдавался далеко вперёд, между глаз залегла глубокая складка. Весь он был какой-то несуразный, комичный, точно сломанная, а потом неправильно собранная кукла.

Я не чувствовал никакой опасности, которая могла бы исходить от него, и пригласил его:

«Присаживайтесь».

Он сел на стул около кровати и тут же протянул мне бутылку.

«Виски хотите?»

«Нет, спасибо», — я покачал головой.

«Вот и мне не хочется».

И он поставил бутылку на пол. «Железная логика», — подумал я.

Некоторое время он молчал. Я ждал, что он изложит причину своего визита, поэтому тоже не произносил ни слова. И всё-таки он нарушил тишину первым.

«Из моего окна, — сказал он, — видно окно дома напротив. Там живёт девушка. Я смотрю на неё уже шестой день, всё время, пока здесь живу. Она странная. Она не меняет позу, почти не двигается, только вяжет и вяжет какой-то бесконечный шарф. Я пытался привлечь её внимание, но она не реагирует ни на моё мельтешение в окне, ни на оклики, хотя её окно открыто».

Я продолжал молчать, внимательно глядя на своего нежданного гостя.

«Иногда к ней подходит женщина, что-то говорит ей на ухо, потом обе уходят. Когда они возвращаются, девушка снова садится у окна и вяжет. Каждый день, постоянно. И когда наступает вечер, темнеет, она не зажигает свет. Приходит эта

женщина, задёргивает занавески, но за ними всё равно темно. А утром, когда она их отдёргивает, девушка снова сидит за своим вязанием…»

«Простите, мистер Маркс, а чем я могу вам помочь?» — Я выделил слово «я».

«Ничем, — он пожал плечами. — Просто я в неё влюбляюсь, и мне срочно нужно с кем-то этим поделиться, иначе меня… как бы это сказать… разорвёт, что ли».

«Мне кажется, мистер Маркс, что вы усложняете вопрос. Возможно, девушка не слышит или не видит вас. Или она просто не хочет обращать на вас внимание. Может быть, стоит отправиться туда, в дом напротив, постучаться, представиться. Решиться на что-нибудь более серьёзное, чем наблюдение и размахивание руками».

«Вы думаете?»

«Я так познакомился с женой».

Здесь я соврал. Просто когда совет подкреплён личным примером, он воспринимается гораздо лучше.

«Просто пришли к ней домой?» — переспросил он.

«Ну, я подкараулил её на остановке общественного транспорта. А вам, видимо, придётся всё-таки постучаться».

«Да… — протянул он. — Как хорошо, что я к вам зашёл. Вы такие правильные слова нашли…»

Не то чтобы я был хорошим психологом, но людей, подобных Марксу, я уже встречал и хорошо знал, что им нужно для счастья. Уверенный совет — и всё. Причём не слишком-то и важно, что советовать. Главное, чтобы звучало бескомпромиссно.

«Вы правда думаете, что я могу вот так позвонить в её квартиру?»

«Ну… — протянул я. — Найдите предлог. Только не представляйтесь коммивояжёром, их не любят. Скажите: социологический опрос. Или перепись городского населения до тридцати лет — ваша девушка молодая ведь? Придумайте что-нибудь».

«Да…» — снова протянул он и отхлебнул из бутылки.

Честно говоря, я понимал, что ничего он не придумает и никуда не пойдёт. Будет вот так же сидеть в своём номере, пить виски и пялиться на девушку в окне. А потом уедет.

«А кто вы по профессии, мистер Маркс? Что вы делаете в городе?»

«Я… По делам приехал. Тут неподалёку есть заброшенные шахты, есть вероятность, что из них можно ещё извлечь кое-какой толк. Приехал договариваться с властями о разрешении на расконсервацию».

Я кивнул, мол, понятно. Меня не очень интересовало, что искали в шахтах — золото, калийные соли или что там ещё ищут. Я опасался того, что Маркс начнёт читать мне лекцию на узкопрофессиональную тему. В конце концов, Маркс мне просто порядком поднадоел. Утром я хотел покинуть город, и вечерний посетитель приходился в такой ситуации ни к селу ни к городу.

«Мистер Маркс, я дал вам дельный совет?»

«Да, конечно…»

«Тогда идите и следуйте ему. Не сейчас, конечно, а завтра».

Он закивал: да, конечно.

«Вот и отлично…»

Я смотрел на него с выражением «прошу-вас-покинуть-помещение-вы-мне-мешаете». Некоторое время он старательно делал вид, что не понимает, но затем всё-таки поднялся.

«Спасибо…»

Многоточия так и повисали в воздухе после каждого произнесённого им слова.

Потом он всё-таки ушёл, прихватив свою бутылку. А я остался валяться на кровати и пялиться в телевизор. Но, честно говоря, происходящее на экране уже не воспринималось как должное. Я всё думал о странном посетителе и его девушке в окне.

Потом я прикинул, что на моём этаже от силы десять номеров. Окна их выходят на улицу либо во внутренний двор, заросший густой зеленью. Окно, в котором мой сосед видел девушку, могло находиться в доме на противоположной стороне улицы либо, напротив, за палисадником. То есть пятьдесят на пятьдесят. Я встал и подошёл к окну собственного номера.

Тишина стояла невероятная. Даже не верилось, что мы в городе. Впрочем, улица, где находился отель, и днём не отличалась оживлённым движением, не говоря уже о вечере. Я пытался угадать, в каком окне мой сосед мог видеть девушку. Но почти все окна в домах через улицу были занавешены и темны. В некоторых горел свет, но сквозь занавеси разглядеть что-либо было невозможно. Некоторое время я ещё смотрел во тьму, а затем вернулся к телевизору. Ещё минут через пятнадцать я лёг спать, предварительно поставив будильник на восемь часов утра.

***

Наутро произошёл казус. Будильник не сработал, а я, верно, слишком устал за предыдущий день. В итоге я проснулся от стука в дверь в одиннадцатом часу. С трудом продрав глаза и поглядев на часы, я вскочил как ошпаренный, натянул штаны, набросил рубашку и полетел открывать дверь. Честно говоря, я надеялся на

то, что за ней обнаружится мальчик с завтраком.

Но вместо мальчика в комнату вошёл Маркс.

«Мистер…»

Он сообразил, что вчера так и не спросил моего имени.

«… Хэдли».

«Мистер Хэдли! Я… я побывал там».

«Где?» — Я не сразу понял, о чём он говорит.

«В её доме. В комнате напротив».

Я понял, что он говорит без всякой радости. В его голосе сквозила какая-то странная боль, скорбь. Я сделал спонтанный вывод о том, что у него ничего не вышло. Что он был с позором изгнан из дома напротив. Но всё оказалось гораздо сложнее.

«Честно говоря, мистер Маркс, я несколько тороплюсь, — сказал я. — Я проспал и благодарен вам за стук в дверь. Но теперь мне быстро нужно одеваться, кушать и уезжать в Омаху, поскольку вечером у меня самолёт».

Он смотрел на меня умоляюще.

«Я… мне не с кем поделиться… Я не займу много времени».

И такая просьба о сочувствии была в его глазах, что я не мог отказать.

«Хорошо. Только я буду собираться и одеваться».

«Конечно, конечно», — закивал он.

Я достал чемодан и стал складывать вещи. Откровенно говоря, их было — кот наплакал, однодневная командировка не требует серьёзной подготовки.

«В общем, — он встал в углу комнаты и вещал оттуда, — я сегодня утром понял, что вы были правы. И пошёл туда. Просто, спонтанно. На ходу уже легенду придумал: опрос среди населения. В соседнем доме — канцелярские товары, я купил папку, пару ручек, бумагу, чтобы выглядеть естественно. И пошёл. Я сразу окно нашёл снизу, это на третьем этаже. Там подъезд. Я вошёл, поднялся. На этаже — всего две двери, несложно догадаться, какая нужна. И позвонил».

Он замолчал.

«Это через улицу?» — спросил я для поддержания беседы.

«Нет, — он замотал головой. — У меня окна во двор. Это с другой стороны, через сад. В общем, позвонил. Открыла женщина — та самая, что уводила куда-то от окна девушку. Спросила, что нужно. Я сказал: так, мол, и так. Среди всех жителей города проводится опрос о качестве воды. Довольны ли вы, не повышено ли содержание железа, пользуетесь ли вы фильтрами, можно ли попробовать вашу воду. Будто я из водопроводной компании и мы собираемся менять трубы. Она сразу меня впустила. Из прихожей — три двери. На кухню и в комнаты. Я пошёл на кухню. Записал

её ответы, попробовал воду. Спросил, много ли накипи в чайнике, быстро ли она накапливается…»

«И?»

«Я вертелся минут десять. А потом задал вопрос: есть ли ещё жильцы в квартире, нам нужна наиболее полная социологическая картина… А она мне отвечает: нет, никто больше в квартире не живёт, я одна. Я же не мог сказать, что видел в окне девушку, это сразу бы её насторожило. Ну, я вроде как уходить стал, и тут — раз! — звон колокольчика из комнаты. Звонкий такой, яркий. Я на неё смотрю: вы же сказали, нет никого. А звон снова раздаётся. Она молчит, смотрит на меня. А потом говорит: ну, есть ещё одна. Племянница моя. Но с неё толку, что с козла молока, она инвалид, не встаёт и воду не пробует. Я говорю: как не пробует, она что — святым духом питается? Нет, говорит. Но она не видит, не слышит и не говорит, она даже объяснить вам не сможет, если что захочет…»

Я уже собрался и закрывал чемодан. Когда он произнёс последнюю фразу, я выпустил крышку чемодана из рук.

«То есть она слепоглухонемая?»

«Да».

В какой-то мере я понял его чувства. Он увидел девушку своей мечты и обнаружил, что ни при каких обстоятельствах не сможет даже поухаживать за ней. Говорят, знаменитая слепоглухая Хелен Адамс Келлер узнала о своей внешней красоте лишь в возрасте тридцати шести лет, когда некий молодой человек, оставшись с ней наедине, признался ей в любви и попросил руки (общалась она с помощью тактильного языка). Не помню уж, чем закончилась история с тем молодым человеком, но Маркс явно не был похож на героя и уж тем более не был влюблён по-настоящему.

«Что же, мистер Маркс, — сказал я. — Значит, вам не повезло. Такое случается. Мне очень жаль бедную девушку, но такие люди чаще всего остаются полностью оторванными от общества и ведут неполноценную жизнь. Сожалею».

Он покачал головой.

«Меня пропустили в ту комнату. Она сидит у окна и вяжет. Там все стены в коврах. Странных таких. Полосатых. Полоса белая, полоса жёлтая, полоса красная. Она делает полосу из нитей одного цвета, затем пристёгивает как-то к ней вторую. Ещё шарфы, салфетки. Всё одноцветное или полосатое, простые геометрические формы. Тётка у неё сердитая с виду, но добрая внутри. Ухаживает за ней. Звоночек — значит, что-то нужно. Например, в туалет сходить. Или есть, или пить. Она знает самые простые понятия, её тактильному языку не учили и в школу не

отдавали».

Я прервал его.

«Откуда вы всё это узнали?»

«А я с тёткой разговорился. Мы чай пили около часа. Я как оттуда вышел — сразу к вам».

А парень всё-таки не промах, подумал я. Он продолжил:

«Обычно таких детей отдают в специнтернаты. А её воспитывала мать — как умела. Год назад умерла, а у тётки денег нет, чтобы интернат оплачивать. Дешевле содержать саму Энн».

«Энн — это девушка?»

«Да. Ей двадцать лет всего. Ещё можно языку выучить. Не поздно. Но тётка не сдюжит…»

«Жалко, — сказал я. — Но ничего не поделаешь, мистер Маркс. Такова судьба. Не всем она улыбается».

Я взял чемодан и направился к выходу.

«Мне пора уезжать. Скорее всего, я поем по дороге или уже в Омахе».

Он вышел из номера вслед за мной, и я закрыл дверь.

«Спасибо, что выслушали, мистер Хэдли».

«Не за что».

Мы расстались на лестнице. Он отправился в свой номер, а я — на стоянку, к автомобилю. Махнув на прощанье портье, я вышел на солнце, прищурившись, огляделся. Где-то совсем недалеко от меня слепоглухая девушка день за днём вязала свои шарфы — один за другим, один за другим. И не было этой страшной работе ни конца, ни края.

Я выехал из Дэвид-Сити в одиннадцать часов, успешно добрался до Омахи и улетел в Нью-Йорк.

В завершение первой части этой истории я хочу привести несколько фактов о слепоглухих людях. Всё это я целенаправленно нашёл в различных книгах, потому что история несчастной девушки из Дэвид-Сити не выходила у меня из головы.

Первым обученным слепоглухим человеком считается француженка Викторин Мориссо, родившаяся в Париже в 1789 году. Она выучила язык, получила образование и умерла почти полноценным человеком. И до Мориссо слепоглухие учились общаться тактильными методами, но чтобы выучиться языку, говорить и писать на нём — это был первый случай. Первой слепоглухой, сумевшей полноценно выучить английский язык, считается американка Лаура Бриджман.

Мы должны понимать, что все слепоглухие так или иначе приучаются существовать в окружающем их мире. Тактильный язык, развитое обоняние и память помогают им. При этом мы с

вами не знаем, каким образом они воспринимают мир. Они не знают, что такое цвет, что такое звук. Чтобы выучить язык — не примитивный тактильный язык для повседневного общения, а именно конкретный французский, немецкий или английский язык, — слепоглухой должен быть очень, очень талантлив и тщательно обучен. Он всё равно никогда не узнает верного звучания тех или иных слов, но он может выучить буквы, а потом научиться составлять из букв слова и тексты. Слепому в разы проще — он постоянно слышит живой язык. Глухому тоже нетрудно — он может читать, его проблема — правильное произношение, многие глухие от рождения говорят с сильным «акцентом». У слепоглухого лазеек нет. Ему не покажешь цвет и не опишешь звук. Именно поэтому подвигами можно считать случаи, когда слепоглухие обучались языку настолько, чтобы ещё и писать на нём, как уже упомянутая Хелен Келлер.

В качестве литературы для ознакомления я бы порекомендовал прекрасный детектив французского писателя Ги де Кара «Чудовище». Позволю себе процитировать из него несколько предложений: «Каким же образом он, слепой, пробирался за ней сквозь лабиринт лестниц и коридоров огромного корабля? Благодаря обонянию — чувству, обостренному у него до предела. Его жена пользовалась одними и теми же духами, запах которых он любил, — как и все слепые, он обожает духи. Для него было детской забавой идти «по запаху» по бесчисленным коридорам».

Это история о слепоглухом, который сделал всё, чтобы спасти любимую женщину. Всё, что было в его силах. Они сильнее нас, мне кажется.

Но вернусь к окончанию моей истории.

***

Не так давно, полтора месяца назад я снова встретил Дугласа Маркса. С нашей первой встречи минуло десять лет. Я так и не женился: работа отнимала слишком много времени и сил. Я не ропщу на судьбу: семейная жизнь меня никогда не прельщала.

В общем, полтора месяца назад я по деловым вопросам отправился в Уотертаун, штат Массачусетс. Конечно, это не такая глубинка, как Небраска. Уотертаун, по сути, — часть огромной Бостонской агломерации. Как и многие крупные города США, Бостон не сходит на «нет» сразу за официальной границей города, а долго ещё тянется, перетекая из одного небольшого городка в другой. Некогда они были разобщены, но со временем срослись и стали единым организмом.

Я не буду рассказывать, какие дела привели меня в Уотертаун. Если честно, пока это является коммерческой тайной. На четвёртый день пребывания в городке (всего я провёл там неделю) я встретил странную пару. Я шёл, кажется, по Орчард-стрит мимо Виктори Филд и вдруг заметил впереди мужчину и женщину. Они шли медленно, чинно, аккуратно. Она крепко держала его под руку. На них были белые костюмы (соответственно, мужской и женский) и широкополые шляпы. Они казались выходцами из девятнадцатого века и выглядели очень эффектно даже сзади.

Обгоняя их, я не постеснялся обернуться. Лицо мужчины показалось мне знакомым, и через несколько секунд я вспомнил своего случайного соседа по отелю мистера Маркса. У меня вообще великолепная память на лица и имена.

«Мистер Маркс!» — улыбнулся я и подошёл к ним.

«О, мистер… простите, я забыл ваше имя, но помню, что мы общались в отеле в Небраске».

«Да, да. Кайл Хэдли».

«Конечно, мистер Хэдли…»

Я вспомнил его фирменное многоточие в конце почти каждой фразы. Но на этот раз он продолжил:

«Познакомьтесь с моей женой, Энн Маркс».

Он передал мне руку жены церемонным движением; её рукопожатие было на удивление крепким.

И тут меня осенило. На ней были круглые тёмные очки. Я стоял, как громом поражённый. Маркс понял моё замешательство.

«Да, мистер Хэдли. Это та самая девушка за окном. Простите, я говорю не очень быстро, потому что перевожу Энн наш разговор».

Я заметил, что он постоянно «мнёт» руку Энн в своей. Она отвечала тем же.

«Я сказал ей, что вы — тот самый человек, который дал мне совет притвориться водопроводчиком и проникнуть в вашу квартиру».

Энн рассмеялась.

«Она говорит, что очень благодарна вам. Если бы не вы, мы бы вряд ли познакомились».

«Она выучила язык?» — спросил я.

«Да. Она лишь в позапрошлом году окончила школу Перкинса для слепых здесь, в Уотертауне. Самая крупная, старая и знаменитая школа такого типа в США».

Они двинулись дальше, я шёл рядом. Маркс продолжал рассказывать.

«Уехал я из Дэвид-Сити тогда. За полгода подкопил денег,

работал, как проклятый. А потом вернулся за ней. Тётка была счастлива, как не знаю кто. Забрал Энн, отвёз её и отдал в школу в Уотертауне. Её обучили тактильному алфавиту и правильному английскому языку. Она оказалась на редкость способной ученицей. Она интересуется литературой и думает поступить на филологический. Очень много читает. Всё, что можно достать в брайле. К сожалению, аудиокниги ей недоступны».

«Вы женаты?»

«Да. Поженились два года назад. У нас есть сын. Предупреждаю ваш вопрос: у него со здоровьем всё в порядке. Сейчас он у бабушки и дедушки в Нью-Йорке гостит. А мы здесь живём. Я тут работу когда-то нашёл, чтобы быть к Энн поближе. Так и застрял вот уже на девять лет».

Он усмехнулся.

И мне вдруг стало хорошо. Я радовался обычному человеческому счастью и в какой-то мере ощущал себя причастным к нему. Такой случай — один из миллиона, когда слепоглухая девушка вдруг находит человека, который готов ради неё на всё. И Маркс показался мне сильнее и благороднее всех людей, с которыми доводилось в жизни общаться.

Мы дошли до поворота, на котором наши пути расходились. Мы пожали друг другу руки, и я пожал тонкую руку Энн.

«Спасибо», — тихо сказал Маркс напоследок.

А я просто улыбнулся.

***

А теперь вы можете спросить меня: при чём тут «Вэрик» Алекса Каца?

Представьте себе, что вокруг вас нет ничего. Абсолютная чернота. Абсолютная тишина. Вы живёте в вакууме, в чёрной дыре. Вы не можете читать книги, смотреть фильмы, сидеть за компьютером, слушать музыку. Вы — просто разум, у которого нет тела.

Так живут слепоглухие.

Но Энн повезло. Однажды она увидела во тьме светящиеся окна, и в одном из них был человек по имени Дуглас Маркс.

И она, подобно нам, глядящим на картину «Вэрик», достроила несуществующий небоскрёб, который стал для неё реальностью.

Несгибаемые

Мы должны понимать, что Гая Муция Сцеволы на самом деле не существовало. Что даже в Риме он был не более чем легендой. В 509 году до нашей эры (или чуть позже, точно неизвестно) воинственный этруск Порсенна осадил Рим. Молодой патриций Гай Муций тайно пробрался во вражеский лагерь и попытался убить царя-захватчика, но потерпел неудачу. Пленённого Муция привели к Порсенне, но патриций не испугался. Он протянул руку и сжёг её на огне, чтобы показать, насколько римляне сильны и решительны. Порсенна восхитился, отпустил парня и заключил с Римом мир. А патриция прозвали Сцеволой — «левшой».

Но это легенда. Скорее всего, Порсенна отступил по другим причинам. Или сил не хватило воевать с Римом, или золото, обещанное беглым царём Тарквинием Гордым за взятие города, показалось этруску чрезмерно кровавым. Род Муциев, конечно, существовал, но был ли в нём бесстрашный однорукий мужчина — не знает никто.

А история, которую я хочу вам рассказать, случилась на самом деле. Правда, не в Риме времён Порсенны, а две с половиной тысячи лет спустя в городе Бойсе, штат Айдахо, США. Шёл двадцать восьмой год. До начала Великой депрессии оставалось чуть больше года, ничто не предвещало ухудшение экономического положения Соединённых Штатов и разгула мелкой преступности. Бизнес в Бойсе держали серьёзные люди, которые не унижались до личного присутствия на разборках и умели считать время и деньги. Их было всего двое. Первого звали Джон Лэйн, а второго — Мартин Бауэр.

Лэйн был невысок ростом, полноват, но крепок. Он носил тонкие итальянские усики, а волосы зачёсывал назад и намазывал какой-то чудовищно вонючей помадой. Его вздёрнутый нос за милю чуял наживу, а глазами он умел так вцепиться в собеседника, что тот стоял, точно на эшафоте, и был готов продать Лэйну собственную мать. Лэйн владел половиной магазинов города, ещё порядка четверти крышевал. Он ездил на стильном спортивном LaSalle двадцать седьмого года, а за ним на мрачных чёрных «Фордах» следовала свита.

Бауэр казался не то чтобы полной противоположностью Лэйна, но всё-таки что-то в нём было иное, более грубое и менее показушное. Высокий ростом, костистый и широкий в плечах, он отлично умел стрелять и любил это делать. Он старался убивать

по минимуму; даже заклятых врагов он стремился засадить в тюрьму, а не уничтожить физически. Эта имитация совестливости уживалась в нём с чудовищной, извращённой жестокостью. Он обожал пытать людей, выжигать у них узоры на спине и отрезать пальцы. Получив нужную информацию, он неизменно отпускал своих жертв на волю в назидание Лэйну и полиции. Бауэр держал в городе рынки и лавки-производства, а также пару доходных домов.

А ещё Бауэр был моим шефом. И этот факт не позволял мне судить о нём объективно. Я просто знал: я завишу от Баэура, значит, я обязан быть преданным. И не должен думать о шефе вообще — ни хорошего, ни плохого. Просто делать то, что он прикажет.

***

Апрель тысяча девятьсот двадцать восьмого года выдался довольно тёплым. Шестнадцатого числа, в понедельник, я сидел у себя дома и читал книгу. Какой-то дешёвый вестерн издания начала века. Как водится, там была прекрасная девушка, могучий положительный герой и не менее могучий отрицательный. В конце им полагалось сойтись в смертном бою и по возможности сражаться в течение двадцати-тридцати страниц. Потом добро побеждало, целовало девушку и уезжало на белом коне в закат.

Под конец романа я начал засыпать. Когда прозвучала телефонная трель, я аж подскочил, книга упала на пол, а на меня свалился торшер, который я задел рукой. До телефона я добрался звонков через двадцать, наверное.

Девушка сообщила, что меня вызывает мистер Сноушейд. Значит, дело пахло жареным.

«Бирс, — без всякого приветствия сказал Сноушейд. — Чтобы через двадцать минут был тут. Экипировка — по полной».

И положил трубку.

Сноушейд работал у Бауэра начальником над громилами, то есть над нами. Он был лыс, пузат, рост имел под семь футов и ударом кулака мог успокоить быка. Поговаривали, что в бытность свою мясником на местной скотобойне Сноушейд постепенно убивал и потрошил всех не понравившихся ему коллег, да так мастерски их разделывал, что никто и догадаться не мог, что перед ним не говядина, а человечина. Но мне кажется, это сказки. Сноушейд был жесток и силён, но во всех его действиях присутствовал холодный расчёт. Если кого-то он мог просто застрелить — он стрелял, а не тратил время на более изощрённые способы.

Вы, наверное, думаете, что мы только и делали, что убивали друг друга и мирных жителей. Да нет, что вы. Основа бизнеса — это бухгалтерия и юриспруденция. Силовые методы применялись крайне редко и только по отношению к злостным нарушителям правил. И, конечно, порой происходили стычки между группировками Бауэра и Лэйна; впрочем, нечасто. Оба шефа уважали права и территорию друг друга.

Итак, за пять минут я собрался, надел костюм, прицепил кобуру и отправился в бар «Лайфстайл». Бар этот был в общем и целом обычной забегаловкой для пивных завсегдатаев. Но в задних его помещениях базировалась одна из тайных точек Бауэра. Там мы собирались, чтобы получить инструкции насчёт дальнейших действий.

Над стандартной деревянной застройкой возвышался Капитолий. Для двадцатитысячного городка (пускай даже и столицы штата) он был чрезмерно велик и пафосен. Поговаривали, что часть денег на его постройку отвалил Лэйн.

До бара было минут десять ходьбы, но я предпочитал ездить на машине — не зря же приобрёл вполне приличный Chandler с кузовом седан. Девочки любили мальчиков на машинах — да и сейчас любят, что сказать. Двигатель завёлся с полуоборота (я специально выбирал машину, которую не нужно было каждый раз раскачивать с толкача), и через несколько минут я уже заезжал во внутренний двор бара «Лайфстайл».

Я появился в комнате одним из последних. На месте не оказалось только Бауэра и его верной сторожевой собаки — Блэйда. У Блэйда был балисонг, то есть нож-бабочка. Это сейчас бабочка — у каждого второго хулигана, а по телевизору показывают мастер-классы по её открыванию и вращению. В двадцатые годы никто о существовании бабочек не знал: их завезли в США солдаты, возвращавшиеся с Филиппин после Второй мировой войны. А в пятидесятые американцы принесли их в Европу. Но Блэйд побывал на Филиппинах ещё в начале века и привёз оттуда три балисонга — классический одиннадцатидюймовый, укороченный семидюймовый и огромный балисворд под сорок дюймов длиной. Последний я видел всего один раз — как-то Блэйд приволок его на одну деловую встречу. Укороченный клинок он всё время крутил в руках. Мы дивились и странным ножам, и умению Блэйда с ними обращаться. Когда после войны бабочек стало пруд пруди, я тоже купил себе такой и попытался научиться эффектно крутить его. Но, конечно, у меня ничего не вышло, хотя возраст вполне позволял. Я родился в первый год нового столетия, красиво. В двадцать восьмом мне стукнуло двадцать семь. Но вернусь к нашей сходке.

Бауэр и Блэйд появились примерно через пять минут. За это время я выяснил, что никто толком ничего не знает, даже Сноушейд. Нас было девять бойцов, мы переминались с ноги на ногу и ждали шефа.

Бауэр вошёл стремительно — он вообще всегда и всё делал быстро. За ним мягко, точно кошка, в комнату вплыл Блэйд. Для Бауэра было приготовлено кресло. В принципе стульев хватало для всех — они стояли у стен.

Бауэр сел и сказал:

«Садитесь, господа».

Все сели.

«Итак, вы задаётесь вопросом, зачем я вас тут собрал. Причём всех».

Он всегда говорил рублеными, краткими, чёткими фразами, чеканя слова. Сложносочинённые предложения были для Бауэра нехарактерны.

Стоит пояснить, почему нас могло удивить подобное собрание. Дело в том, что на моей памяти не было ни единого случая, чтобы мы собирались таким большим составом. Обычно на деловую встречу или стрелку брали трёх-четырёх человек. Всеобщие собрания иногда проводились и с бойцами, но в основном они проходили в целях подведения итогов года или празднования какого-либо успешного дела.

«Итак, к нашему доброму другу Лэйну пожаловали гости. Два итальянца. Братья Мальдини. Кто они такие — я уже выяснил. Они из Фриско. Из группы Карло Молли».

Звучало это серьёзно. Молли держал под собой несколько районов Сан-Франциско, и о нём слышали многие. Правда, на нашу глушь такие ребята редко обращали внимание.

«Так вот, — продолжил Бауэр. — Молли хочет принять Лэйна под крылышко, а потом подмять меня. Под ним Сакраменто, Рино и вся мелочь к северу. А там уже наша территория, и он на неё скалится».

Бауэр обвёл нас взглядом, точно ждал одобрения.

«Мальдини привезли Лэйну некий документ. Если этот документ будет согласован и подписан, то Лэйн станет шавкой при Молли. А у нас появится враг, которого нам не взять. Поэтому у нас только один выход».

Он снова внимательно посмотрел на нас и вдруг спросил:

«Какой? Вот ты, Бойнтон, что думаешь?»

Бойнтон думать не умел по определению. Покатым лбом и крошечными глазками он напоминал в первую очередь австралопитека и находился примерно на такой же стадии умственного развития. Зато умел стрелять и драться.

«Я… э-э-э…» — вот и всё, что выдавил Бойнтон.

Бауэр повернулся к другому бойцу — спокойному немолодому Слиму. У Слима были грустные собачьи глаза и флегматичное выражение лица. Вислые усы придавали ему комичный вид.

«А ты, Слим?»

Тот почесал шею, качнул головой, несколько раз моргнул.

«Думаю, вдевятером в лоб мы не сдюжим, — наконец произнёс он. — Или хитростью, или подкрепой».

«Молодец, — кивнул Бауэр. — Придётся резать. И стрелять. Против Лэйна я зла не держу, конкуренция есть конкуренция. Но его союз с Молли мне не нравится. Потому нужно закончить эту историю. Ждать нельзя. Если братья уедут, то здесь появятся люди Молли. И тогда конец. Нужно зачистить всё. Убрать Лэйна и всех его подопечных. Убрать братьев».

«Как будем делать?» — хрипло спросил Сноушейд.

«Сегодня вечером. — Бауэр поднял глаза. — Берём его в «Сильвере».

«Сильвер» был нашим кинотеатром. Я водил в него девушек, ходил туда с одноклассниками, проводил там одинокие вечера. В городе имелось ещё три кинотеатра, но они и в сравнение с «Сильвером» не шли по качеству картинки и свежести программы.

«Он будет там?» — спросил Слим.

«Проверено, — ответил Бауэр. — Будет. Кассиры наши, для него куплено шесть билетов на восьмичасовой сеанс».

Так и началась эта странная история.

К моменту нашей сходки у Бауэра всё уже оказалось тщательно продумано. Он разложил на столе план кинотеатра и окрестностей, а затем чётко расписал, где и как будут расставлены бойцы Лэйна. Я понимал, что в стане соперника есть люди Бауэра — но точно так же шпионы Лэйна могли оказаться среди нас.

В соответствии с планом действий мы появлялись примерно через двадцать минут после начала часового фильма. Аккуратно убирали четверых наружных охранников — от этого зависел успех всей операции. Внутри «Сильвер» делился на две половины — стоячую и сидячую. Скорее всего, Лэйн должен был сидеть посередине во втором или третьем ряду. Его бойцам (по расчётам Бауэра, после снятия охранников их оставалось семеро) полагалось рассеяться среди стоящих зрителей; как минимум двоих Бауэр ожидал найти в сидячей половине зала.

Вы можете не поверить: ганстер держит полгорода, и у него всего полтора десятка бойцов? Так оно и было, честное слово. Во-первых, весь город насчитывал, как я уже говорил, едва ли

двадцать тысяч человек. Во-вторых, серьёзных конфликтов между группировками при соблюдении границ не случалось. А в-третьих, реальное количество подчинённых и Лэйна, и Бауэра зашкаливало за сотню. Просто многие работали в иных сферах. И в самом деле, юрист был нужен совсем на другом поле брани. Или, например, врач.

Итак, мы аккуратно входили в кинотеатр. Задачей номер один было уничтожение Лэйна и братьев-итальянцев. Кстати, ещё один момент может вызвать у вас недоумение: почему билетов купили именно шесть? На этот вопрос есть простой ответ: Лэйн, его девочка, два телохранителя ближнего боя и два итальянца. Остальные брали билеты независимо. Об этом кассир тоже донёс Бауэру.

«С жертвами среди гражданских — не считаться», — сказал Бауэр.

Он всегда говорил о тех, кто не принадлежал к группировкам: «гражданские». Это воспитывало боевой дух, что ли. Мы не переставали чувствовать, что мы на войне.

Два бойца — Слим и Сноушейд — должны были выйти из-за экрана и сразу начать стрельбу. Предполагалось, что хотя бы одну из трёх основных мишеней они снимут. В это же время остальные появлялись из центрального и боковых входов в зал и на эффекте неожиданности расправлялись с максимально возможным количеством людей Лэйна. Да, план казался несовершенным и чреватым гибелью нескольких бойцов, но время играло огромную роль. Завтра могло быть уже поздно.

Ещё с час мы совещались. Точнее, Бауэр давал инструкции. Сам он тоже планировал появиться под конец разборки.

«Хорошо бы, — говорил он, — взять одного итальянца живым. Но если не получится — чёрт с ним».

После разгрома Лэйна итальянцы уже не представляли угрозы для Бауэра.

Стоп, скажете вы, а почему Молли не мог прийти в город без всякого Лэйна?

Очень просто. Если он подминал под себя одну из существующих группировок, он автоматически получал базу в городе. То есть штаб, несколько десятков бойцов, магазины, бизнес. Если бы Лэйна не было, Молли пришлось бы завоёвывать чужой, причём достаточно далёкий от Фриско город, не имея в нём никаких ресурсов. Кстати, я не исключаю, что Молли предлагал сделку и Бауэру, но тот отказался. Слишком уж горд был наш хозяин, слишком твёрд. Дальнейшие события наглядно продемонстрируют его несгибаемый характер.

Когда мы закончили, до старта операции оставалось ещё

четыре часа. Всем было разрешено отправиться по домам. Сбор назначили на шесть часов в одном из локальных штабов, в квартале от кинотеатра. Всем предписывалось добираться разными дорогами и постараться не пересекаться друг с другом. Впрочем, подобная осторожность была излишней: Лэйн так привык к вечному нейтралитету между группировками, что подумать не мог о возможности столь дерзкого нападения.

***

Ожидание всегда раздражало меня. Я был импульсивен и непостоянен. Я менял женщин как перчатки, любил стрелять из разного оружия, не заводя себе постоянной пушки, и все решения принимал спонтанно, стараясь раздумывать как можно меньше. Единственным способом убить время до сходки мне показалось чтение вестерна, коим я и занялся.

На самом деле мы всегда были достаточно спокойны перед стрелками и разборками. Когда ты знаешь, что находишься вне закона, поневоле привыкаешь к этому состоянию. Сердце перестаёт биться чаще, когда целишься в человека, который целится в тебя. Как-то так. Я не мастак складно рассказывать, поэтому объясняю, как умею.

В половину шестого я вышел из дома. Под мышкой был верный кольт 1911 года, на голени — второй пистолет, крошечная восьмизарядная «Беретта 418» на крайний случай. Нож я беру редко, потому что не слишком хорошо с ним управляюсь. До искусного жонглирования Блэйда мне — как до Луны.

Я шёл не спеша, точно прогуливался, насвистывал про себя какую-то мелодию. Без пяти минут шесть я вошёл в комнату — все уже были в сборе.

«Старт в шесть двадцать», — сказал Бауэр, пристально посмотрев на меня.

Насколько я знал, он всегда опасался, что я куда-нибудь опоздаю. Моя привычка приходить точно ко времени, а не заранее многих раздражала. Тем не менее я был, кажется, единственным во всей компании, кто ни разу никуда не опоздал.

Последние инструкции ничем не отличались от первоначальных. Мы ждали лишь разведчиков — Марка Стивенса и доктора Стэпни. Ни Стивенс, ни доктор не принадлежали к бойцам. Это были просто наёмные работники, которые иногда получали деньги за небольшие услуги, не имеющие отношения к их непосредственным трудовым обязанностям. Стэпни, к слову, был не врачом, а доктором философии. Трудно найти более глупую специальность для подручного мафии.

Оба разведчика появились в пять минут седьмого. Они

подтвердили все предположения Бауэра: четыре бойца снаружи, семь в толпе, на первых рядах — Лэйн, девочка, телохранители и итальянцы. Порядок (слева направо) был следующий: телохранитель — итальянец — итальянец — Лэйн — девочка — телохранитель.

«И стрелок», — сказал под конец Стивенс.

«Кто?» — нахмурился Бауэр.

«Напротив входа на крыше человек с оружием. Похож на стрелка Лэйна».

«Подленько», — усмехнулся шеф.

В принципе того же Лэйна можно было снять из винтовки с крыши дома напротив. Но мы имели определённый кодекс чести. Жертва должна видеть убийцу и иметь теоретический шанс выхватить оружие первой. В принципе человек Лэйна на крыше был не более чем охраной. Но всё равно такой расклад пах чем-то неправильным.

В любом случае, Блэйд был отряжен на уничтожение снайпера. Со своими ножами он мог сделать это лучше любого из нас, мгновенно и беззвучно. Так же тихо следовало устранить и четвёрку на улице, но четырёх блэйдов у нас не было.

Мы сверили часы. Мои пришлось подтянуть на минуту вперёд, они отставали.

«Вот и всё», — сказал Бауэр, точно операция не началась, а подошла к концу.

В пятнадцать минут мы покинули помещение и направились к кинотеатру. Блэйд вышел чуть раньше. Свою работу он должен был закончить к тому моменту, как мы придём на место.

Все четыре охранника должны были исчезнуть в шесть двадцать. На мне не висело ни одного — именно из-за моего неумения обращаться с ножом. На улице оказалось довольно людно, горели фонари, прогуливались парочки. Над входом в кинотеатр сверкала реклама. Два человека Лэйна прохаживались по тёмным улицам справа и слева от здания, один стоял у задней двери, один прислонился к колонне, подпирающей козырёк над главным входом. Именно его убрать было сложнее всего, потому что он находился на свету. Впрочем, никого это не пугало. Кого бояться? Полиции? Она принадлежала нам. А больше и некого.

Всё прошло как по маслу. Троих малозаметных охранников сняли без единого звука, а человека у центрального входа снял Блэйд. Убив снайпера, он спустился вниз, подошёл прямо к бойцу Лэйна и всадил ему нож в живот, после чего оттащил тело в тень и прислонил его к колонне. У меня всегда создавалось ощущение, что Блэйд знает какое-то заклинание невидимости. Он умел расправиться с человеком на оживлённой улице так, что никто не

замечал даже движения. Тоже в своём роде искусство, скажу вам.

В шесть часов двадцать две минуты мы вошли в «Сильвер».

Как я уже говорил ранее, Слим и Сноушейд отправились к задней двери, чтобы появиться в зале из-за экрана. Семь бойцов, в том числе и я, входили через главную и боковые двери (через главную — трое). Блэйд ожидал снаружи. Бауэр сидел в машине, припаркованной у соседнего дома.

Мы вошли. В холле ребят Лэйна не было, только несколько не попавших в зал оборванцев пытались что-нибудь углядеть через щели в дверях да девушка в униформе «Сильвера» скучала за окошечком кассы. Увидев нас, она почувствовала неладное. Один из бойцов, Кэттерхэм, подошёл к ней и сказал несколько слов. Скорее всего, пригрозил. У дверей зала мы зашикали на оборванцев, и те мигом испарились.

Моё место было у боковой двери, в напарники мне поставили Бойнтона. Он держал наготове огромный браунинг образца 1903 года. Часы тикали. Бойнтон посмотрел на меня, прищурился и кивнул. Что он хотел этим сказать, я не знаю. Вероятно, подбодрить напарника.

Ровно в шесть двадцать пять Бойнтон ногой открыл дверь в зал и выстрелил в кого-то. Я ворвался вторым. Через другие двери уже сыпали остальные наши. Как ни странно, я сразу увидел одного из личных телохранителей Лэйна. Тот лез через спинки сидений, по головам зрителей в стоячую часть зала. Недолго думая, я выстрелил в него. Промазать было довольно трудно, и он сложился пополам, хватаясь за живот.

Суматоху, царившую в зале, сложно описать. Обычные зрители визжали, кричали, носились и пытались выбраться. Бойцы Лэйна прорывались к своему шефу, отстреливаясь от нас. Как стало понятно потом, начальная фаза операции прошла удачно — мы сразу положили пятерых врагов, а Сноушейд подстрелил самого Лэйна. Двое бойцов и оставшийся телохранитель отстреливались, как могли. Одного из наших задело, позже он умер на хирургическом столе.

Итальянцев не было видно — судя по всему, с началом пальбы они бросились на пол и ползали где-то под сиденьями. Девушка Лэйна лежала мёртвая — кто-то снёс ей половину черепа (скорее всего, Слим, он никогда не отличался деликатностью в общении с дамами).

Сопротивление подавили минуты через три. Второй телохранитель получил пулю в ногу, упал и был добит Сноушейдом. Тут же на центр стоячей части зала выволокли Лэйна и кого-то из итальянцев. Первый был мёртв, второй — истекал кровью, раненный в ногу и в руку. В этот же момент

появились Бауэр и Блэйд.

Бауэр вошёл, как подобает победителю. Ровно, неспешным шагом, с надменным выражением лица. Когда до лежащих на земле побеждённых оставалось не более пяти шагов, он резко остановился и обвёл помещение взглядом.

«А второй итальянец где?»

«Ищем», — отозвался Слим, который и в самом деле переворачивал трупы, пытаясь отыскать второго.

Первый едва слышно застонал. Блэйд спросил у Бауэра:

«Добить?»

«Второго найдём, тогда».

В воздухе повисло напряжение. Запахло провалом. Блестяще проведённая операция могла свестись на нет, выживи второй итальянец. Если он доберётся до Молли и всё ему расскажет, тогда нам не поздоровится. Молли не поленится послать сюда десант или даже приехать сам. Другое дело, если его люди просто исчезнут, а он никаких вестей не получит. Скорее всего, разведку пошлёт, а уж с ней Бауэр договорится как-нибудь.

И мы принялись усиленно искать второго. Все тела оттащили к одной из стен кинотеатра, каждое идентифицировали (так или иначе бойцы обеих группировок знали друг друга в лицо). Итальянца не обнаружили.

Смотреть на Бауэра было страшно. Сказать, что он разозлился, значило ничего не сказать. Но он умел держать себя в руках и принимать верные решения.

«Этого перевязать и в машину, — показал он на пойманного Мальдини. — Бирс, Эштон, Слим, Каррелл — выстроиться передо мной».

Мы вчетвером отвечали за пути отступления. Например, через боковую дверь входили я и Бойнтон. Бойнтон должен был идти и стрелять. А я — стоять у двери и вести огонь, параллельно посматривая, чтобы никто через мою дверь не ушёл. Я не сомневался, что свою работу выполнил. В первую очередь нужно было ловить Лэйна и итальянцев, и никто из них в поле моего зрения не появлялся.

«Итак, — сказал Бауэр. — Вы четверо держали двери. Если сейчас кто-то из вас совершенно честно признается, что мог случайно пропустить итальянца, то он получит временное отстранение от дел и мытьё сортиров в качестве наказания и испытательного срока. По-моему, это мягко. Если я узнаю, что кто-то соврал, он получит пулю в пах, после чего будет отпущен на все четыре стороны».

Мы понимали, что Бауэр так или иначе дознается, если кто-то ошибся и не хочет этого признать. У него было звериное чутьё. Но

мы молчали.

Он подошёл к Карреллу.

«Ты мог пропустить Мальдини?»

«Нет. — Каррелл покачал головой. — Я точно не мог».

Следующим стал Эштон.

«Ты мог пропустить Мальдини?»

«Нет».

Мы со Слимом ответили так же.

Где-то вдалеке зазвенела сирена приближающейся полиции. Надо сказать, что в то время полицейские машины не раскрашивались в яркие цвета; иной раз опознать в чёрном «Форде» наряд копов было невозможно. Да и сирена не считалась обязательной — всё зависело от законов штата. Но в Бойсе правили Лэйн с Бауэром. Поэтому полиция должна была заранее предупреждать о своём появлении. И ещё ей не следовало торопиться.

Бауэр слушал сирену, глядя вверх, на потолок кинотеатра.

«Мальдини! — неожиданно заорал он. — Я знаю, что ты прячешься где-то или сбежал. Но помни: твой брат у меня. Завтра в одиннадцать часов ты придёшь ко мне в дом для того, чтобы получить своего брата. Я даю тебе слово, что отпущу обоих при выполнении некоторых условий».

Он сделал паузу.

«А если не явишься, я буду медленно убивать твоего брата. Очень медленно. Неделю, не меньше».

Он повернулся к нам.

«Пошли».

К этому моменту раненого Мальдини уже унесли. Трупы оставили в зале.

Я думал о том, сработает ли трюк Бауэра. Услышал ли его Мальдини. Как оказалось — услышал. Но не буду забегать вперёд.

***

В кино часто показывают, как мафиози убивает провинившегося подчинённого в назидание остальным. Или просто для развлечения. Это, конечно, бред. Убивают разве что изменника, того, кто переметнулся к врагу или слил информацию полиции. Если кто-то провинился по незнанию, лопоухости или неумению, он будет наказан, но не слишком жёстко. Чтобы знал своё место и при этом уважал место начальника. Убить верного человека может только идиот, потому что люди — самый ценный ресурс.

Поэтому страха перед «разбором полётов» не было, только неприятное ощущение незаконченности дела.

На этот раз мы собрались в просторной гостиной дома Бауэра. Такие сходки он допускал в исключительных случаях. Изначально он планировал отметить успех операции, но обстоятельства несколько изменились.

Бауэр сидел в кресле, мы, все девять (за исключением одного раненого), стояли перед ним, точно нашкодившие котята. Блэйд тоже чувствовал себя виноватым. Хотя он и не принимал участия во внутренней операции, на его совести была наружная дверь. Он тоже вполне мог пропустить итальянца.

«Так, — сказал Бауэр. — Не время скорбеть. Время думать. Ругать я вас сейчас не стану. Я хочу услышать от вас, что мы должны делать. У кого-нибудь есть идеи?»

Блэйд поднял руку. Бауэр кивнул.

«Прямо сейчас посылаем два патруля на тридцатую, отслеживаем проезжающие машины. Ждём одиннадцати часов завтрашнего дня. Прочёсываем город».

Бауэр кивнул.

«Здраво. Эштон, Каррелл, Сноушейд, Клэптон — по двое на сторону».

«Но…» — начал Сноушейд.

«Ты понижен», — спокойно констатировал Бауэр.

Тот обречённо кивнул. Все четверо вышли из помещения.

«Если завтра к одиннадцати десяти Мальдини не даст о себе знать, мы немножко поиграем с его братом. Чтобы было громко. Во дворе, например. А потом отправимся искать нашего беглеца. Бирс, Блэйд, Слим, пойдёмте со мной».

Он встал и направился в другую комнату, мы последовали за ним.

«Я хочу, чтобы нашего пленника послушало несколько человек, а не только мы с доктором», — пояснил Бауэр.

Миновав коридор, мы вошли в небольшую комнату, где на белоснежной кровати лежал один из Мальдини. Он казался маленьким и жалким. Руки его располагались поверх одеяла, правая была перебинтована. Рядом сидел доктор Каттнер, который некогда работал хирургом в государственной больнице, а потом перешёл на более высокооплачиваемую должность при Бауэре.

«Жить будет, — констатировал Каттнер. — Кровопотеря случилась большая, пока он там лежал, пока довезли. Но успели. Слаб, конечно, но выползет».

«Хорошо», — кивнул Бауэр.

Он сел рядом с больным.

«Мальдини, ты меня понимаешь?» — спросил он.

Итальянец демонстративно отвернулся.

«Понимаешь. Ты Марко или Беппе?»

Мальдини молчал.

«Будем условно считать, что Марко. Мне так кажется. Так вот, Марко, не знаю, что ты сегодня слышал, но завтра мы ждём твоего брата. Если он не придёт, мы станем тебя пытать. Очень, очень больно. А брата всё равно поймаем. Чтобы этого избежать, ты должен нам помочь. Как отыскать Беппе? Куда он может пойти? Придёт ли он, если слышал мой призыв? Попытается ли уехать из города?»

Итальянец молчал.

Бауэр печально покачал головой.

«Ну, я ничего другого и не ожидал. Впрочем, сегодня у тебя спокойный день. Отлёживайся, отдыхай. Завтра наступит твоё время».

Бауэр встал.

«Слушать оказалось нечего», — констатировал он.

В этот момент итальянец всё-таки открыл рот.

«Он придёт. Только, что бы ты ни сделал, Бауэр, за нас отомстят».

И снова отвернулся к стене.

«Да? — усмехнулся Бауэр. — Вот и прекрасно».

И вышел, а мы последовали за ним.

Вообще всё это выглядит со стороны прелюдией. Появление итальянцев, перестрелка в кинотеатре, побег одного Мальдини, поимка второго и фраза «он придёт». Собственно, это и оказалось прелюдией, только мы тогда ещё не знали.

***

Без десяти минут одиннадцать следующего дня мы сидели в гостиной дома Бауэра. Вместе с шефом нас было шестеро. Не хватало Сноушейда, хотя без него, честно говоря, казалось спокойнее. Мы сидели и молчали. Я отчаянно скучал. Вестерн я дочитал утром, за новый взяться не успел, да и в любом случае читать в такое время было бы странно.

Мы привыкли к ожиданию. Наша работа требовала хладнокровия и умения молчать. Мы полностью удовлетворяли этим требованиям. Я смотрел на огонь в огромном камине. Иногда оттуда вылетали искорки и падали на ковёр, но шефа не смущала вероятность пожара. В его жизни случались вещи и пострашнее.

Без пяти минут одиннадцать Слим выглянул в окно и сказал:

«Он тут».

Мальдини и в самом деле стоял у ворот дома (от ворот до крыльца было порядка тридцати футов). Он не звонил, не кричал

— просто стоял и ждал, когда к нему выйдут.

«Я знал, — заметил Бауэр. — У этих итальяшек семья важнее дела».

Слим открыл дверь и встретил Мальдини.

Тот вошёл — белый, словно молоко, с ледяными глазами и непроницаемым лицом. Он был как две капли воды похож на брата. До этого момента я не думал, что они близнецы. Чёрные глаза и волосы резко контрастировали с цветом кожи.

Он прошёл в центр гостиной, не снимая обуви и даже не обтерев её о половик у двери. Он молчал, пристально глядя на Бауэра.

«Спасибо, Мальдини, что пришли, — сказал тот. — Вы Беппе или Марко?»

«Беппе».

«Прекрасно. Значит, я угадал. А теперь угадайте вы, чего я от вас хочу».

«Вы хотите, Бауэр, чтобы Молли не лез в ваш город».

Точнее ответа быть не могло. Бауэр склонил голову.

«Совершенно верно. А вы от меня хотите, чтобы я отдал вам брата».

Итальянец промолчал.

«Вы же понимаете, Беппе. Я могу сейчас пристрелить и вас, и Марко, как планировал с самого начала».

«Нет, — Беппе покачал головой. — У вас есть правила».

«Есть. Без правил — никуда. Поэтому я спрашиваю вас, Беппе, что вы можете сделать для меня. Если ваш ответ меня не удовлетворит, я вас убью. И Марко — тоже».

Итальянец сделал ещё несколько шагов и сел в свободное кресло.

«Я могу предложить вам сотрудничество с Молли, например».

«Меня такое не устроит. Я — сам по себе. И Молли ничего не сможет сделать, появившись в этом городе. Тут я его размажу. Ваша задача — замять конфликт. Чтобы Молли забыл обо мне. Чтобы я не помнил о нём».

Беппе склонил голову.

«Понимаю. Но этого я предложить не могу. Молли придёт сюда в любом случае. Не хотите с пряником — будет с кнутом. И поверьте, Бауэр, вы ничего не сможете сделать. Ваш дом сровняют с землёй, а вас подвесят за ноги и станут пытать — как вы обещали пытать моего брата».

В этот момент я перестал понимать итальянца. Ведь ему ничего не стоило соврать. Обмануть Бауэра, пообещать замять дело, отговорить Молли от появления в Бойсе. Но он сказал правду, подписывая себе смертный приговор.

«Хм, — ухмыльнулся Бауэр. — Я ценю честность, Беппе. Даже если она граничит с глупостью. Только, простите, я не могу в это поверить. Сдаётся мне, вы просто бравируете».

«Бравирую, — кивнул итальянец. — Но при этом говорю правду. Мне безразлично, что вы сделаете со мной. Я пришёл, чтобы спасти брата».

«Мы ходим по кругу. — Бауэр тяжело оттолкнулся от подлокотников и поднялся. — Вы не можете мне ничего предложить, кроме бездоказательных угроз. Соответственно, я пока не вижу причин для того, чтобы отпускать вас с братом».

Он повернулся к нам.

«Приведите второго».

За Марко пошли мы со Слимом. Доктора не было, Марко оказался привязан к постели, хотя это представлялось излишним. Он не спал, прислушиваясь к происходящему в гостиной, и страдал от того, что ничего не слышал. Когда мы вошли, он тут же замкнулся, демонстрируя полное безразличие и нежелание общаться. Мы развязали его и потащили под руки в гостиную.

Когда мы вошли, Бауэр прохаживался туда-сюда по ковру, а Мальдини по-прежнему сидел перед ним в кресле.

Честно говоря, я бы на месте Бауэра просто застрелил обоих, и всё. Проблема решалась двумя нажатиями на спуск. С другой стороны, на месте Беппе Мальдини я бы в жизни не явился к врагу без единого козыря на руках.

«На колени», — сказал нам Бауэр.

Конечно, он имел в виду, чтобы мы поставили на колени Марко. Тот застонал от боли, когда мы потревожили его простреленную ногу.

«У вас есть ровно одна минута, — обратился Бауэр к Беппе, — чтобы привести хоть одну причину, почему я должен отпустить вас».

«Не нас. Моего брата будет вполне достаточно, — спокойно ответил Беппе. — А причина… Молли в любом случае придёт сюда. Если вы убьёте нас, он придёт, чтобы выяснить, куда мы пропали. Если отпустите, я не стану врать Молли, чтобы оправдать ваши действия в кинотеатре. Призывать его к атаке я тоже не буду, но, зная его достаточно долго, скажу, что он не станет отсиживаться. Доказательство моим словам…»

Он поднялся. Бойнтон потянулся к пистолету, Бауэр жестом пресёк эту попытку.

Беппе подошёл к камину.

«Мы несгибаемые, Бауэр. Мы не боимся смерти, мы боимся только позора. А несгибаемого человека нельзя опозорить».

С этими словами он закатал рукав пиджака, рубашки — и

засунул руку прямо в огонь.

Запахло горелым. Мне стало страшно. На лице итальянца не отражалось ничего, будто он отключил мимические мышцы. Рука обгорала. Бойнтона вырвало прямо на ковёр. Слим отвернулся. Я как загипнотизированный смотрел на руку Беппе, которая уже превратилась в обугленную головешку.

«Достаточно», — сказал Бауэр.

Беппе вынул руку из огня и несколькими взмахами сбил остатки пламени. Рука обгорела до мяса. Слава богу, кости не было видно, иначе меня бы тоже вырвало. Сколько раз мы видели трупы, сколько раз видели пытки — но зрелище человека, который сам сжигает собственную руку, казалось омерзительнее всего на свете.

«Мы несгибаемые. Молли придёт», — тихо произнёс Беппе.

Теперь стало заметно, как ему больно, как по его лицу стекает пот.

По всем ребятам Бауэра было видно, что им тоже страшно. Если на Молли работают такие люди, то он действительно не поленится прийти и сравнять Бойсе с землёй.

Марко лежал на ковре без сознания.

И в этот момент Бауэр сделал то, чего от него не ожидал никто.

Он совершенно спокойно снял пиджак, закатал рукав рубашки и подошёл к камину, не отводя взгляда от итальянца.

«Мы тоже несгибаемые, Беппе», — сказал он и повторил действия Мальдини.

Тоже поместил руку в огонь.

Бауэру приходилось много труднее: это было заметно невооружённым глазом. Я видел, как подрагивает его рука, как он сжал зубы от боли, как тяжело дышит.

Итальянец кивнул — просто кивнул, и Бауэр вынул дымящуюся руку.

«Мы тоже несгибаемые, — повторил он. — Передай это Молли».

А потом он подошёл к Слиму, здоровой, правой, рукой вынул у того из кобуры пистолет (Слим услужливо распахнул пиджак), подошёл к лежащему Марко и выстрелил ему в голову. И Беппе ничего не сделал, ничего не сказал. Потому что мы все чувствовали: Бауэр получил это право.

***

Врач обработал руки Бауэра и Беппе Мальдини. Ожоги оказались столь глубоки, что обоим требовалась ампутация. Но

Беппе принял решение уехать во Фриско и уже там лечь в больницу. О Марко больше не было сказано ни слова.

Мальдини уехал в тот же день. Слим получил наказ максимально быстро отвезти его домой. С Бауэром итальянец больше не разговаривал: всё было сказано.

Что случилось потом? Ничего. Я не знаю, как повлияло на Молли самопожертвование обоих участников этой драмы, но на Бойсе никто не покушался. Бауэр оказался единоличным владельцем города. Он стал немного мягче, потому что ему было не с кем сражаться, не с кем спорить. Вместо левой руки ему изготовили шикарный фарфоровый протез, который он тем не менее обычно прятал в карман пиджака.

Иногда я думаю о мотивации этих людей. С Мальдини всё понятно: на позиции слабого он мог рисковать, ничего не теряя. Умереть с рукой или без руки — велика ли разница?

Но Бауэр находился на позиции сильного. И он предпочёл оставаться сильным, хотя единственным оценившим эту силу стал человек, стоящий ниже на социальной лестнице, простой боец Молли. Хотя, нет, конечно, не простой. Вероятно, в иерархии мафии Фриско итальянец всё-таки занимал определённое место.

Смог бы я поступить так же? Нет, однозначно нет.

Бауэра убили много лет спустя, уже после Второй мировой. До сегодняшнего дня дожили только я и Бойнтон, который в сороковые прикупил небольшую ферму, женился и занялся выращиванием коров и свиней. Остальные так или иначе погибли — кто в перестрелках с полицией, кто во внутренних разборках. А Блэйд, как ни странно, разбился на машине, причём без посторонней помощи.

Знаете, это были славные деньки. С приходом Великой депрессии мы стали наглее, бизнес сросся с бандитизмом, доходы увеличились, несмотря даже на обесценивание денежных масс. В сороковые всё снова вернулось в прежнюю колею, а потом настало новое время. В пятидесятые годы я работал инструктором сборной штата по стрельбе, и мы выиграли чемпионат США. Но это уже совсем другая история.

Всю жизнь я безумно жалел о том, что не мог, подобно Мальдини или Бауэру, сказать в лицо врагу: «Мы несгибаемые. Расскажи это всем. Мы — несгибаемые».

Мне довелось жить в эпоху великих людей. Они не знали, кто такой Сцевола, — но были подобны ему. И, в отличие от него, они существовали на самом деле.

Фотограф

Где-то там, в толпе, меня ищет Фотограф. Он протискивается между разгорячёнными телами, проталкивается, извиняется перед кем-то, но не прекращает искать меня. На его груди болтается «Лейка» 1954 года, лучший в мире фотоаппарат; Фотограф никогда не променяет его ни на какой другой. Он наготове: едва заметив в толпе мою фигуру, моё лицо, он тут же начнёт снимать: один кадр, два, три, четыре — и так до конца плёнки, щёлк-щёлк-щёлк до бесконечности. Потом он будет лихорадочно менять плёнку и снова щёлкать, и снова менять плёнку, и снова снимать.

Люди празднуют, люди бегают по улицам и радостно кричат, они подбрасывают в воздух мишуру, взрывают хлопушки с конфетти, толпа — такая разноцветная, шумная. Фотограф ищет меня в этой толпе, потому что не знает, как найти меня иначе.

***

Я родился в Берлине. Часть, к которой был приписан мой отец, базировалась в Германии в течение года, а потом её перебросили на территорию нынешней Молдавии. Тем не менее пусть я и был совсем маленьким, но помню, как люди постоянно упоминали в разговорах какую-то стену. Спустя много лет я понял, что речь шла о знаменитой Берлинской стене, этом уникальном символе диктатуры. В Молдавии мы жили одиннадцать лет, очень долго.

Страна нищала, отец ушёл из армии и долгое время оставался безработным. Мы жили на жалкие доходы матери, которая присматривала за детьми богатых людей. А потом отец принял волевое решение, и в 1998 году мы эмигрировали в США, в Чикаго. Мне было четырнадцать лет. На первых порах родители перебивались случайными доходами; отец таскал какие-то камни на стройке, мать устраивалась то в один ресторан, то в другой. Потом мы получили «зелёные карты» и превратились в американцев. В возрасте двадцати одного года я стал, наконец, гражданином США.

Я родился гермафродитом. Это звучит страшно, но на самом деле всё зависит от грамотного отношения родителей и врачей. С раннего детства я знал, что я не такой, как все, и знал, что эту тайну никому нельзя выдавать. Чаще всего гермам делают

операции почти сразу после рождения. И в девяноста процентов случаев это операция по превращению герма в девочку. Конечно, гораздо проще отрезать рудиментарный член и организовать более или менее достойное влагалище, чем удалить все женские элементы и настроить мужское достоинство на нормальную работу. А потом у такой девочки возникает тяга к другим девочкам, потому что изначально она была задумана природой как мужчина, просто что-то пошло не так. Повторные операции по перемене пола для гермов почти всегда невозможны, по крайней мере, опасны. Человек остаётся несчастным на всю жизнь.

Мои родители поступили очень грамотно. Они разъяснили мне, что у большинства людей никакого выбора нет. А мне повезло: у меня есть выбор.

Когда у меня начался период полового созревания, я чётко осознал, что меня тянет на девочек, о чём честно сказал папе. Он давно ждал от меня подобного признания. Несколько месяцев понадобилось для предварительной подготовки и окончательного утверждения принятого решения. Уже в США мне сделали операцию, и я превратился в полноценного мужчину. Единственным недостатком было то, что я не мог иметь детей. Впрочем, я не очень страдал от этого, потому что осознавал, что могло быть намного хуже.

Я не стал поступать в университет. Стоило это недёшево, а у меня были другие достоинства. В возрасте шестнадцати лет я пошёл работать в модельное агентство. И довольно быстро стал популярен. Потому что я — скажу не кривя душой — очень красив. Моя красота — не грубая, мужская, она скорее утончённая, она отдаёт каким-то благородством; у меня белая кожа, чёрные, как смоль, волосы, я изящен и строен, как танцор. Я стал появляться на обложках журналов, начал сниматься в телевизионных роликах, демонстрировать одежду на подиуме и в модных изданиях. У меня не было проблем ни с деньгами, ни с поклонницами.

В двадцать три года я женился. Женился довольно спонтанно, просто внезапно вспыхнула взаимная страсть. Она знала, что я не могу иметь детей, но, конечно, не догадывалась о причинах. Мы жили вместе два года, после чего разошлись, довольно мирно, без дележа имущества и каких-то взаимных оскорблений. Будто расстались старые друзья. До недавнего времени я поддерживал с ней отношения: иногда звонил, заходил в гости. Её новый друг, приземистый и небритый боксёр, был мне неприятен, но она сказала, что в нём она нашла то, чего ей не хватало во мне: мужественность, силу. Я не был в обиде.

К этому времени я уже жил в Нью-Йорке, родители остались в

Чикаго.

Когда мне исполнилось двадцать семь, я познакомился с Фотографом.

***

Я не буду упоминать его настоящее имя. Оно слишком известно; если эта рукопись когда-либо будет опубликована, на его голову обрушатся совершенно ненужные вопросы. Поэтому я буду называть его Фотографом.

Он подошёл ко мне после одного из показов, маленький человек в сером свитере и коричневых вельветовых брюках. А на груди у него висела допотопная «Лейка».

«Я — фотограф», — сказал он. И всё, больше он ничего мне не сказал.

«И что?» — переспросил я.

«Я хочу сделать фотосессию, вы не против?» — спросил он как-то неуклюже.

«А вы кто?» — спросил я грубо.

Он дал мне серую визитку. Фамилия, написанная на ней, была мне знакома. Он был скорее художником. Он не работал на журналы или какие-то фирмы. Он просто снимал людей и делал выставки своих работ, и на эти выставки приходили тысячи зрителей. Я тоже был на одной. Выставка называлась «Серый мир». Все фотографии на этой выставке были просто видами города или даже разных городов. Улицы, здания, лица людей, кадры из магазинов, из холлов отелей, из ресторанов. Люди, люди, люди большого города. А потом я внезапно обнаружил, что лица — одни и те же. Везде. Эти люди не были жителями, которые случайно попали в объектив. Они были натурщиками. Продавец в магазине одновременно являлся клиентом ресторана и водителем такси. Швейцар в отеле был маляром, рисующим вывеску парикмахерской. Девушка на рекламе парикмахерской шла под ручку с мужчиной, который садился в такси, а регулировщик на перекрёстке просил подаяние у пожилого мужчины, ожидающего в холле отеля. И я поневоле включился в игру: искать на разных фотографиях одних и тех же людей и запоминать, какие роли они исполняют.

Выставка была сделана мастерски. Я не пропустил ни одного снимка.

Поэтому когда прочитал его имя на визитке, я сказал:

«Конечно. Я согласен».

Я пришёл на первую фотосъёмку через несколько дней, кажется, в субботу. Был уже вечер, он ждал меня у дверей своей студии, и мелкий снег чуть припорошил его беретку. Мы верим в

то, что художники обязательно должны носить береты, как военные — каски или фуражки, как повара — дурацкие белые колпаки. На самом деле, художники ничего никому не должны. Они одеваются так, как нравится им самим. Фотографу нравились береты. Как выяснилось позже, у него их было около тридцати штук, всех расцветок и форм. Хотя я видел его всего в двух: в скромном сером (именно в нём он и встретил меня в первый раз у дверей студии) и в чёрном. В чёрном берете он был на похоронах своего брата.

Он стоял под снегом, облокотившись о дверной косяк. У него был маленький двухэтажный домик в пригороде Нью-Йорка; сама студия располагалась на первом этаже, а на втором находилась его квартира.

Когда я подошёл, он улыбнулся и подал мне руку.

В тот день он хотел просто сделать несколько пробных кадров. Небольшую съёмку, чтобы убедиться в том, что я — именно то, что ему нужно. Он не рассказывал, для какого проекта он меня позвал на самом деле. Он был восхищён моим профессионализмом. Ему достаточно было изогнуть руку, и я принимал точно такую позицию, какая была ему нужна. Я легко читал каждый его жест и сам удивлялся этому. Впрочем, когда работают два профессионала высокого класса, профессионал-фотограф и профессионал-модель, съёмка даётся легко, без единой остановки.

Он не просил меня раздеваться — на этот раз. На мне были синие джинсы и белая майка под свитером. Он попросил меня снять свитер, но не более того. Он снимал меня анфас, в профиль, сидя, лёжа, сверху, снизу. И постоянно менял плёнки. На свою «Лейку» он накручивал различные объективы, укреплял огромную зеркальную вспышку, снова снимал. В углу на полочке я заметил ещё несколько фотоаппаратов и спросил его, почему он снимает фотоаппаратом, которому стукнуло полвека (я достаточно разбираюсь в фотоаппаратах, чтобы определить примерный год выпуска). Он сказал: «Пойдём». И мы прошли в другую комнату.

Там были стеллажи, заполненные различным фотографическим оборудованием. Тут были как старинные «Лейки» и «Никоны», так и ультрасовременные цифровые монстры производства «Сони» или «Кэнон». Тут были объективы всех размеров и форм, даже какие-то перископообразные, изогнутые. Тут были вспышки разных типов, ванночки для проявки, множество всевозможных фильтров, штативов, чехлов и так далее.

«Видишь? — сказал он. — У меня всё есть. Просто ничего лучше этой «Лейки» человечество ещё не придумало».

Во время съёмки произошёл случай, который мне очень хорошо запомнился.

Хотя операция была сделана очень давно, мне постоянно нужно принимать гормональные препараты, потому что иначе может произойти рецидивное проявление женских элементов. Может начать расти грудь, например. Время приёма очередной таблетки пришлось на перерыв в съёмке, и я попросил воды. Он принёс мне стакан, и я проглотил таблетку. Фотограф насторожился.

«Что это?» — спросил он.

«Лекарство», — ответил я.

«Что за лекарство?» — спросил он более настойчиво.

«У меня есть некоторые хронические заболевания, которые требуют регулярного приёма препаратов», — сказал я.

«Покажи», — потребовал он.

Я не знал, что делать. В общем, он не имел права требовать у меня показать таблетки. Я мог отказаться и уйти. И больше не вернуться. Я чувствовал, что именно это и произойдёт, если я откажусь. Но что-то заставило меня достать пластинку таблеток и дать ему.

Он прочитал молча и вернул мне упаковку.

«Извини», — сказал он.

Я знаю, о чём он подумал. Моя женственная красота плюс мужские гормоны однозначно навели его на мысль, что я изменил пол. Что раньше я был женщиной. На самом деле я с сочувствием отношусь к гомосексуалистам. У меня был выбор, а у них — нет. Когда мужчина рождается женщиной или наоборот — это страшная психологическая травма, по-моему. Поэтому я сторонник перемены пола для гомосексуалистов. Я не могу понять тех, кому доставляет удовольствие быть мужчиной и любить мужчину (или быть женщиной и любить женщину). Это уже — болезнь, а не случайная ошибка Творца.

В общем, он не изменил своего поведения по отношению ко мне. Предположив, что раньше я был женщиной, он остался так же немногословен и мастеровит.

По окончании первой съёмки он спросил меня, сколько я беру в час за позирование. Я назвал сумму. Он стал платить мне примерно на пятнадцать процентов больше, что меня устраивало. В деньгах он явно не нуждался.

Он сказал, что не будет рассказывать, в чём состоит его замысел относительно меня. Он никогда не говорил моделям, для чего их снимает. Он просто просил изобразить то или иное чувство, какие-либо эмоции или движения.

Мы договорились, что я буду приходить к нему в

понедельник, среду и пятницу в течение одного месяца. Он сказал, что сможет закончить работу как раз за это время. Платил он мне наличными, без всяких договоров, просто отдавал деньги и всё. Меня это тоже устраивало, потому что львиную долю моих доходов обыкновенно отнимали налоги.

Хотя он и скрывал итоговую цель съёмки, конечно, я догадывался о его замысле. Мы гуляли с ним по пристани. Я — в шортах и кроссовках, хотя было уже довольно холодно. Он заставлял меня бегать и снимал на бегу. Он снимал меня, когда я отжимался, когда я подтягивался на турнике, причём снимал безостановочно: на одно отжимание он умудрялся истратить по две плёнки. Мне казалось, что я уже знал секрет его будущей выставки. Её посетитель каким-то образом должен был двигаться по залам очень быстро: может быть, Фотограф планировал поставить там что-то вроде траволатора. И фотографии на стенах должны были слиться в мультфильм, в киносеанс. Хотя это только моё предположение: я до сих пор не знаю, что задумал Фотограф.

А потом произошёл перелом. То, что привело к краху.

***

На третью неделю съёмок он сказал мне:

«У меня открылась выставка в галерее Фридриха Киршнера».

Конечно, я изменил название галереи. Чтобы не создавать проблем её владельцу.

Я пошёл на ту выставку. Не мог же я пропустить выставку своего Фотографа.

Галерея Киршнера располагается на окраине. Это большое современное серое здание с квадратными окнами, в стиле социалистического кубизма. По меньшей мере, подобный стиль у меня ассоциируется с советскими коробками-домами и с Казимиром Малевичем. Это личные ассоциации, не стоит воспринимать их как что-то серьёзное.

Постоянного интерьера в галерее нет. Как и в большинстве современных художественных салонов, он меняется от экспозиции к экспозиции. Я зашёл в галерею, сдал куртку в гардероб и вошёл в первый зал. Он был серым, этот зал, абсолютно серым, как всё здание снаружи. И в зале не было фотографий. Точнее была — только одна.

Она занимала всю противоположную от входа стену и была не чёрно-белой, а, скорее, серой, как стены зала, как всё здание, как теперь, зимой, весь город. На ней была изображена девушка. Она стояла чуть сбоку, занимая не более четверти площади снимка. Она смотрела в объектив огромными чёрными глазами, в

них сквозило какое-то недоуменное выражение, будто она была ошеломлена тем, что кто-то её снимает. У неё было длинноватое лицо, чуть непропорциональное, тонкие губы и пышные чёрные волосы, кудрявые, непокорно разлетающиеся во все стороны.

Она была прекрасна, чёрт побери. Я подумал тогда именно так: «Она прекрасна».

Почему-то чёрные кудрявые волосы и орлиные носы у меня всегда ассоциируются с евреями. Нет, не с расистской точки зрения: просто это предмет принадлежности к национальности. «Немецкий еврей» — это что-то страшное теперь; когда мы слышим это словосочетание, перед нами появляются картины измождённых тел, вырванных с мясом золотых коронок, толпы скелетов, бредущих в яму. И одновременно — толстые курчавые эмигранты, сидящие на мешках с перечёркнутой S-кой.

Нет, если говорить о евреях как о расе, как о человеческом фенотипе, они очень красивы. Рыжие — ладно, но когда я вижу кудрявых черноволосых девушек с тонкими профилями хищных птиц, я останавливаюсь и провожаю их взглядом. Моя жена была красива, но не так. Иначе. Просто красива и всё. Здесь красота — другая, странная, изящная. Её боишься повредить случайным прикосновением.

А может, всё это — чушь. Это тоже — моя мысль в тот момент. Может, она цыганка, или армянка, или немка, но вот такая получилась внешность.

Я прошёл дальше и оказался во втором зале.

Первой фотографией был снимок какого-то выпускного класса или курса, не знаю. Тоже серый, чуть зернистый. Множество едва читаемых лиц. Пятой слева в третьем ряду была она, и это было понятно с первого взгляда. Её лицо просматривалось так же плохо, как и остальные, но почему-то я нашёл её сразу.

Таким же образом были сделаны все фотографии в этом зале. Она была везде, и ни одно лицо ни с одной фотографии я не запомнил, хотя в некоторых случаях в центре внимания Фотографа оказывались совершенно другие люди. А замечал — только её, на заднем плане, всё с тем же удивлённым выражением огромных глаз.

Третий зал был одновременно и последним. Там была она — в жизни. Просто случайные цветные фотографии. Смеётся с друзьями (один обнимает её стройную ногу), лежит на кровати, извиваясь подобно пантере, идёт по осеннему парку, сидит на корточках и смотрит куда-то вверх. Случайные кадры, вполне вероятно, сделанные не самим Фотографом.

Над выходом — последняя фотография, сделанная в том же

интерьере, что и первая. Она точно так же смотрит в объектив, только поза чуть другая.

Я вышел и посмотрел на часы. Два маленьких зала я изучал в течение трёх часов. Я совсем не заметил, как пролетело время.

И подумал, что я обязательно найду эту девушку.

Странно, но постоянно вращаясь в модельном мире, я никогда с ней не сталкивался. Ни один фотограф, кроме моего, не снимал её ни для модных журналов, ни для обложек, ни для рекламы. Вполне вероятно, Фотограф просто поймал её на улице, случайную девушку, проходившую мимо.

Я спросил о ней на следующий день.

«Тебе понравилась выставка?» — ответил он вопросом на вопрос.

«Да», — кивнул я. Я сказал ему, что он гениально снял бесподобную натурщицу. И что я хотел бы найти её.

Он улыбнулся. «У меня много кто пытался узнать её телефон, но я же понимаю, что нельзя давать его незнакомцам», — сказал он. Выдержав паузу, он продолжил: «Но тебе я дам её координаты. Мне кажется, вы были бы прекрасной парой».

Он многое о ней рассказал, прямо во время съёмки. Снимал меня и говорил. Наверное, ему нужно было, чтобы я выразил интерес. Или что-то другое.

Она была журналисткой в каком-то бульварном издании. Жила в небольшой квартирке в районе Саннисайд, у неё были кошка и попугайчик. Фотограф случайно увидел её на улице и остановил. И предложил стать центром его новой выставки. «Она очень легко позировала, точно всю жизнь этим занималась, — сказал он. — Это её призвание — быть моделью, но она выбрала другой путь. Что ж, слава богу, я сумел её найти и открыть». И он дал мне её телефон.

«Звони, — сказал он. — Можешь сослаться на меня».

Ещё я попросил у него её фотографию. Ту самую, с выставки, только маленькую — если есть. Конечно, фотография была, и он дал мне её. «На стол поставишь», — улыбнулся Фотограф.

В тот же день я вернулся домой и набрал её номер. Никто не взял трубку. Я подумал, что позвоню позже.

На следующий день я дозвонился. Трубку поднял мужчина.

«Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Мэрилин», — сказал я. Я забыл упомянуть её имя: конечно же, Фотограф назвал мне его. Мэрилин Рихтнайт. Наверное, в честь Мэрилин Монро, подумал тогда я.

Мужчина сказал, что никаких Мэрилин по этому телефону нет. Мы сверили телефоны: я продиктовал ему тот, который набирал. Он уверил меня, что набрал я верно, но номер —

неправильный. Я извинился и позвонил Фотографу. Была суббота, до понедельника я бы не дотерпел. Фотограф сказал: «Сейчас уточню». Он уточнил. Всё было верно. Он продиктовал мне именно тот номер, который был записан у него в блокноте, и я не ошибся ни в одной цифре.

Поэтому вечером того же дня я купил букет цветов и отправился к ней домой. Наверное, я влюбился в ту фотографию, в её глаза, в её волосы.

Консьерж не обратил на меня внимания, и я спокойно поднялся на третий этаж. На этаже было девять квартир: с тридцатой по тридцать восьмую. Тридцать девятой квартиры, указанной в адресе, в этом доме просто не было. На четвёртом этаже отсчёт начинался с сороковой квартиры.

Я спустился вниз и поговорил с консьержем. Он уверил меня, что тридцать девятого номера в доме не было никогда. Десять долларов, исчезнувших в его кармане, позволили мне заглянуть в список жильцов. Мэрилин Рихтнайт нигде не значилась. Ещё десять долларов напрягли его память. Девушка с таким именем или фамилией никогда не жила в этом доме. Я показал ему фото. Он не узнал её: она и в самом деле никогда тут не появлялась.

В понедельник начиналась последняя неделя моей работы у Фотографа. У меня тогда не было других дел, хотя поступило несколько предложений, которые я обдумывал.

Я рассказал Фотографу о своих поисках. Он удивился. Он поклялся мне, что не врал. Он показал мне блокнот, в котором был записан её телефон и адрес. Он дал мне адрес редакции, где она работала. Он сказал, что у него где-то есть номер газеты, в котором напечатан её материал.

В редакции девушка по имени Мэрилин не работала. Никогда.

Тем не менее я продолжал верить Фотографу по нескольким причинам. Во-первых, не было никакого смысла мне врать, тем более так явно. Во-вторых, на его лице читалось недоумение, которое практически невозможно сыграть. Он и в самом деле был поражён сложившимися обстоятельствами. Возможно, он бы и поверил, что Мэрилин назвала ему неправильное имя, что соврала насчёт адреса и работы. Но он звонил ей по этому номеру телефона. Даже если она успела его с тех пор сменить, у него точно был номер газеты.

Он нашёл этот номер в завалах барахла в комнате, которую называл кабинетом. Там он занимался, в основном, бумажной работой: оформлением документов для организации выставок и так далее. Мы вместе с ним пролистали всю газету. Ни там, где он показывал, ни где-либо в другом месте статей, подписанных

«Мэрилин Рихтнайт», не было.

Тогда я снова пошёл на выставку.

Она была там: на этих фотографиях. Её потрясающее лицо по-прежнему встречало удивлённым выражением чёрных глаз. «Карих», — говорил Фотограф. На цветной фотографии было видно, что у неё карие глаза. Хотя я уже не верил в его правоту, потому что он на самом деле ничего о ней не знал, кроме того, что она приходила к нему в студию и фотографировалась.

«А те люди — на фотографиях?» — спросил я. «С ней?» — «Да».

Это были случайные статисты. Они появлялись и исчезали во всех массовых съёмках Фотографа. Он не знал их имён. В каждой его работе всегда было только одно центральное лицо. Или несколько центральных лиц. Остальные не играли никакой роли.

Тогда я сказал: «Дайте мне свой блокнот».

Он не отказался. Отдал. В этот день мы не снимали. В этот день я вернулся домой, сел на телефон и обзвонил всех предыдущих моделей Фотографа. Ни один номер не был правильным. Везде отвечали какие-то люди, которые не понимали, кто и зачем им звонит.

Тогда я набрал свой собственный номер. Вместо коротких гудков старческий голос продребезжал «Алло». И я положил трубку.

***

Интересно, откуда взялись фотографии Мэрилин из третьего зала? Те самые, где она снята в домашней обстановке, с друзьями, с родителями. Наверное, она их и принесла, когда пришла из ниоткуда. И оставила у него, когда вернулась в никуда.

Все модели Фотографа были красивы. Прекрасны. Она стала, по-моему, верхом его творчества. Верхом его фантазии, потому что это он придумал её. Он придумал её и снял, а когда она стала ему не нужна, когда все фотографии для выставки были готовы, он попрощался с ней, не зная, что подписывает ей приговор. Покинув в последний раз его студию, она ушла в небытие.

Я позвонил родителям. Незнакомый голос сообщил мне, что такие здесь не проживают. Я позвонил в модельное агентство. Оно ещё работало, несмотря на поздний час. Ни один человек с моей внешностью и именем никогда не был зарегистрирован в их базе данных. Потом я отключил мобильник и разбил его о пол, чтобы не было искушения включить его снова.

Он всё придумал. Он придумал мою биографию, все эти испытания, придумал мой телесный недостаток, придумал моих

родителей и мою жену. Он сконструировал мою жизнь так, чтобы я получился правильным. Таким, каким он хотел меня видеть. Таким, каким я был ему нужен.

Отключить домашний телефон я, конечно, забыл. В трубке прозвучал его голос. Он сказал, что боится потерять меня, что он скоро приедет, главное, чтобы я сказал ему свой адрес. У меня нет адреса, подумал я. Когда он приедет, окажется, что по этому адресу проживают совсем другие люди. Или на этаже нет квартиры с таким номером. Мне даже не хочется проверять эту теорию: я уверен, что прав. Вы знаете, как это страшно: вмиг оказаться выдумкой, фантомом, игрушкой в чужих руках. Поэтому я ответил, что иду гулять в город. Сегодня какой-то праздник, кажется, потому что люди танцуют, играют, бегают по улицам и пускают фейерверки.

Копию этого рассказа я отправил ему, уже без этих, последних строк. Интересно, выдумает ли он ещё кого-нибудь после меня? Ведь теперь он знает, почему его модели настолько ему подходят, почему понимают его с полуслова.

Он не просто талантливый фотограф. Он — гений, каких ещё никогда не видывал свет.

Я печатаю эти листы в двух экземплярах. Один запечатываю в конверт и высылаю Фотографу. Второй дописываю и жду окончания. Если он не найдёт меня в толпе, значит, меня не существует. Ведь чтобы найти меня, ему не нужно звонить мне домой или приходить ко мне. С таким же успехом я могу находиться в его студии, в толпе на улицах Нью-Йорка, Берлина, Москвы или Парижа. Он может найти меня везде. Если он меня не находит, меня нет.

***

Фотограф проталкивается через скопление людей. «Лейка» 1954 года по-прежнему у него на груди. Он высматривает меня среди множества лиц, но безрезультатно. А если он всё же заметит меня, то тут же станет исступлённо щёлкать, пока не кончится плёнка.

Наверное, думаю я, он ищет не только меня. Он ищет Мэрилин. Он ищет того, кто был до неё.

Сидя здесь, в своей квартире, слушая крики толпы, я молюсь неизвестному богу, чтобы Фотограф меня нашёл.

Возвращение в Нанкин

О смерти Айрис мне сообщили всего несколько дней назад. Чёрт побери, я так и не успел ничего ей сказать. Ни слова. Я не знал ни о её новой депрессии, ни о работе над очередной книгой. Осень 2004 года оказалась очень холодной. Не в смысле температуры на улице. Просто холодной, каким бывает взгляд врага. Я видел такие взгляды во Вьетнаме.

Я был старше Айрис на восемнадцать лет. Теперь она всегда останется молодой и прекрасной, и будет смотреть на меня с той самой фотографии. Чёрная блузка, чёрные волосы, тёмно-синий фон, взгляд — куда-то вправо, в сторону от объектива. И в глазах — печаль и сила, две составляющих героизма.

Я уже слышал о том, что ей будут ставить памятник в Мемориале жертв Нанкинской резни. И включат её в число жертв. Но что ей до этого? Что её двухлетнему сыну, который толком не видел своей матери? Что от этого мне, безумно влюблённому в неё на протяжении всех этих лет, что я боялся к ней подойти? А как я мог это сделать? Профессор микробиологии университета Иллинойса, инвалид войны, — и прекрасная студентка. Что могло быть между нами? Ничего. Потому я рассматривал её многочисленные фотографии и читал её страшные, страшные книги. Как она пропускала через себя боль тех женщин, тех детей, которых японские солдаты топили в крови?

Я не могу себе этого представить.

8 ноября 2004 года она вышла из дома, села в свой пятилетний «Олдсмобиль Алеро», миновала Кальварийское католическое кладбище, миновала футбольный стадион Сан-Хосе, свернула направо и припарковалась возле спортивного магазина Reed. Она вышла из машины, высокая, темноволосая, и зашла в магазин. Её интересовал охотничий отдел. Она не в первый раз была здесь и хорошо знала, где продаются копии револьверов середины девятнадцатого века, красивые и смертоносные. По калифорнийским законам боевое оружие можно купить только по предварительному заказу, не менее десяти дней. Но копии — для того, чтобы хранить их за стеклом — проходят по законодательству не как оружие, а как сувениры. Их можно купить сразу. В 11.56 она предъявила продавцу свои права, заплатила пятьсот семнадцать долларов и приобрела Ruger «Old Army» сорок пятого калибра. Она положила револьвер в бардачок вместе с инструкцией по эксплуатации и вернулась домой. Она

вела себя совершенно нормально. Вечером она поужинала со своим мужем Бреттом, а в полночь они отправились спать.

9 ноября 2004 года незадолго до рассвета Айрис Чан вышла из дома и снова села в машину. Она проехала по улице Санта-Круз, выехала на семнадцатое шоссе и отъехала примерно двадцать пять миль от своего дома, где припарковала машину на обочине. В 7.15 утра она вставила дуло револьвера в рот. Пустота поглотила её, револьвер выпал из руки, а глаза остекленели. Наверное, для Айрис так было проще. Она слишком, слишком долго жила не своей жизнью, а жизнью других людей. Тела этих других людей были исполосованы штыками, изорваны, обезглавлены, изувечены, исковерканы чумой, газовой гангреной и — безымянны. В поисках имён тех других людей Айрис Чан потеряла своё собственное ранним утром 9 ноября 2004 года.

***

Корни самоубийства Айрис лежат в событиях, произошедших за тридцать лет до её рождения, в 1937 году. Летом, седьмого июля, началась Вторая японо-китайская война. Японцы хотели завладеть землёй, не больше и не меньше. В подшефных областях Китая они организовывали марионеточные правительства и снимали сливки. Несмотря на то, что китайская армия превосходила японскую по численности примерно втрое, оснащение японцев было не в пример выше, не говоря уже об организации и выучке. Если китайцы и побеждали на отдельных участках, то лишь живой массой, как саранча, гасящая огонь телами первых тысяч. Надо сказать, что вскоре после объявления войны была предпринята попытка урегулировать конфликт мирным путём. То есть Китаю предлагалось откупиться от Японии определённой частью территории. Конечно, Китай на уступки не пошёл.

К осени японцы дошли до Шанхая, где установили очередное марионеточное правительство — так называемое Правительство «Большого пути» города Шанхай. Но в те времена столицей Китая был Нанкин, и основным аргументом в борьбе за территории было, конечно, взятие главного города страны. Ближе к началу зимы японские войска прошли вдоль реки Янцзы и 13 декабря 1937 года без особых трудностей взяли Нанкин. На следующий же день в Пекине было сформировано марионеточное Временное правительство Китайской Республики. С виду всё было красиво, по законам войны. Одни наступали, другие были неспособны наступление сдержать и постепенно сдавали город за городом. Надо отметить, что наступление шло не очень быстрыми

темпами. Чем больше удалялись японские войска от берега, тем активнее становились китайские партизаны, ухудшалось снабжение, изнашивалась техника…

Но мы не будем следить за продвигающейся в глубь континента японской армией. Она ещё получит своё. Слишком уж по большой территории была разбросана армия Китая, слишком сложными были климатические и природные условия. Как Наполеон в 1812 году был вынужден покинуть Россию во многом из-за её чудовищных размеров и плохого климата, так и японцы столкнулись впоследствии с естественными преградами. Но всё это уже не имеет отношения к истории Айрис Чан.

Я вернусь в Нанкин, в 13 декабря 1937 года, день падения столицы.

Японские солдаты не встретили почти никакого сопротивления. Миллионный город пал на колени и молил о пощаде. Редкие организованные формирования тут же безжалостно уничтожались. И японские солдаты в полной мере ощутили вседозволенность и безнаказанность. Перед ними расстелилось огромное поле для экспериментов и развлечений. Поле, засеянное не людьми, но объектами. Молодые красивые женщины и мальчики, с которыми можно делать всё, что угодно. Бесплатная еда, предметы быта, возможность утолить свои самые низменные страсти. Был и ещё один момент: японским солдатам было предписано экономить боеприпасы. Снабжение не вызывало особого доверия, за каждую пулю солдат отчитывался. Поэтому мечи и штыки стали основным оружием японцев в этой страшной, односторонней Нанкинской войне.

Больше всего пострадали, конечно, женщины. Их насиловали так, как хотели. В одиночку, впятером, вдесятером. Четверо держали за конечности, пятый работал. Выбивали зубы и насиловали в рот. Вставляли в анальное отверстие штык, чтобы расширить его, потом насиловали туда. Разные книги сообщают разные цифры — от двадцати до восьмидесяти тысяч изувеченных и убитых китаянок за пять первых дней резни. Девочек выдёргивали прямо из-за школьных парт (обучение не прекращалось в дни войны) — и тут же насиловали по десять-пятнадцать раз.

Японцы ощущали себя хозяевами, им хотелось продемонстрировать превосходство. Китаец, не снявший шапку и не склонившийся до земли при приближении врага, получал штык в живот. Многих закапывали заживо — это казалось японцам интересным. Два японца поспорили, кто первым зарубит больше сотни китайцев. Взяли по катане, вышли из трактира и устроили резню — на двоих около двух сотен человек. Об этом

доблестном поединке писала потом крупная японская газета Tokyo Nichi Nichi Shimbun. Детям разбивали головы, чтобы из них не вырастали новые враги Японии. Обливали людей смолой и поджигали их, над живыми факелами смеялись, отгоняя их штыками. Отрезанные головы насаживали на колья и заборы. И ещё японцы позировали, фотографируясь со своими жертвами. Смотрите, я держу в руках чью-то голову. Смотрите, это отрезанная рука. Смотрите, я насилую труп.

Чёрт, я не хочу рассказывать о подобных ужасах, но именно они заставили Айрис вставить пистолет в рот.

Всего за несколько дней Нанкинской резни было убито около трёхсот тысяч человек. Спасением для местных жителей были живущие в Нанкине европейцы, представители благотворительных миссий и дипломаты. Японцы не были готовы вступать в войну с Европой или США. Американская военная машина разнесла бы японскую армию в клочья. Поэтому некитайские районы обходили стороной. Член НСДАП, немецкий фашист Йон Рабе, директор китайского отделения компании Siemens в спешном порядке сформировал специальный комитет и организовал Нанкинскую зону безопасности. Это спасло более двадцати тысяч жизней. Ещё около десяти тысяч китайских девочек укрыла в подвалах женского колледжа Гиньлинь американская миссионерка Минни Вотрин.

Это были Оскары Шиндлеры по-китайски.

***

Айрис всегда хотелось быть не журналистом, а историком. Её мало интересовала светская хроника, новости спорта и прогноз погоды. Она постоянно читала книги по истории китайского народа — своего народа. Её родители эмигрировали из Китая в шестидесятых, Айрис родилась уже в Штатах. Я познакомился с ней в 1988 году. Хотя сложно назвать это «познакомился». Я зашёл в аудиторию, а она сидела там одна, склонившись над какой-то книгой. Моё занятие начиналось примерно через полчаса, я хотел подготовиться, разложить микрофильмы, проверить проектор. Я не стал прогонять миловидную девушку, только спросил её: «Вы ко мне?» Она ответила: «Нет. Можно, я тут ещё немного посижу?» Конечно, я разрешил.

Мне было скучно тогда. Я не так давно развёлся с женой, работа не приносила почти никакого удовольствия, подготовка к занятиям вызывала отвращение. Поболтать со студенткой было приятно. Тем более с чужой студенткой, которая не придёт на мои занятия и не будет строить мне глазки в духе «мы знакомы

вне учебного процесса».

«Что вы читаете?» — спросил я.

«"До свиданья, Япония" Джозефа Ньюмана», — ответила она.

Я не знал, что это за книга. Спросить «интересно?» было бы пошлостью в данной ситуации, и я постарался задать наиболее адекватный вопрос.

«Историческая?»

«Да. Анализ истории Японии и формирования национального характера в свете нападения на Пёрл-Харбор».

Книга выглядела потрёпанной.

«Я не думал, что старые книги дают на руки». — «Сорок шестой год, оригинальное издание. Мне для диплома, с трудом выпросила». — «А на какую тему диплом?» — «Японско-китайские дипломатические отношения первой половины XX века».

Она так и не написала этот диплом. Кажется, написала что-то другое, более простое и позволившее легко окончить университет. А отношения между Китаем и Японией стали её хобби — и славой.

Так мы и болтали. Я — механически проверяя порядок микрофильмов, она — краем глаза читая книгу. Кажется, за двадцать минут нашей беседы она перелистнула едва ли одну страницу. При этом я не чувствовал, что мешаю ей; когда в воздухе повисала неловкая тишина, она прерывала её даже чаще, чем я.

Конечно, мы воспринимали друг друга по-разному. Я смотрел на неё как на девушку, за которой можно поухаживать. Она на меня — как на приятного, но заметно старшего и, вероятно, женатого преподавателя. И ещё я ни черта не смыслил в истории Второй мировой войны, японо-китайских конфликтах и жизни китайской диаспоры в США.

Мы общались эпизодически всё время, пока Айрис жила в Иллинойсе. Спустя полтора года она уехала в Балтимор, а потом — в Нью-Йорк, где работала в New York Times. У меня и сегодня хранятся несколько выпусков с её статьями на передовице. Ещё в «балтиморский период» она вышла замуж за своего сокурсника Бреттона. Несмотря на то, что я не имел никаких прав на Айрис, я почувствовал тогда укол ревности.

Для полноты картины опишу ещё несколько наших мимолётных встреч. Я не уверен в том, что это столь уж необходимо, но, возможно, в какой-то из них кроются первые зёрнышки, едва заметные ростки склонности Айрис к суициду. Проблема в том, что она никогда не была к этому склонна.

Осенью 1988 года я сидел на скамейке в парке и кормил птиц. Это занятие присуще людям одиноким и старым; до

старости мне было ещё довольно далеко, но одиночество моё стало к тому времени таким всеобъемлющим, что деваться было некуда. Я приходил в свою холостяцкую квартиру, накручивал круги по гостиной (тут я всегда вспоминал дорожку, протоптанную в ковре Скруджем МакДаком), наливал себе стаканчик виски, выпивал его до середины, а остальное сливал в раковину, потому что не любил алкоголь. Странно, правда? Пожалуй, единственный алкогольный напиток, доставляющий мне удовольствие, — это бейлис, но для того, чтобы напиться, он не подходит. Тут нужно что-нибудь покрепче, погорче. Виски подходил прекрасно — доступно, дёшево, сердито. Впрочем, знакомый присылал мне из Франции настоящий арманьяк пятидесятых годов, но его ненадолго хватало.

Вернусь к парку и 1988 году. Осень в том году налетела внезапно, позолотила листья, певчие птицы исчезли, а их место заняли крикливые и прожорливые голуби. Я бросал им хлебные крошки, они дрались, выдирали друг у друга перья. Я ни о чём не думал, просто механически отрывал корочку — и бросал, отрывал — и бросал.

Из забвения меня вывела Айрис.

«Привет», — сказала она, присаживаясь рядом.

Я поздоровался.

«Вы их неправильно кормите».

«А как надо?»

«Дайте хлеб».

Я отдал, она взяла, потом оторвала небольшой кусочек и бросила точно в голубя, обретавшегося на некотором расстоянии от основной толкотни. Тот поймал кусок на лету и мгновенно проглотил его.

«Выбирайте одинокую птицу и бросайте так, чтобы она могла поймать кусочек в полёте. И вам интереснее — это как баскетбол, — и драки не будет».

Я улыбнулся, но ничего не сказал.

«Я вас помню, — сказала она. — Вы микробиолог, мы с вами разговаривали в аудитории».

«Да», — ответил я.

«Тогда вы живо интересовались тем, что я читаю».

«Мне и сейчас интересно».

Она достала из сумочки книгу.

«Вот».

Это была «Садако и тысяча бумажных журавликов» Элеонор Керр.

«Детская книга», — сказал я.

«Нет, вовсе нет. Её нужно читать детям, чтобы они понимали,

что война — это страшно, и чтобы тренировали свою силу воли. Но у этой книги есть второй слой». — «Какой?» — «Вы читали её?» — «Когда-то читал». — «А сколько вам лет?» — «Тридцать восемь». — «Ну, вот видите. Вы уже не были ребёнком, когда она вышла, и всё-таки прочли её». — «Попалась случайно». — «Но запомнили?» — «Да, конечно».

Я и в самом деле хорошо помнил эту книгу. Я её купил в 1978 году, когда женился и жена ждала ребёнка. Думал: соберу, пока ребёнок подрастёт, хорошую коллекцию детских книг. Слушал рекомендации, покупал книги для разных возрастов. Когда ребёнок родился мёртвым, я хотел выбросить всю коллекцию, порядка сотни книг. Но не выбросил. Надеялся на другого ребёнка. Читал их сам. Но забеременеть во второй раз жене было не суждено. В общем-то, именно это постепенно свело на «нет» всю первоначальную прелесть наших отношений и в итоге подтолкнуло нас к разводу.

Историю девочки Садако я никогда до прочтения книги не слышал. Тем более удивительным оказалось для меня то, что в честь Садако и других детей — жертв атомной бомбардировки — был создан целый парк, а журавлик стал для Японии чем-то вроде символа надежды.

«Я читала эту книгу и раньше, — продолжила Айрис. — Но теперь захотелось перечесть. Каково это — умирать и пытаться успеть сделать эту тысячу журавликов, надеяться прожить ещё один день, чтобы успеть?» — «Я думаю, страшно». — «Страшно. Но при этом — необыкновенно сильно. Смело». — «Надежда умирает последней». — «Не говорите банальностей. Кстати, меня зовут Айрис». — «Джон».

Она замолчала. Сложно сказать, почему в тот день я был так молчалив. Наверное, я с горечью вспоминал о жене, о несложившихся отношениях, и эти воспоминания наложили отпечаток на моё настроение. Даже Айрис не могла в полной мере разбудить меня.

Всё-таки один вопрос я задал ей в тот день.

«А откуда у вас такое красивое имя?» — «В честь Ириды, богини радуги». — «Греция?» — «Да. Мои родители любили — и любят — историю. Хотя они — физик и микробиолог». — «Микробиолог?» — «Да. Мать — Йин-Йин Чан». — «Она работает на моей кафедре!»

Я был удивлён — и внимательно всмотрелся в лицо Айрис. И в самом деле, я сразу увидел общие с Йин-Йин черты. Нос, и особенно — форма губ; губы у Айрис были очень полными, странного разреза, похожие на распустившийся цветок. Это не очень характерно для китаянок.

«Ну вот, мир тесен», — улыбнулась она.

«Скорее, университет тесен».

«Да, точно».

Примерно в таком ключе мы беседовали ещё минут десять. Голуби были забыты. Они не уходили, потому что хлеб всё ещё оставался в моей руке, но шуметь перестали. Потом Айрис извинилась — ей нужно было идти по делам — и покинула меня. А я бросил весь оставшийся хлеб голубям, целым куском, и тоже ушёл, оставляя за собой жестокое птичье побоище.

***

Вторая наша встреча, стоящая описания, произошла незадолго до отъезда Айрис в Балтимор. И снова она подошла ко мне, сидящему с книгой на скамейке. Вы скажете: как это банально, неужели ты не мог выдумать чего-то более оригинального? Нет. Я поставил себе цель рассказать вам правду, как бы скучно она не звучала. Впрочем, я ещё не дошёл до того эпизода, которому вы вправе не поверить.

«Что читаете?» — спросила она.

«Обычно это мой вопрос», — улыбнулся я.

«Конечно. Но теперь я его у вас украла!»

«Если честно, детектив».

Она села рядом. Было лето.

«А я уезжаю, — сказала она. — Меня приняли в университет Джона Хопкинса». — «Балтимор?» — «Да». — «Ну, молодец». — «И ещё я пишу книгу». — «О чём?» — «О китайской диаспоре. Как всегда хотела». — «Для такой книги нужно много ездить по стране и разговаривать с людьми». — «Я так и буду делать, начиная с этого года. Пока что собираю предварительные материалы. В конце концов, у меня перед глазами живые герои — мои родители». — «Тогда про Цянь Сюэсеня напишите». — «Про кого?» — «Это один из основателей Лаборатории реактивного движения при НАСА. Этнический китаец, великий учёный, которого выслали в Китай в ходе охоты на ведьм в пятидесятые. Он и тут сделал карьеру, и там».

Она достала блокнот, ручку и старательно записала мои слова.

«А вы откуда о нём знаете?»

«Ну, в мою профессиональную сферу интересов входит биологическое оружие, а при НАСА и его разрабатывали».

«Тогда я буду у вас консультироваться, если понадобится. Вы не против?»

Она сказала это с улыбкой, но я чувствовал серьёзность в её

словах. То есть она уже знала, что будет работать с Сюэсенем, кем бы он ни был.

«Конечно, не против. Всегда к вашим услугам».

Это был последний наш разговор из тех времён, когда она ещё была счастлива и полна надежд. Следующая наша встреча пришлась на 1998 год, она стала последней — и самой главной. Я не знаю, почему Айрис избрала меня, чужого ей человека, в качестве своего поверенного. Но случилось именно так. Впрочем, не буду забегать вперёд.

Айрис уехала, а моя жизнь продолжала течь своим чередом. Приливы сменяли отливы, дни печальные перетекали в дни весёлые. У меня появилась более или менее постоянная девушка. Ей было тридцать, она преподавала английскую литературу и была порядочной занудой. Но меня всё устраивало. Она ненавидела полуфабрикаты и очень вкусно готовила. В постели инициатива всегда лежала на мне, но такой ход вещей мне тоже был привычен.

Иногда я слышал различные новости об Айрис. Как я уже упоминал, в 1991 году она вышла замуж, но детей не завела. Зато она и в самом деле написала книгу о Цянь Сюэсене. Книга вышла в 1995 году и получила название «Нить шелкопряда». Название книга получила ввиду того, что именитый профессор стал в 1980-х годах одним из разработчиков китайской ракеты противокорабельной обороны HY-2 Haiying по прозвищу Шелкопряд. Айрис ездила в Китай, неоднократно беседовала с Сюэсенем, собирала факты, дозванивалась до высших военных инстанций. Ей было всего двадцать семь, когда книга вышла из печати, и тираж её разошёлся очень быстро. Человек любит книги о заговорах, тайных операциях и межконтинентальных ракетах (последние тоже фигурировали в аннотации). Я купил «Нить шелкопряда» и прочёл её. Добротная, интересная книга, биография выдающегося человека, сделавшего много хорошего для своей страны и для чужбины.

Но вовсе не «Нить шелкопряда» стала главной её книгой. О главной книге Айрис Чан можно рассказывать часами, можно даже написать «книгу о книге», и всё равно читатель не сможет погрузиться на ту глубину, которой достигла молодая журналистка. Глубину, которая затянула и сожрала её.

***

«Резня в Нанкине» (ISBN 0–465–06835–9) вышла в издательстве Basic Books в первой половине 1997 года. Я был рад увидеть на прилавке новую книгу Айрис и тут же купил её. В том

издании было двести девяносто страниц и более девяноста фактических ошибок уже на первых шестидесяти четырёх страницах. Тираж расходился как сумасшедший. Айрис звали в радиопередачи и на телевидение, у неё брали многочисленные интервью, и ей писали письма.

Письма были разные. Во-первых, критика. Каждый профессиональный историк считал своим долгом ткнуть ей носом в очередной ляп, ошибку, недочёт, причём львиная доля писем заканчивалась рекомендацией больше серьёзных книг не писать, а перейти в светскую хронику и освещать жизнь Роберта де Ниро или Мадонны. Многие пытались навязаться к Айрис в соавторы: «Давайте я исправлю все ваши ошибки, и второе издание будет под моим и вашим именем». Но были и совсем страшные письма — от японцев, прочитавших книгу по-английски. В основном, это были письма с угрозами. Они писали, что ей не жить, что они отомстят за клевету в отношении их дедов и прадедов, что такого оскорбления своей родины они не потерпят. Ей грозили физической расправой, изнасилованием, многочисленными судебными разбирательствами, смертью её родственников и друзей. Это ломало её. Каждое подобное письмо подтачивало её разум, пробивало очередную дыру в её сердце. Более того, многие письма содержали в себе информацию о том, что никакой резни в Нанкине никогда не было, что всё это ложь, сочинённая китайцами и американцами в целях дискредитации Японии.

Второе издание вышло годом позже. Ошибки были исправлены, книга дополнена несколькими главами. Суммарно «Резня в Нанкине» разошлась тиражом более пятисот тысяч экземпляров, что для документально-исторической книги — очень, очень много. Успех накатывал на Айрис, точно снежный ком. Её разрывали на части, от неё требовали не только говорить о старой книге, но также ждали новой. Спрашивали: каковы ваши творческие планы? Самый глупый, самый ненавистный вопрос для любого публичного человека.

Айрис не думала, что именно «Резня» станет её главным трудом. Эта книга должна была остаться ступенькой на пути к обширной истории китайской диаспоры в США. Но ступенька превратилась в постамент, спрыгнуть с которого можно было, лишь сломав себе шею. Поэтому вышедшая шесть лет спустя книга «Китайцы в Америке» осталась практически невостребованной, хотя потребовала от Айрис не меньшего напряжения сил, нежели «Резня».

Итак, вскоре после оглушительного успеха книги и выхода второго издания я встретился с Айрис Чан в последний раз. Я не молодел, мне исполнилось сорок восемь, ей — тридцать. Она

приехала в Иллинойс, в университет, за какими-то документами об образовании; ей потребовалось подтверждение или табель с результатами, я точно не знаю. Но факт в том, что я шёл по коридору и вдруг увидел идущую навстречу Айрис. Я улыбнулся и сказал: «Привет!»

Она искренне мне обрадовалась, точно старому другу, хотя знакомство наше десятилетней давности было шапочным и насчитывало едва ли десяток встреч, три из которых я вам описал.

«Вы не заняты?» — спросил я.

«Нет, я уже справилась со всеми делами».

«Вы не против, если я приглашу вас на ужин? Посидим, поговорим».

Она немного насторожилась, я понял свою оплошность.

«Что вы, Айрис. Я женатый человек, а вы мне просто приятны как друг…»

Она рассмеялась.

«Да нет, Джон, я и не подумала о таком. Просто я не сразу сообразила, что вы микробиолог, а не историк. Историки теперь меня ненавидят. Бросаются как собаки».

«Ну что вы. Я прочёл обе ваши книги, мне было очень интересно».

«Даже несмотря на ляпы?»

«Ну, вы сами сказали, что я не историк, я и не заметил никаких ляпов».

Она снова улыбнулась.

А вечером мы встретились в ресторане.

Кстати, по поводу жены я, конечно, соврал. У меня бывали женщины, но до официального оформления отношений дело не доходило, и жил я один. Но нужно же было как-то оправдаться и убедить Айрис в отсутствии у меня непристойных намерений.

Но, если честно, непристойные намерения у меня были. В том смысле, что я бы не отказался оказаться с ней в постели. Но, конечно, я бы никогда не показал этого желания.

Тем удивительнее было то, что затем произошло между нами. Это был не секс, нет. Это была исповедь. Но обо всём по порядку.

Сначала мы болтали о пустяках, о королях и о капусте. Правда, почти любое упоминание популярности портило Айрис настроение. Её слава была настоящим бременем, вжимавшим в землю, ломающим позвоночник. Поэтому мы разговаривали об отвлечённых вещах. Например, о чужих книгах, преимущественно о художественных. Обсуждали «Цифровую крепость» — свежевышедшую книгу новой звезды приключенческой литературы Дэна Брауна (сделавший писателя культовым «Код да

Винчи» тогда ещё не был напечатан). Обсуждали какую-то музыку, что-то ещё. Но всё-таки разговор так или иначе сводился к «Резне в Нанкине». Вся жизнь Айрис Чан вращалась в то время вокруг этой книги, и избежать её упоминания было трудно. Я видел, что Айрис замыкается в себе, когда беседа переходит на Нанкин, что-то гложет её изнутри, что пожирает её, точно червь. И я решился задать ей вопрос.

«Айрис, что с вами произошло? Я понимаю, что вы написали страшную книгу, провели страшное расследование, пережили многое. Вам нужно как-то выйти из кризиса. Вы не ходите к психоаналитику?»

Да, примерно так я и сказал. Выдал несколько бесформенных, бессмысленных фраз, призванных прорвать её блокаду. Как ни странно, это получилось. Айрис посмотрела мне в глаза и сказала:

«Вы знаете, сколько писем в день я получаю?»

Тогда-то она мне и рассказала о письмах с угрозами, с ненавистью, с призывами отказаться от дьявольской книги, от лжи, от клеветы. Рассказала, как к ней несколько раз подходили на улице вовсе не для того, чтобы взять автограф. Однажды ей выплеснули в лицо горячий кофе. Один раз попытались ткнуть ножом — спасла дутая куртка. Несколько раз просто пытались ударить. Иногда — получалось. Муж ничего не мог сделать; издатель предлагал приставить к Айрис секьюрити, но она отказалась. Не хватало ещё тупоголового шкафа за спиной.

Но я видел, что не в письмах дело. То есть и в них тоже, но всё-таки основной груз, давящий на Айрис, — это что-то другое. Что-то более страшное.

Знаете, есть такой взгляд. Его называют «выжидающий». Это когда ты сидишь и смотришь на собеседника, давая ему понять, что он не всё сказал. Что ты хочешь услышать всё остальное. Это очень неприятный взгляд. По крайней мере, когда на меня так смотрят, у меня пропадает всякое желание что-либо рассказывать. Хочется подняться и уйти, чтобы больше никогда не смотреть в глаза собеседника.

Я сидел напротив Айрис и смотрел на неё именно так. И она всё поняла. Она поняла, что нужно встать и уйти. Или рассказать мне всё. Я видел, как она борется с собой, как она пытается найти оправдание своему молчанию. Но оправдания не было, и она сказала:

«Джон, я никому не рассказывала того, что сейчас расскажу вам».

Она оглянулась по сторонам. Отсек находился в дальнем конце ресторанного зала, никто не слышал нашего диалога.

«Даже Бретту».

Это её муж, вспомнил я. Для меня муж Айрис являлся человеком, существующим в какой-то параллельной вселенной. Где-то он, конечно, был, но представить себе его, человека из плоти и крови, я не мог.

«Это останется между нами», — сказал я.

Она кивнула. И начала свой рассказ.

РАССКАЗ АЙРИС ЧАН

Джон, вы читали мою книгу и знаете, о чём она. Поэтому я не буду пересказывать обстоятельства, предшествующие резне в Нанкине, и описывать саму резню. Сухая история расскажет всё за меня. Если в моей книге есть ошибки, их исправят другие. Но факты — это лишь одна сторона медали. Я рассказала то, во что можно поверить, — и множество маститых историков набросились на меня точно стая собак. Я думаю: что стало бы, расскажи я им всё. Расскажи я про… Впрочем, я сейчас расскажу, а вы сделаете выводы самостоятельно.

Всё начиналось банально. Ещё в процессе работы над «Нитью шелкопряда» я уже представляла, о чём будет моя следующая книга. Я не думала, что она так «выстрелит». Я действительно хотела отразить одну из величайших трагедий китайского народа. Моей темой могла стать деятельность легендарного отряда 731, но тут меня опередил Моримура Сэйити — и я благодарна ему. Он, японец, как никто другой осознал преступления собственной страны и осудил их. Мне же предстояла не менее сложная работа.

Как ни странно, огромное количество потомков выживших в Нанкине сегодня живёт в США. Поэтому не составило большого труда найти их. Я брала интервью, собирала отрывочные сведения. Я разговаривала с женщиной, которую спасла сама Минни Вотрин в своих подвалах. Разговаривала со стариком, который беседовал с Йоном Рабе. Они были там, они видели эти ужасы, и они со слезами на глазах рассказывали об этом. Но — рассказывали. Не молчали, потому что они хотели, чтобы их внуки помнили.

Конечно, написать книгу о Китае, находясь в США, невозможно. И осенью 1995 года я в первый раз отправилась в Нанкин. На исторической родине я бывала не раз, когда собирала материалы и встречалась с Цянь Сюэсенем. Но до Нанкина никогда не доезжала. Неоднократно посетив Шанхай, Ханчжоу,

Хэфей, я как-то всегда миновала Нанкин — то проездом, то оставляла его в стороне. Как и многие китайские города, он был основан ещё до нашей эры и уже почти дожил до своего две тысячи пятисотлетия.

Искать места преступления японцев было нетрудно. Потому что местом преступления был весь город. По каждой улице текла кровь. Знаете, это как у Пабло Неруды в его «Мадриде»: «…и по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей…» А там была всякая кровь. Женщин, мужчин, стариков. И сначала Нанкин казался мне солнечным городом. Я смотрела на его небоскрёбы, восхищалась его широкими улицами и красивыми жителями. Но мой путь лежал к Мемориалу Нанкинской резни. Это самое страшное, что я видела в своей жизни, правда. Триста тысяч жертв. Вы знаете, там, в Мемориале — скелеты. Раньше их было меньше, но в 1995 году, буквально за две недели до моего приезда, Мемориал был открыт после длительной реконструкции, и там появилось множество новых экспонатов. Фотографии, документы, вещи убитых — и сами убитые. Белые квадраты вырезанной земли с впечатанными в них человеческими костями. И над всем этим — едва заметная тень генерала-лейтенанта Хисао Тани, командира шестого дивизиона Японской императорской армии.

Родственники погибших приходят в здание Мемориала каждый день. Они приносят цветы и кладут их под числом «300000», впечатанным в гранит. Где-то там, неподалёку, были сожжены десятки тысяч трупов. Точное местонахождение неизвестно. В здании Мемориала я познакомилась с пожилой женщиной, которая своими глазами видела резню. Ей тогда было десять лет. Как я уже упоминала, мне доводилось общаться с живыми свидетелями в США. Но здесь, в Китае, это было совсем другим делом. Ведь эта женщина прожила тут всю жизнь, видела все стадии падения и подъёма нашей великой страны, могла оценить нанкинские события в контексте происходивших с Китаем общественно-политических изменений. Она была учительницей музыки, и когда её инструмент — флейту — объявили буржуазным пережитком, она переучилась и стала преподавать трубу. Или тромбон, я, честно говоря, не помню. Этот момент не вошёл в книгу.

Женщина впоследствии познакомила меня с другими очевидцами — и я медленно, но верно размотала этот клубок.

После возвращения в США из той, первой поездки у меня начались приступы депрессии. Я начала бояться. Я плохо спала по ночам, мне виделись японские солдаты, вонзающие в моё тело свои штыки. Мне мерещилось, что меня насилуют целым полком.

Растягивают, держат и вонзают в меня раскалённый ствол винтовки. Мне снились страшные сны. Психоаналитик рекомендовал на время отойти от расследования, воздержаться от работы над книгой, но я не могла. Как и все остальные, он полагал, что сны вызваны живостью моего воображения вкупе с многочисленными интервью, фотографиями, досье, судьбами, которые прошли через меня. Он говорил стандартные фразы и пытался поставить стандартный диагноз.

Но никакие фотографии не могли бы ввергнуть меня в моё теперешнее состояние. Никакие интервью, никакие отчёты. Это прошлое, оно уже минуло, и я не хотела брать на себя боль моих соотечественников. Я бы и не взяла эту боль, если бы она сама не обрушилась на меня.

Всё это время я понимала, что психоаналитик ошибается. И сама начала анализировать своё путешествие по Китаю. Да, я не упоминала: я прожила там три месяца. Потом я ещё дважды ездила в Нанкин и несколько раз — в Токио и в Осаку, в Японию, потому что там тоже обнаружились следы очевидцев. Только очевидцев с другой стороны. Вы же знаете структуру книги: первая часть в свою очередь делится на три главы — глаза жертвы, глаза палача, глаза наблюдателя. Скажите мне, Джон, какая из глав показалась вам наиболее живой, наиболее страшной? Глаза жертвы, конечно. Мой талант тут ни при чём. С таким же успехом я могла лучше всего написать раздел от имени японского солдата. Тем более, я писала его первым, так было удобнее. Вы скажете: я идентифицировала себя с жертвой. Я отвечу: да. Более того, Джон, я действительно ею была.

Собственно, когда я ехала в Нанкин, я не была уверена в том, что смогу написать книгу. Могло не получиться чисто технически. Могло недостать информации, старики могли молчать и отводить глаза — я не исключала никаких вариантов. Даже после десятка интервью и двух недель в Нанкинском архиве я понимала, что результатов едва хватает на первую главу первой части. Кое-какие ниточки ещё имелись, например, поездка в Японию. Но я не видела всего полотна.

То, что уверило меня в успехе, произошло к концу третьего месяца пребывания в Китае. Хотя «успех» — странное слово в контексте моего рассказа.

17 декабря 1937 года, после четырёх дней непрекращающейся кровавой вакханалии, в город торжественно въехали генерал Иванэ Мацуи и принц Ясухико Асака. Шестой дивизион генерал-лейтенанта Тани расчистил для них город. Дорога была вылизана языками китайцев. Асака ехал вдоль стройных рядов своей армии на изящном гнедом жеребце и восхищался чистотой и красотой

побеждённого города. Конечно, он знал обо всём, что предшествовало его приезду. Более того, он не стал ограничивать Тани ни в чём. Взял город? Он твой, делай с ним всё, что угодно. Он и выдал официальную санкцию на безжалостное уничтожение местного населения.

Одной из моих задач было пройти тем же путём, что и Мацуи с Асакой, проследив, какие улицы и места были расчищены для визита командующего. Часть трупов успели спрятать или даже сжечь, оставив только «демонстрационные» головы на кольях. Но стоило отойти от главной улицы в сторону, как ты спотыкался об изувеченных мертвецов.

Мацуи был в это время болен, и главным для него было удержаться в седле. Все «трофеи» принадлежали Асаке. И самое главное, что он, основной, в общем, виновник резни, стал единственным, кто не попал под военный трибунал после войны. Тани и Мацуи повесили, как и всех офицеров, принимавших участие в резне, а Асака получил от Макартура неприкосновенность как член императорской фамилии. Кстати, 20 декабря Мацуи писал в своём военном журнале, что такое поведение солдат недопустимо и позорит Императорскую армию. Писал для себя, потому что вслух сказать этого просто не имел права.

Я прошла весь маршрут — от старого въезда в город до центра — пешком. Расстояние было не столь и велико, а поездка на автомобиле не позволила бы сформировать полноценную картину. Хотя, если честно, с тех пор планировка изменилась настолько, что никаких следов Нанкина тридцатых годов не осталось.

Я свернула с проспекта на одну из небольших улочек, тех, что сохранили в себе старый Нанкин. Я пыталась представить, как выглядел город тогда, в зимние дни тридцать седьмого года. И не могла. Каждое здание, построенное до войны, казалось, впитало в себя кровь горожан. У каждой стены мог лежать мертвец. Возможно, вот здесь, на этом крыльце, офицеры распяливали девочку, вытащенную прямо из-за школьной парты. А об этот столб разбивали голову младенцу. А здесь… Да, я шла и пыталась представить себе всё это. У меня плохо получалось. Тем более сложно было осознать, что всего в паре сотен ярдов по главной улице ехал принц Асака, глядя сверху вниз на своих подчинённых.

И я пыталась заставить себя увидеть. Я заставляла себя представлять эти картины, вживаться в роль, становиться жительницей Нанкина тридцатых. Я пыталась стать изнасилованной девочкой, обезглавленным солдатом,

закопанным заживо земледельцем, пронзённым катаной прохожим. Я пыталась — до слёз, до головной боли, я пыталась избавиться от автомобилей на улицах, от стеклянных небоскрёбов, от неоновых реклам.

Я присела на скамейку и смотрела на каменное здание напротив, старое здание, наверное, восемнадцатого века. Ветер шевелил мои волосы, шумел в бумажных фонариках на вывеске забегаловки — и принёс мне газету. Её просто приволокло по асфальту. Этот жалкий, нечётко отпечатанный листок прибило к моей ноге, как прибой прибивает к скалам обломки кораблей. Я подняла газету и расправила её. Она была покрыта грязью, в нескольких местах порвана, затёрта. Конечно, первым делом я обратила внимание на название. «Шанхайские новости», Shen Bao. Меня передёрнуло. Дело в том, что Shen Bao была официально закрыта в 1949 году — я знала это, поскольку провела много времени в архивах, разбирая китайскую прессу за 1937–1938 годы. Я посмотрела на дату: декабрь 1937. Точного числа указано не было. На первой полосе шла речь о японской доблести и заслугах японцев в деле приобщения диких китайцев к цивилизации. Прояпонский листок, не более. Но как? Как он оказался здесь, в моём времени, у моих ног?

Я отвела взгляд от газеты и поняла, что асфальта больше нет. Есть мостовая. Здание напротив почти не изменилось, только светящаяся вывеска харчевни сменилась деревянной. Людей на улице не было, стояла дикая, пронизывающая тишина, точно город вымер. Лишь ветер по-прежнему свистел в бумажных фонариках — они остались на своём месте.

Я встала и огляделась. Мне не было страшно. Скорее — странно. Удивление перевешивало все остальные чувства. Я сделала несколько шагов. Как назло, я была на высоком каблуке, он проваливался в щели между камнями мостовой. Туфли пришлось снять и положить в рюкзачок. Я шла босиком по улице по направлению к центру. Небоскрёбов не было видно — они пропали. Никакой дымки, как показывают в фантастических фильмах, никакого тумана. Просто пустой старинный город.

Потом появились звуки. Сначала — далёкий звон колокола, потом — выстрелы, тоже отдалённые. Затем — голоса, крики. Если бы я закрыла в тот миг глаза, город бы уже не казался пустым. Все шумы города звучали совершенно отчётливо, точно вокруг и в самом деле были люди. Но никого не было, пустота.

Мне стало страшно. Так бывает, когда ты сидишь один в пустой квартире и тебе вдруг кажется, что за спиной кто-то есть. Разум подсказывает, что никого быть не может, но ты всё равно оглядываешься, чтобы избавиться от собственного страха. Но ты

никогда не думаешь о том, что будет, если ты оглянёшься — а там и в самом деле кто-то есть.

Я обернулась и увидела ребёнка. Он стоял посреди улицы и смотрел на меня. Мальчик лет пяти. Он был одет в порванную рубашонку и грязные полотняные штанишки. Я не сделала ни шага по направлению к нему, просто стояла и смотрела. Время, казалось, застыло между нами. Мальчик глядел на меня, не моргая, будто пластиковый пупс. Некрасивое сравнение, но именно так мне тогда подумалось.

Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно тишина обрушилась. Так рушится даже не карточный домик, а, скорее, пирамида из монет, осыпается со звоном, тяжело, эффектно, и хрупкое равновесие нарушается окончательно.

Вокруг меня внезапно появились десятки людей. Они куда-то спешили, бежали, шли; в руках у них были корзины и котомки. Двери открывались и закрывались, звуки вдруг обрели свои источники, время потекло вперёд, а мальчика подхватила и унесла женщина лет тридцати. Я понимала, что нахожусь в декабре 1937 года; было довольно холодно. Но всё-таки мне казалось, что если я пойду вперёд, я пройду сквозь этих людей, точно они всего лишь призраки, точно всё это — только моё видение и ничего более.

Но моё заблуждение рассеял какой-то китаец, который грубо толкнул меня, проходя мимо, и ещё буркнул что-то неразборчивое. Я поняла, что провалилась в прошлое на самом деле. Или, по крайней мере, мой сон настолько реален, что его невозможно отличить от яви. «Если я умру тут, останусь ли я *там*?» — подумала я.

Выстрелы и крики приближались.

«Какое сегодня число?» — спросила я более или менее интеллигентно выглядящего китайца (он был одет в костюм европейского типа).

«Четырнадцатое», — ответил он.

Второй день резни. Самый, вероятно, страшный. Тринадцатого столица была только-только взята, эйфория и восторг переполняли японцев, и в основном они отмечали свой успех алкоголем. А вот на второй день им действительно захотелось крови, тем более что принц благословил уничтожение мирного населения. Их опьянила полная свобода. То, чего нельзя было делать на родине, можно было делать здесь.

Но всё равно поверить в произошедшее было крайне сложно. Поэтому я шла по улице, как турист, разглядывая дома, автомобили, людей. Кстати, автомобилей было довольно много, в основном, американских. Эмблему «Форда» я замечала на каждом

втором.

Я шла, как ни странно, по направлению к шуму, к выстрелам. Страх ушёл куда-то в подкорку, его перебило любопытство. По поведению прохожих, по дыму, расстилающемуся над домами, было понятно, что в городе не всё ладно. Но того ужаса, о котором свидетельствовали очевидцы, пока что не наблюдалось. Просто где-то была война. Но ведь никогда не бывает, чтобы нигде не было войны, правда?

Первого мертвеца я увидела минут через десять. Мужчина лет сорока сидел, прислонившись к стене здания, и засохшая струйка крови изо рта пересекала его подбородок. Я подошла к нему, присела на корточки. Никто не обращал внимания ни на меня (и на мою странную одежду, кстати), ни на погибшего. Судя по всему, его застрелили около часа назад, вряд ли больше. Руку он прижимал к животу, пальцы были окровавлены.

Нет, не застрелили, поняла я. Призыв экономить патроны, нельзя забывать. Его закололи штыком. Вы можете спросить, а как же выстрелы на заднем плане? Ну, куда без выстрелов. Простого прохожего можно зарубить, но в городе всё-таки были и вооруженные китайские части, продолжавшие оказывать вялое сопротивление захватчикам.

Чем ближе я подходила к центру города, тем меньше встречалось обычных, спокойных людей. Более того, людей вообще почти не было: двери и ставни наглухо задраены, иногда в окнах, на которых ставней не было, появлялись испуганные глаза — и тут же исчезали в глубине комнаты.

А потом я встретила японцев. Они появились из-за поворота, человек пять. Я спряталась за угол дома и наблюдала за ними. За собой они волокли двух девушек, очень юных. Вероятно, поймали их на улице и искали более удобное место для удовлетворения собственных потребностей. Таким «удобным» местом им показалась стоящая посреди улицы телега с сеном. Один закричал что-то, указывая на телегу, остальные закивали. Одна девушка была без сознания, японец нёс её на плече. Вторую тянули за руку, она шла безвольно, точно кукла.

Её и уложили на телегу. Вряд ли она понимала, что с ней делают. Раздался треск разрываемой одежды. На неё взгромоздился один из солдат; он справился довольно быстро. Второй пыхтел дольше. Когда к измученному телу китаянки подошёл третий солдат, она внезапно очнулась и попыталась вырваться. Он сильно ударил её в лицо, похоже, оглушил, потому что больше она не шевелилась.

Та девушка, которая была без сознания с самого начала, просто валялась на земле рядом с телегой. Она начала приходить

в себя, попыталась подняться на руках. Японцы заржали, один из солдат (который ещё не «приложился» к первой) прижал её к земле, разорвал одежду и стал насиловать. Она кричала от боли. Кажется, у неё пошла кровь — оттуда.

Когда мы видим сцену изнасилования в кино, мы воспринимаем её как поставленный эпизод, которого не было на самом деле. Он может быть неприятным, может вызывать отторжение, но мы не боимся, потому что знаем: это игра. На самом деле актрису никто и никогда не насиловал, она живёт в своём особняке в Майами и кормит по вечерам свою болонку. Так выходило и здесь: я смотрела кинофильм, не воспринимая происходящее как реальность. Китаянок насиловали перед моими глазами, а я была за экраном, мне ничего не угрожало. По крайней мере, ощущение создавалось именно такое.

Лишь когда солдаты закончили, я поняла весь ужас происходящего в полной мере. Когда один из них взял штык и поочередно заколол обеих девушек. А потом солдаты пошли дальше, о чём-то разговаривая, точно студенты после занятий. В принципе, они и были по возрасту как студенты, около двадцати лет, не старше.

Я вышла из своего укрытия и медленно пошла в направлении, откуда появились японцы. Почти сразу же передо мной пробежали две женщины, одна тащила за собой ребёнка. За ними никто не гнался.

Вторую страшную сцену я увидела во дворе, через который решила срезать путь (мне показалось, что по открытым улицам идти гораздо опаснее). Там казнили пленных китайских солдат. Впрочем, военную форму носили от силы пять-шесть казнимых. На остальных — обычная городская одежда. На одном даже пиджак европейского типа.

Из строя выволакивали по одному. Сначала — парня лет двадцати в солдатской форме. Его поставили на колени, после чего мечом отрубили голову. Затем — второго. Третьего, четвертого. Рубил один и тот же японец — суровый человек лет сорока в офицерской форме. Где-то на восьмом подсудимом он передал меч другому японцу, помоложе, но тоже офицеру. Тот, улыбаясь, взял меч, замахнулся над поставленным на колени китайцем, но отрубил ему не голову, а руку, чётко, у самого плеча, одним ударом. Тот заорал от боли и стал кататься по земле. Грязь налипала на огромную открытую рану, кровь хлестала ручьём. Японцы смеялись. Палач ногой прижал несчастного к земле, замахнулся и отрубил ему вторую руку. Тело казнимого изгибалось дугой, он верещал нечеловеческим голосом. Кто-то из солдат поднял отрубленную конечность с

земли и начал лапать ею других. Те, смеясь, разбегались.

Я почувствовала, что не могу сдержаться. Меня начало бурно рвать. Желудок скручивало чудовищными спазмами, всё съеденное было уже на земле, а рвать не прекращало ни на секунду. Когда, наконец, боль отпустила и я разогнулась, передо мной стоял японец — тот самый, который только что отрубал руки китайцу. В руке он держал окровавленный меч.

«Зёсеэ!» — сказал он довольно громко. Насколько я знала, по-японски это значило «женщина». Он поднёс кончик меча к моему подбородку, потом опустил его. И резко рубанул. Я отшатнулась, но он не хотел меня ранить. Судя по всему, мечом он владел отменно, потому что моя блузка была разрезана сверху донизу. Потом он схватил меня за шею и поволок к оставшимся в живых китайцам.

Он бросил меня на землю лицом вниз, но я тут же попыталась подняться. Правда, у меня вышло встать только на четвереньки — земля была влажная и разъезжалась под ногами. Я почувствовала, как на мне рвут юбку. Я подняла глаза и встретила чужой взгляд. Среди подготовленных к смерти китайцев стоял ребёнок примерно пяти лет. Он цеплялся за штанину одного из казнимых и как две капли воды был похож на того ребёнка, которого я увидела в самом начале своего путешествия во времени.

Неожиданно пришла боль. Один из японцев придерживал меня на четвереньках, второй — насиловал. Я не буду описывать, как это было. Это было страшно. Вы — мужчина, и никогда вам не понять мыслей и побуждений изнасилованной женщины, никогда. Никогда не представить себе её чувства. Ничего страшнее быть не может. Лучше — сразу смерть.

Я потеряла сознание, но ненадолго. Правда, когда я очнулась, всё уже закончилось. Меня пронзала пульсирующая боль, одним глазом я ничего не видела, но второй через некую пелену всё-таки мог оценить реальность. Два японских солдата играли в мяч. Нет, не в мяч. Они перебрасывали друг другу что-то более тяжёлое. Картинка постепенно становилась чётче, и я поняла, чем они перебрасываются. Это был ребёнок. Один ловил его за ногу и бросал в другого, тот ловко перехватывал ручку и отправлял «снаряд» обратно.

Моё сознание помутилось. Спину пронзила мучительная, острая боль. Судя по всему, меня пронзили штыком.

Я очнулась на скамейке. Надо мной склонился моложавый мужчина.

«С вами всё в порядке?» — спросил он.

«Где я?» — ответила я вопросом на вопрос.

«В парке возле национального музея», — ответил он.

«Какой сейчас год?»

Он усмехнулся.

«Ну, вы, девушка, даёте. Тысяча девятьсот девяносто пятый, как и вчера».

Я поняла, что боли нет. Я стала ощупывать себя: всё в порядке. Костюм немного помялся от того, что я лежала, но больше никаких повреждений не было. Я села. Вокруг снова была осень, причём довольно прохладная. Я вспомнила, что с утра хотела одеться потеплее, да решила, что и так сойдёт, костюм всё-таки из шерсти.

«Я тут долго лежала?» — спросила я.

«Не знаю. Иду, смотрю, вы лежите около скамейки. Одеты хорошо, молодая, красивая. Поднял вас, уложил на скамейку, собирался идти скорую вызывать. А тут вы и очнулись».

Я огляделась и поняла, где нахожусь. Около шестидесяти лет назад именно здесь был тот самый двор, в котором меня изнасиловали и убили. Мне хотелось остаться одной.

«Спасибо большое, — сказала я. — Мне уже лучше. Я посижу и пойду домой».

«Ну, хорошо, — пожал он плечами. — Как знаете. Точно не нужен врач?»

«Точно. Просто обморок».

«Ну, осторожней впредь».

Мы попрощались, и он ушёл.

Я сидела и смотрела на себя как бы со стороны. На ту себя, которую японские солдаты изнасиловали на этом самом месте более полувека тому назад. И не понимала, я ли это — или всё же кто-то другой. Или ничего вообще не было. Внутри меня была пустота.

Версию реальности произошедшего подтверждало моё удивительное перемещение к музею. Но, с другой стороны, с моим телом ничего не случилось: я была совершенно здорова, никакой боли, никакого физического дискомфорта.

Тогда я ещё не осознавала, что моя жизнь изменилась. Я осознала это ночью в гостинице, когда мне впервые приснился Нанкин, и японский солдат засовывал между моих ног раскалённое на огне дуло своей винтовки. Я проснулась в поту — и поняла, что всё произошедшее со мной было на самом деле. Скорее всего, моя изначальная невосприимчивость была следствием шока. Когда же шок прошёл и восприятие окружающего мира вернулось в обычное русло, стало действительно плохо. Каждую ночь я видела эпизоды Нанкинской резни — глазами жертвы. Я выступала в разных ролях. Я была мужчиной, женщиной, ребёнком, старухой. Каждую ночь — новая

роль. Триста тысяч ролей — хватит на сотню жизней. Днём я забывала сны, но ни на одну секунду меня не отпускало то, самое главное видение. Изнасилованные девушки, человек с отрубленными руками, ребёнок в качестве снаряда. И я, пробитая штыком после того, как солдаты по очереди надругались над моим телом.

Я сжимала зубы. Вы не представляете себе, как сложно было разговаривать с оставшимися в живых японцами, участвовавшими в резне. Я смотрела на этих стариков со слезящимися глазами и понимала, что кто-то из них изнасиловал меня в тот день. Кто-то из них убил меня. Я ненавидела их, но боролась с этим чувством, втаптывала его в глубину, душила его. Сложнее всего было написать именно тот раздел — от имени убийцы. Потому что в шкуре стороннего наблюдателя и жертвы я побывала сама.

Больше рассказывать не о чем. Я написала книгу — это говорит обо всём. Во втором издании я исправила фактические ошибки и сделала книгу более исторической, нежели эмоциональной. Но вы должны понимать, Джон, насколько больно мне теперь говорить об этом. Насколько страшно слышать упоминания о Нанкинской резне. А я — должна. На каждой пресс-конференции, в многочисленных интервью и телепередачах я должна говорить о том, о чём написала. Но они, задающие вопросы, не знают, кого спрашивают. Они не знают, что я каждый день вижу во сне. Они никогда не видели такого. И уж конечно, они никогда не видели такого наяву — как видела я.

Вы первый человек, Джон, кому я это рассказала. В какой-то мере потому что мне с вами очень приятно общаться. Вы спокойный, вежливый, аккуратный. Вы не лезете в душу и умеете выслушать. Другая причина в том, что мы почти незнакомы. Я никогда не смогла бы рассказать эту историю, например, своей матери или мужу. А вам — запросто. Мне даже не очень больно думать об этом, когда я рассказываю вам. Вы какой-то… умиротворяющий, вероятно. Да, это верное слово. Но как только я выйду из этого ресторана, как только я вернусь домой и закрою глаза, на меня снова опустится Нанкин тридцать седьмого года. И с этим уже ничего нельзя сделать.

***

Конечно, я немного подредактировал рассказ Айрис. Она говорила не слишком гладко, иногда запинаясь и подыскивая правильные слова. Ей и в самом деле было крайне неприятно вспоминать о произошедшем в Нанкине. Но она решилась снять со своей души часть груза — и сняла, передав его мне.

В тот день мы больше не говорили о книге. Мы вообще ни о чём не могли говорить. Ужин был давно съеден, Айрис отказалась от десерта, я тоже. После нескольких минут молчания она сказала:

«Пойдёмте, Джон. Нам нечего больше друг другу сказать».

И она была совершенно права, эта удивительная женщина, которую я безумно люблю. Я окончательно и бесповоротно влюбился в неё именно в ресторане, когда она сидела напротив и, глядя в стол, рассказывала о том, как её убивал солдат из Страны восходящего солнца. Всё моё прежнее расположение, все мои сальноватые взгляды в тот день окончательно превратились в любовь. Любовь, не требующую никакой взаимности.

***

Я следил за её карьерой, смотрел телепередачи, в которых она принимала участие, и искренне радовался, когда в 2002 году она, наконец, родила долгожданного ребёнка, которого назвали Кристофером. Тогда они с Бреттоном жили в Сан-Хосе, в Калифорнии, и каждые выходные ездили по семнадцатой в Санта-Крус, к тёплому океану. Годом позже вышла её третья книга «Китайцы в Америке», которая хорошо продавалась, но не снискала того успеха, на который была обречена «Резня в Нанкине».

В августе 2004 года у Айрис был нервный срыв. Она пыталась скрыть это от своих родных, но непросто скрыть депривацию сна — когда ты не спишь вообще неделями. У тебя красные глаза и постоянный нистагм, ты плохо слышишь и понимаешь сказанное, гиперактивность сменяется головными болями и галлюцинациями, и в галлюцинациях к тебе приходят изувеченные трупы на улицах Нанкина. В это время она уже работала над четвёртой книгой — «Марш смерти на полуострове Батаан».

Как и Нанкинская резня, Батаанский марш относился к категории военных преступлений японцев — на этот раз совершённых в ходе Второй мировой войны. В 1942 году достаточно большая группа американских войск во главе с генерал-майором Эдвардом Кингом была зажата японцами в тиски на Батаанском полуострове, Филиппины. Среди семидесяти пяти тысяч солдат большинство составляли наёмники-филиппинцы, но около десяти тысяч были всё-таки американцами. Переговоры с полковником Мотоо Накаямой прошли успешно, пленным было обещано гуманное отношение, и Кинг с чистой совестью сдал своё оружие. Впрочем, генерал

Макартур запрещал Кингу капитуляцию, так что тот сдался на свой страх и риск. «Мы не варвары», — сказал Накаяма Кингу. Соврал.

Пленные были отправлены в места содержания своим ходом. Шестьдесят миль — не так, кажется, и много. За эти шестьдесят миль погибли восемнадцать тысяч пленных. В среднем по триста человек на милю. Их гнали с дикой скоростью, а упавших сразу добивали, молча, штыком. Их не поили и не кормили ни разу за всё время пути. Они шли пять дней. От обезвоживания их спасло только то, что во время пути пришлось несколько раз пересекать вброд небольшие речки и ручьи, там пленники едва успевали утолить жажду несколькими глотками. Среди филиппинских солдат были женщины. Говорят, что не дошла ни одна. Их отводили в сторону, насиловали — и убивали. За колонной ехали японские танки, давившие отстающих. Мотоциклисты развлекались тем, что проносились вдоль колонны, выставив в сторону штыки.

И Айрис взялась за это. Она защитила честь своей первой родины, Китая. Теперь она хотела отомстить ещё и за вторую, США.

Айрис остановилась в мотеле в городе Луизвилль, Кентукки, и не смогла покинуть свою комнату на следующий день. Сложно сказать, каково ей было — страшно, больно, безнадёжно. Нервный срыв, приступ депрессии, слёзы, страх. Её спутник, один из ветеранов филиппинской войны, помогавший в расследовании, отвёз Айрис в психиатрическую клинику Нортно в Луизвилле. У неё диагностировали острый реактивный психоз, а через три дня её забрали из клиники родители. Биполярное аффективное расстройство, как причину реактивного психоза, не было смысла лечить в стационаре. Её отвезли домой, в Санта-Клару, где она уже ничего не могла писать, никаких книг, никаких записок. Ей снились мертвецы.

Восьмого ноября она пишет у себя в дневнике: «Я обещаю ежедневно вставать и выходить на прогулки. Я буду заходить домой к родителям, затем гулять долго-долго. Я буду следовать всем советам докторов. Я обещаю не причинять себе вреда. Я обещаю не посещать веб-сайты, где упоминается суицид».

Восьмого ноября она пишет у себя в дневнике: «Когда вы верите, что у вас есть будущее, вы думаете о будущем в масштабах лет и поколений. Но когда его нет — вы меряете время даже не днями, но минутами. Гораздо лучше будет, если вы запомните меня такой, какой я была недавно — во времена своей писательской славы, нежели эту сумасшедшую, вернувшуюся из Луизвилля. Каждый вздох труден для меня, я — точно утопающий

в открытом море. Я знаю, что мои действия переносят часть моей боли на других, особенно на тех, кто меня действительно любит. Прошу, простите меня. Простите меня вы, потому что сама себя я простить не могу».

Восьмого ноября она пишет у себя в дневнике: «Глубоко внутри я понимаю, что у вас может быть больше ответов на мои вопросы, чем у меня самой. Я никогда не изменю своей вере в то, что я была использована, а затем выжата как лимон силой более могущественной, чем я могла себе вообразить. Пока я жива, меня не отпустит. Я решила убежать, но я никогда не смогу убежать сама от себя, от собственных мыслей. Я делаю это, потому что я слишком слаба, чтобы выдержать предстоящие годы боли и агонии».

А потом наступило девятое ноября.

***

Мне кажется, я знаю, что могло произойти. Мне кажется, что при работе над новой книгой она сумела точно так же, как в Нанкине, погрузиться в прошлое. Странным было то, что это произошло в США, а не на Филиппинах. Но, с другой стороны, её способности со времён работы над «Резнёй в Нанкине» могли вырасти.

Ей снилось, как она идёт в толпе таких же несчастных. Как её штыками подгоняют японские конвоиры, как танки давят тех, кто упал, как кровь покрывает обочины дороги. Или, может быть, ещё страшнее: ей это не снилось. Это произошло наяву.

Поэтому я могу понять и простить её. Я могу простить ей то, что она оставила сиротой двухлетнего Кристофера. Что она не окончила четвёртую книгу. Это всё неважно. Она освободилась от груза, который сама взвалила на свою хрупкую спину — и не смогла унести. Мужу она оставила сына, людям — книги, а мне — мою любовь, которая будет со мной всегда, до самой моей смерти.

И вот ещё что. Айрис Чан была официально внесена в число жертв Нанкинской резни — последней жертвой. Ведь это не она застрелила себя из револьвера холодным ноябрьским утром две тысячи четвёртого года. Это безымянный японский солдат изнасиловал её, изувечил штыком и зарезал далёкой зимой тысяча девятьсот тридцать седьмого.

Магистрал. Женщина на ростре

Прежде чем поставить финальную точку, я хочу рассказать вам ещё одну историю. Она заметно отличается от уже прочитанных вами. Во времена, когда произошли описываемые события, Соединённых Штатов не было как таковых. Но именно из-за этого я включил историю о женщине на ростре в цикл легенд неизвестной Америки. Ведь такие люди, как капитан Холлуэлл, стояли у основ нашей государственности — и без них эта книга никогда бы не появилась на свет.

***

Давным-давно, в середине восемнадцатого века, жил на свете человек по имени Джером Холлуэлл. Он был капитаном двухмачтового торгового флейта, курсировавшего между Новым и Старым Светом. Быстроходных клиперов в те времена ещё не было, и флейт Холлуэлла считался одним из самых скоростных судов в своём классе. Назывался корабль «Магдалина».

Несмотря на слабое вооружение, «Магдалина» всегда успешно преодолевала заданный торговый маршрут. Ни пираты, ни шторма не мешали ей доставить в Нью-Йорк груз чая, кофе или шерсти из Ливерпуля. Дело Джерома Холлуэлла процветало, и он подумывал прикупить второй корабль, обосноваться на суше и управлять своей небольшой торговой компанией, не поднимаясь более на палубу. Но в 1770 году произошло событие, которое разрушило все его планы и чаяния.

Холлуэлл, как и прочие капитаны, хорошо знал, что корабль не может плыть без соблюдения определённых ритуалов. Древние викинги, спуская на воду корабль, клали под киль связанного пленника; корабль, омытый его кровью, имел меньшие шансы затонуть, нежели спущенный на воду без соблюдения традиций. Точно так же сегодня о борт нового судна разбивают бутылку шампанского.

История умалчивает, как освящал свой корабль Холлуэлл при спуске на воду. Но все знали, что капитан серьёзное значение придаёт ростральной фигуре женщины под бушпритом. Перед каждым плаванием он спускался на подвесе с гальюна и что-то шептал на ухо Магдалине — матросы не сомневались, что ростральная фигура носит то же имя, что и весь корабль. И плавания проходили успешно — одно за другим, одно за другим.

На самом деле, никто не знал секрета женщины под бушпритом. Джером Холлуэлл тщательно хранил эту тайну и ни разу за свою жизнь не обмолвился и словом. И был он совершенно прав, потому что об этом рассказывать нельзя никому и никогда. Разве что вам, моим читателям, я открою секрет женщины на носу «Магдалины».

Много лет назад, когда деревья были большими, юный матрос Холлуэлл сошёл с борта торгового галеона в порту Ливерпуль и ударился во все тяжкие. Он, уроженец Бостона, никогда до того не бывал в Старом Свете и потому быстро опьянел от возможности посмотреть на другой мир, покуролесить с местными дамочками и надраться в портовых кабаках старой доброй Англии. Корабль стоял в порту чуть более недели. В первые же два дня юный Холлуэлл промотал все имевшиеся у него деньги. Наилучшим способом вернуть хотя бы часть их Джерому показалась игра в кости. Поэтому он отправился к местному ростовщику и одолжил у него фунт под залог золотого колечка, подаренного матерью в качестве талисмана.

Конечно, он проиграл, причём вовсе не фунт, а целых пять. Где взять такую сумму, юный Холлуэлл не знал и попытался сбежать, не расплатившись. Его поймали и поставили условие: вернуть всё до завтрашнего дня. Кредитор знал о том, что Холлуэлл — матрос, и знал название его галеона. А за азартные игры капитан мог матроса и вовсе уволить. Поэтому у кредитора был надёжный козырь: в случае чего он просто доносил капитану о портовых приключениях подчинённого.

Утром следующего дня Холлуэлл сидел у какого-то забора, погружённый в тяжкие думы. Он напряжённо размышлял, у кого можно одолжить пять фунтов — по тем временам совершенно безумную сумму. Даже собрать её по частям за сутки не представлялось возможным. Судьба явилась неудачливому игроку в лице юной леди по имени Магдалина Рэйфорт. Дочь богатого торговца, она гуляла с подругой и гувернанткой по той самой улице, куда ночью забрёл Холлуэлл. Девушке понравился симпатичный молодой человек с грустными глазами, и она окликнула его. Гувернантка смотрела на происходящее, поджав сухие губы, но две девушки нашли в Джероме замечательного собеседника, интереснейшим образом рассказывавшего о далёкой и загадочной Америке.

В результате этого знакомства к вечеру у Холлуэлла было целых семь фунтов, насильно врученных ему после того, как девушки узнали о его финансовых затруднениях. Холлуэлл отдал долг, выкупил кольцо и поклялся больше никогда не играть в азартные игры. Слово своё он сдержал.

В том году он совершил ещё несколько плаваний через Атлантику и не раз бывал в Ливерпуле. Ни одно посещение этого города не обходилось без встречи с Магдалиной Рэйфорт. Молодой человек решил остаться в Англии и поступить в морское училище, чтобы стать офицером — не всю же жизнь в матросах оставаться. Морской опыт был ему на пользу. Он нашёл работу в городе, а ещё через полтора года женился на Магдалине. Казалось, жизнь Джерома пошла на лад. У него была прекрасная молодая жена (и обеспеченная, что немаловажно), ему светила блестящая морская карьера.

Так прошло десять лет, и тридцатилетний Джером Холлуэлл стал капитаном торгового судна. Принадлежало оно, как нетрудно догадаться, отцу Магдалины, который решил помочь карьере зятя. Джером получил в своё распоряжение новенький корабль — двухмачтовый флейт. Строили судно два года, причём внутреннюю обстановку кают, вооружение, украшения заказывал лично Холлуэлл — как ему самому нравилось. Отец Магдалины оплачивал постройку. Да, к тому времени у четы Холлуэллов было уже двое детей — мальчик девяти лет и девочка пяти.

Но в 1750 году на город обрушился тиф. В те времена от тифа вылечиться было практически невозможно, и уже через неделю после начала эпидемии Эмилия, дочь Холлуэлла, умерла. Через некоторое время за ней последовал и сын, а потом симптомы обнаружились и у Магдалины. Джером делал всё, что мог. Корабль простаивал в порту, Джером нанимал лучших врачей — всё было тщетно. Капитан Холлуэлл терял то, ради чего имело смысл жить.

Незадолго до смерти Магдалина взяла со своего отца и с мужа по одному обещанию. Оба должны были держать свои обещания в тайне вплоть до смерти женщины. После того как она умерла, отец обнародовал то, что должен был сделать, — и сделал это. Он подарил флейт своему зятю и предоставил небольшой начальный капитал для основания собственной торговой компании. Капитан тут же переименовал корабль в «Магдалину».

Обещание же Холлуэлла было более изощрённым. За несколько дней до смерти Магдалины он обратился к лучшему в Ливерпуле мастеру по дереву Маркусу Вэрни и заказал для своего корабля ростральную фигуру с лицом Магдалины. Фигура была изготовлена за месяц, и флейт обрёл новое носовое украшение.

Незадолго до первого плавания «Магдалины» в качестве независимого торговца могила женщины, давшей кораблю своё имя, подверглась разграблению, а тело — надругательству. Семья несчастной объявила награду за голову негодяя, и через

несколько дней какой-то бродяга признался в том, что он выкопал тело в надежде на то, что женщину из богатой семьи похоронили вместе с драгоценностями. Зачем он изуродовал тело ножом, бродяга ответить не смог. Его повесили в тот же день. Со времени похорон до момента надругательства прошла неделя. Деревянная женщина была в работе.

И всё пошло своим чередом. Двадцать лет плавал капитан Холлуэлл между двумя частями света, и каждый рейс его был успешен, и все его товары легко продавались, и никогда корабль его не трогали ни бури, ни пираты. Каждый новый матрос, поступавший на «Магдалину», сначала удивлялся странному обычаю капитана беседовать с ростральной дамой, но затем привыкал. Тем более что Холлуэлл был строгим, но справедливым и щедрым.

Уже через пять лет он мог купить второй корабль, но предпочитал класть заработанные деньги в банк, а не расширять бизнес. Он пребывал в стойкой уверенности, что ни один корабль его компании, ведомый другим капитаном, не перенесёт первого же плавания.

Двадцать лет Джером Холлуэлл плавал по морям. Отец его покойной супруги тем временем попал в серьёзную долговую кабалу и умер от разрыва сердца; его предприятие досталось кредиторам. К тому времени Холлуэлл уже твёрдо стоял на своих ногах. Все отношения с семьёй покойной жены он прекратил.

И вот наступил 1770 год.

К тому времени отношения между Англией и её американскими колониями были весьма натянутыми. Легендарный акт о гербовом сборе был несправедлив к жителям Нового Света — и народный протест вынудил англичан отменить его. Тем не менее, в 1767 году Англия обложила ряд ввозимых в Америку товаров совершенно нечеловеческими пошлинами, в том числе и чай, которым торговал Холлуэлл. Американцы ответили агитацией за неупотребление облагаемых пошлиной товаров, но без чая прожить всё-таки не могли. Прибыли от торговли чаем росли с каждым днём. Решающую роль играла скорость и объёмы поставок. Быстрый флейт Холлуэлла со своей задачей справлялся отлично.

То плавание, о котором пойдёт речь, началось 16 июня 1770 года в Ливерпуле. Загруженный под завязку корабль вышел из порта, обогнул Ирландию и направился в открытый океан.

В этот раз на судне были пассажиры. Для подобных целей Холлуэлл всегда имел пару хорошо обставленных кают по соседству с капитанской. Богатые путешественники готовы были заплатить любые деньги за путешествие в Новый Свет или

обратно, и почти все капитаны трансатлантических рейсов этим пользовались. Пассажиров было трое — двое мужчин и девушка по имени Грэйс Ричардсон. Один из мужчин, Ланселот, был женихом Грэйс, второй, Гилберт, — её двоюродным братом. Все трое плыли в Америку к отцу Гилберта, мистеру Грэму Ричардсону, который держал там неплохой бизнес по поставке стекла, меди и других материалов с одного континента на другой. Сам Гилберт жил с матерью в Англии и не торопился переезжать к отцу: нужно было ещё получить образование. Тем не менее трое молодых людей решили предпринять двухмесячное путешествие в Америку с туристическими целями.

Грэйс была очень красива, легка в общении, смешлива. Вся команда была от неё без ума. Двое её спутников не отходили от девушки ни на шаг. Впрочем, даже матросов Холлуэлл подбирал сам, не говоря уже о старпоме или боцмане, и за хорошие манеры и вежливость своих подчинённых мог ручаться головой.

Члены команды всячески старались ублажить мисс Грэйс. Ей рассказывали разные морские байки (причём Ланселот постоянно хмурился из-за несколько пикантного содержания последних), для неё играли на музыкальных инструментах, показывали матросские танцы. А Джером Холлуэлл незаметно для себя влюбился. Он постоянно общался с Грэйс, приглашал её отужинать в его каюте (конечно, вместе с Ланселотом и Гилбертом), оказывал ей всяческие знаки внимания, дарил мелкие сувениры. Ланселот не видел повода для ревности: капитану минуло уже полвека.

Холлуэлл думал иначе. Ему нисколько не мешало присутствие жениха девушки, и он с каждой минутой вёл себя всё развязнее. Впрочем, разумом он понимал, что есть граница, дальше которой заходить нельзя. И потому всегда вовремя останавливался.

Но самое странное, что Грэйс в какой-то мере отвечала стареющему капитану взаимностью. Она легко принимала его знаки внимания и смотрела на него не так, как смотрят на интересного собеседника или просто приятного человека. Она смотрела на него, как на мужчину. Изнеженный, утончённый Ланселот, пусть и на двадцать лет моложе, проигрывал сражение за женщину матёрому морскому волку.

Так продолжалось пять дней, а на шестой грянул шторм.

Сначала небо заволокло тучами, потом волнение усилилось и солёные волны начали перехлёстывать через борта флейта. В это самое время капитан показывал Грэйс и её кавалерам свою коллекцию курительных трубок, которые он покупал в разных портах, где причаливал его корабль. Мужчинам он подарил

каждому по трубке, а Грэйс — изящный кулон на золотой цепочке. Когда-то, давным-давно, кулон принадлежал Магдалине.

Шторм усиливался с каждой минутой. Капитан не забывал о своих непосредственных обязанностях и, покинув пассажиров, отправился на палубу. Грэйс и мужчин он попросил вернуться в каюты и держаться за какой-либо предмет мебели, чтобы не пострадать от сильной тряски.

Началась гроза. Молнии сверкали чуть ли не ежесекундно, где-то раздавался отдалённый гром. В то время как матросы под командованием помощника капитана пытались убрать паруса, Холлуэлл поднялся на гальюн, привязал себя канатом к какому-то крюку на палубе — и стал спускаться к ростральной фигуре. Кто-то из матросов заметил это, но его крики тонули в грохоте шторма. Он показывал пальцем на капитана, и через несколько секунд вся команда уже знала, что Холлуэлл чудит.

Шторм не затихал. Через некоторое время насквозь мокрый капитан, придерживая ушибленную правую руку, с трудом выбрался на палубу. Два матроса помогли ему. По кораблю можно было ходить, лишь согнувшись в три погибели, а проще было и вовсе ползать. Кого-то из матросов уже недосчитались.

И тут раздался крик: «Земля!»

Но это была не совсем земля. Это были скалы, и «Магдалину» несло точно на них. Оба помощника капитана изо всех сил пытались отвести корабль от беды, но штурвал не поддавался. Лишь сила третьего человека, Холлуэлла, позволила чуть изменить курс корабля, несущегося на рифы.

Через несколько секунд «Магдалину» тряхнуло так, что некоторые перекрестились и приготовились отдать богу душу. Оказалось, что корабль развернуло, и носовой частью он «проехался» по скале, обломав бушприт, болтавшийся теперь на канатах, тянущихся от парусов. И ещё корабль лишился носового украшения в виде женщины.

Увидев это, Холлуэлл упал на колени. Скалу «Магдалина» всё-таки обогнула, но теперь её носовая часть была изуродована, а буря и не думала прекращаться.

Потом капитан поднял голову, и на лице его была написана решимость. Он подозвал матроса, подвёл его к штурвалу и жестами указал: работай. Обоих помощников и боцмана он увёл с собой в каюту, оставив обезглавленный экипаж сражаться со стихией.

Совещались они не более трёх-четырёх минут. Затем четверо мужчин вышли из капитанской каюты и отправились к гостевым. В одной из них жили Ланселот и Гилберт, в другой — Грэйс. Капитан открыл дверь мужской каюты, достал пистолет и с ходу

выстрелил Ланселоту в грудь. Помощник подал Холлуэллу второй пистолет, и тот застрелил Гилберта, тщетно пытавшегося заслониться от пули руками.

Потом все четверо вломились в каюту Грэйс и выволокли оттуда брыкающуюся девушку.

То, что они сделали после, с трудом поддаётся пониманию. Они протащили Грэйс на гальюн, обвязали верёвкой, после чего боцман остался наверху, а капитан и его помощники спустились вниз, к обломкам носовой части. Матросы смотрели на это действо с круглыми глазами, но было не до возражений: бушевал шторм, корабль страшно болтало, капитан и помощники раскачивались на своих канатах, но продолжали претворять задуманное в жизнь.

Они привязывали девушку к обломкам бушприта — точно на место деревянной Магдалины. Грэйс к этому времени потеряла сознание.

На палубу вернулись только двое — младшего помощника капитана забрала стихия. В то время как матросы пытались что-то сделать, капитан Холлуэлл встал на носу корабля и начал шептать что-то вроде молитвы.

И как бы странно это не звучало, волнение начало потихоньку спадать. Ветер перестал мотать корабль из стороны в сторону, а затем притих и стал попутным. На горизонте появилась тонкая полоска чистого голубого неба. Корабль плыл дальше.

Так прошёл день, и ночь, и снова день. Матросы ничего не спрашивали, лишь старались не смотреть на нос корабля, где, изувеченная стихией, но ещё живая, к бушприту была привязана Грэйс Ричардсон.

До конца плавания с «Магдалиной» не случилось ничего плохого. Ветер всё время был попутный, волнения не наблюдалось, небо оставалось ясным. Когда один из матросов заикнулся о том, что девушке нужно дать попить, а то и вовсе отвязать её, капитан посмотрел на него дикими глазами и спросил: «Ты хочешь погибнуть?»

А потом «Магдалина» вошла в порт Бостона. Она плыла между других кораблей, и матросам было страшно, потому что предмет, который болтался у судна под бушпритом, попахивал судом и серьёзным наказанием.

Как только флейт пришвартовался, помощник капитана и боцман бросились снимать тело девушки. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что она — истерзанная, изломанная, несколько дней не получавшая воды и пищи — жива. Её сняли с бушприта и положили на палубу. Капитан Холлуэлл

склонился над ней и сказал: «Прости меня».

Потом он спустился в свою каюту, зарядил пистолет и пустил пулю себе в рот. Но когда он ещё шёл вниз, она едва слышно спросила: «Дошли?»

«Да», — ответил помощник капитана.

Грэйс слабо улыбнулась и испустила дух одновременно с выстрелом, раздавшимся из каюты.

Что же такого сказал капитан Холлуэлл своим помощникам за те считаные минуты в каюте? Какую тайну он скрывал от всех?

Когда Магдалина умирала, она попросила его лишь об одном.

«Если я не могу быть с тобой как жена, я буду с тобой как талисман, — сказала она. — Когда я умру, закажи деревянную ростральную фигуру женщины с моим лицом, потом вырежи моё сердце и помести его внутрь фигуры. Моё сердце всегда будет биться, а деревянная женщина будет оберегать тебя в плаваниях».

Холлуэлл поступил точь-в-точь, как попросила жена. К сожалению, у него не получилось извлечь сердце Магдалины до похорон: пришлось надругаться над могилой. По его заказу была изготовлена деревянная фигура с полостью внутри. Туда в специальном сундучке было помещено сердце Магдалины Холлуэлл. Двадцать лет это сердце вело корабль через все невзгоды и шторма, двадцать лет оно охраняло судно, не подпуская пиратов и принося капитану Джерому коммерческий успех. Но когда он неожиданно встретил Грэйс Ричардсон, Магдалина поняла, что капитан забывает о ней. И отказалась нести свою ношу.

Никто не знает, о чём разговаривал капитан Холлуэлл с ростральной фигурой на носу «Магдалины». Но когда вокруг грохотала буря, когда буруны захлёстывали корабль, сметая матросов с палубы, он понял, что вести флейт дальше может только женщина, неравнодушная к капитану. И капитан должен быть неравнодушен к ней. Сложно сказать, как он убедил в этом своих помощников и боцмана. Возможно, просто отдал приказ, а приказы капитана не обсуждаются, да ещё и в таких условиях.

Ценой жизни Грэйс Ричардсон капитан Холлуэлл спас корабль и команду, но сам, конечно, не мог перенести совершённого преступления. Сложно сказать, как дальше жили старпом и боцман. Скорее всего, они уволились и больше никогда не поднимались на палубу судна. Матросы ушли с «Магдалины» в день прибытия в порт; корабль был пущен на слом.

Через три года после последнего плавания капитана Холлуэлла произошло знаменитое «Бостонское чаепитие», которое стало первым громким протестом американских колонистов против английского господства. Годом позже в

Филадельфии прошёл Первый Континентальный конгресс, на котором было принято решение о создании независимой американской армии, а ещё год спустя началась война за независимость. Но ничего этого капитан Холлуэлл уже не видел.

Говорят, что в прибрежных водах Восточного побережья и по сей день можно увидеть призрачный флейт, на носу которого вместо деревянной фигуры привязана живая женщина в развевающемся платье. Её руки неестественно выкручены, её лицо обветрено, волосы спутаны, на теле — синяки и ссадины. Но она смотрит вперёд, гордо подняв голову, и ведёт свой корабль сквозь шторма и бури безбрежного Атлантического океана.

***

Эту историю я услышал в 1951 году в одной из многочисленных портовых забегаловок Бостона. Её рассказал мне старый моряк, который, в свою очередь, слышал её ещё в начале двадцатого века от другого старого моряка, и так далее. Два с лишним века эта история гуляет по морю и суше, изменяясь с течением времени, обрастая всё новыми деталями, эпизодами, подробностями. Я решил записать её, но тоже не уверен в том, что запомнил всё в точности, как рассказывал мой собеседник. Впрочем, это неважно. Фольклор тем и интересен, что он видоизменяет реальность до состояния полной неузнаваемости, что он собирает факты, обращая их в легенды.

За два с лишним года я успел забыть многие детали истории про девушку на ростре. Но в середине 1953 года я ехал с одного побережья на другое на поезде и познакомился с пожилым джентльменом, который рассказал мне один занимательный случай из его практики — историю о гениальном изобретателе и мошеннике Уильяме Холмане. Добравшись до Нью-Йорка, я недорого купил подержанную печатную машину и записал обе истории — и свежую, пока она не стёрлась из памяти, и первую, про капитана и девушку. Причём первую я записал от имени рассказчика — мне показалось, что так лучше.

Именно тогда я понял, что мне это нравится. Нравится слушать и записывать. И я начал свою титаническую полувековую работу. Я разговаривал с дальнобойщиками, с официантами, с держателями заправочных станций, циркачами и полицейскими, со стариками в домах престарелых, с коммивояжёрами и инженерами, я ездил по Америке и собирал, собирал, собирал истории. Жил я случайными приработками, оседая в одном городе не долее чем на месяц-другой.

Люди рассказывали мне о разном. Для кого-то самым

значимым и удивительным событием в жизни был выпускной бал, для кого-то — бейсбольный матч, в котором победила любимая команда, у иных не было ничего значительнее похода в кино на премьеру очередного блокбастера. Многие люди, заслышав, что я пишу книгу, старались выдумать что-либо откровенно фантастическое. Некоторые из этих историй мне настолько понравились, что я не преминул включить их в свою антологию.

Как ни странно, мне никогда не хотелось выехать за пределы своей страны, хотя во многих историях фигурировали другие государства. Моих трёх с половиной миллионов квадратных миль вполне хватало — и хватит ещё надолго.

Я родился в первый год Великой депрессии, но голодные годы прошли для меня легко. Отец имел небольшой бизнес, который позволил нашей семье продержаться на плаву в то страшное время. Потом была война в Европе, потом несколько лет поисков себя, а потом наступили счастливые дни. Вечная дорога, ни близких друзей, ни заклятых врагов — только мимолётные знакомства, разговоры за чашкой кофе, да всего имущества — рюкзак за спиной. Так проходил год за годом. После смерти моих родителей мне достался их дом и банковский счёт, но я не торопился оседать на месте. Впереди были новые дороги, штаты и истории.

И я постоянно двигался вперёд, переезжая из города в город. Поезда, автомобили, самолёты стали моим домом. А истории — моим вторым «я». Если оформить всё мной собранное и издать, то получится собрание сочинений объёмом в сотню томов.

Шли годы. Минули пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Я поседел, волосы мои начали редеть, кожа стала портиться, и я понял, что молодость прошла. А ведь мне казалось, что я вечно буду молодым, вечно буду, подобно Тилю Уленшпигелю, странствовать по своей земле, превращаясь в её дух. Только со мной не было Неле — сердца Америки. И я старел.

Я смотрю за окно и вижу совсем другую страну. Вовсе не ту, по которой я начинал странствовать полвека назад. Я вижу людей, которые не знают, что такое книга, и правительство, которое неспособно принять сколь угодно серьёзное решение, я вижу, как автомобили становятся маленькими, как нашу страну наводняют эмигранты, ленящиеся учить наш язык, — и понимаю, что Америка здесь ни при чём. Точно так же изменяется весь мир. То же самое творится в России, Франции, Китае, Турции, Германии, неважно. Я никогда не бывал там — и никогда уже не побываю, но мне кажется, что у меня есть право на обобщение.

Через два года я разменяю девятый десяток. Я надеюсь, что к тому времени эта книга уже выйдет. В любом случае я не буду

сидеть в книжных магазинах и проводить автограф-сессии. Я сяду на свой старый «Понтиак» и поеду дальше, потому что пока есть я, пока есть Америка, пока Земля ещё вертится, будут новые истории, будут новые люди и новые впечатления.

Я люблю эту страну. Я хочу, чтобы вы хотя бы на время прочтения попытались посмотреть на Америку моими глазами. На мою, неизвестную вам Америку.

А я поеду дальше, потому что где-то есть Америка, пока что неизвестная мне.

Авторские комментарии к новеллам

Россия, тридцать шестой

Некоторые события, описанные в рассказе, имели место на самом деле, например, Московский международный кинофестиваль, «Весенний фестиваль» в Спасо-Хаусе (и случай с Карлом Радеком, шампанским и медвежонком в частности) и так далее. На ранней стадии американо-советского сотрудничества (1933–1935) заокеанские дипломаты почти бесконтрольно передвигались по Москве, слежка за ними была незаметной, а вмешательство вообще не допускалось во избежание ухудшения едва налаженных отношений. Утрируя, можно сказать, что вплоть до конца сороковых американцы воспринимались не как враги, а скорее как друзья. С середины пятидесятых восстановленные в правах бывшие узники сталинских лагерей действительно могли получить доступ к своим делам. Наиболее известным подобным прецедентом был случай, когда писатель Роберт Штильмарк добился предоставления ему текста написанного им в лагере и затем конфискованного романа — и опубликовал его «на воле».

Литвинов, Максим Максимович (настоящее имя — Меер-Генох Моисеевич Валлах) (1876–1951) — советский государственный деятель, дипломат. С 1930 по 1939 годы возглавлял наркомат иностранных дел СССР.

Буллит, Уильям (1891–1967) — американский дипломат, первый посол США в Советском Союзе (1933–1936), позже был послом США во Франции.

Тейер, Чарльз (1910–1969) — американский дипломат, начинал карьеру в качестве персонального секретаря и переводчика Уильяма Буллита при американском посольстве в Москве.

Крестинский, Николай Николаевич (1883–1938) — советский политический деятель, при Ленине — нарком финансов, впоследствии также занимал ряд видных должностей. Расстрелян.

Радек, Карл Бернгардович (1885–1939) — советский политический деятель и революционер, знаменитый острослов и шутник, рассказывавший Сталину анекдоты о Сталине. Убит в тюрьме.

Дэвис, Джозеф Эдвард (1876–1958) — американский

дипломат, второй посол США в Советском Союзе (1936–1938), единственный американец, награждённый орденом Ленина.

Последняя гонка Рэда Байрона

Все факты биографии Рэда Байрона соответствуют действительности, кроме того, что его жена была беременна, когда японцы подбили самолёт. Байрон действительно отлетал 58 миссий на B-24, действительно привязывал ногу к педали газа бечевой, действительно умер от сердечного приступа в чикагской гостинице. Манера пилотирования Рэда Байрона описана по воспоминаниям современников. Любительские гонки подобного плана проводятся в США и по сей день.

Байрон, Роберт (Рэд) (1915–1960) — знаменитый американский автогонщик и герой войны, первый чемпион серии NASCAR (1949).

Мэйресс, Вилли (1928–1969) — бельгийский автогонщик, победитель гонки «Тарга Флорио» 1962 года. Покончил с собой из-за невозможности участвовать в гонках по состоянию здоровья.

Стэйли, Гвин (1927–1958) — американский автогонщик, одержал несколько побед в NASCAR, погиб в гонке кабриолетов.

Уильямсон, Роджер (1948–1973) — британский автогонщик, трагически погибший во время своего второго в карьере Гран-при Формулы-1.

Пэрли, Дэвид (1945–1985) — британский автогонщик, известен в первую очередь попыткой спасти из горящей машины своего друга Роджера Уильямсона. Сам погиб в авиакатастрофе.

Ковёр из женских волос

История с алмазом «Куллинан» и его предполагаемой «второй половиной» — чистая правда; загадочный алмаз искали многие авантюристы, но так и не нашли. Виктория Сазерленд в солидном возрасте действительно вышла замуж за 19-летнего проходимца, но про него почти ничего не известно. Правдива и история о «подмене» умершей Наоми Сазерленд некой Анной Луизой Робертс (сохранилась даже фотография последней). Украшения интерьера, сплетённые из женских волос и в самом деле были весьма популярны в Викторианскую эпоху, существуют целые музеи подобных артефактов. Концлагерь Дахау действительно был взят американцами, после чего те, ошеломлённые и возмущённые увиденным, расстреляли порядка 500 сдавшихся в плен немецких солдат.

Сёстры Сазерленд: Сара (1845–1919), Мэри (1846–1939), Виктория (1849–1902), Изабелла (1852–1914), Грэйс (1854–1946), Наоми (1858–1893), и Дора (1858–?) — популярные во второй половине XIX века американские красавицы, прославленные своими длинными роскошными волосами. Выступали в цирке Барнума и Бейли, владели крупным бизнесом по производству средств по уходу за причёской.

Шкатулка с пряностями

Пожалуй, это одна из немногих новелл, не имеющих под собой реальной исторической почвы. Разве что описание Сан-Антонио соответствует действительности — и музей МакНей, где хранится великолепное собрание работ Диего Риверы, и Всемирная выставка 1968 года.

Офицеры Рейха

История Уильяма Гровера целиком и полностью соответствует действительности — от его побед в гонках до предполагаемой смерти в лагере Заксенхаузен. Даже анекдот о том, как они с женой ездили по Монте-Карло, — правда. Джордж Тэмбэл также существовал на самом деле; он жил с Ивонн Гровер, и британская разведка до конца его жизни (он попал под машину в 1983 году) следила за ним, подозревая, что он и Гровер — одно и то же лицо. Все надзирательницы, названные любовницами Кальцена, работали в Равенсбрюке. Собственно, все упомянутые немцы, помимо Кальцена, являются историческим личностями. Все перечисленные автогонки действительно имели место.

Каше, Зигфрид Карл Виктор Йоханнес (1903–1947) — немецкий дипломат, посол Германии в независимом государстве Хорватия, несостоявшийся рейхскомиссар Московии. Повешен по обвинению в военных преступлениях.

Шварцгубер, Иоганн (1904–1947) — оберштурмфюрер СС, начальник мужского отделения в лагере Биркенау, также работал в качестве специалиста по уничтожению в Равенсбрюке. Повешен.

Грезе, Ирма Ида Ильза (1923–1945) — надзирательница нацистских лагерей смерти Равенсбрюк, Аушвиц и Берген-Бельзен, известная своей красотой и жестокостью. Повешена.

Пфанненштиль (Валлиш), Эрна (1922–2008) — надзирательница нацистских лагерей смерти Равенсбрюк и Майданек, избежала наказания, была обнаружена незадолго до

естественной смерти.

Нойманн, Хильдегард (1919–?) — надзирательница нацистских лагерей смерти Равенсбрюк и Терезиенштадт. В 1945 году сумела скрыться от правосудия. Поймана так и не была.

Гровер-Уильямс, Уильям (1903–1945?) — франко-британский автогонщик, звезда довоенных Гран-при, многократный победитель различных гонок. Добровольцем ушёл на войну, работал во французском Сопротивлении, был взят в плен и пропал без вести (вероятнее всего, расстрелян немцами в лагере Заксенхаузен).

Наследие мистера Джеймса

Все упомянутые в новелле грабители (кроме, конечно, главного героя) жили и действовали на самом деле. Описание вагонов, гранат и прочие технические тонкости соответствуют действительности, так же, как планировка вокзала Питтсбурга и схема железнодорожных путей, описанная в новелле.

Джеймс, Джесси Вудсон (1847–1882) — знаменитый американский грабитель, один из руководителей банды Джеймса-Янгера. С 1866 по 1881 год организовал 24 вооружённых ограбления.

Форд, Роберт (1862–1892) — американский преступник, известный в первую очередь тем, что убил Джесси Джеймса — в спину, гостя у последнего в доме, из подаренного им же пистолета.

О'Келли, Эдвард (1858–1904) — американский преступник, мелкий бандит, известный тем, что убил Роберта Форда, чтобы отомстить за смерть своего кумира, Джесси Джеймса.

Джеймс, Фрэнк (Александр Франклин) (1843–1915) — американский грабитель, брат Джесси Джеймса и постоянный участник его банды. Под конец жизни зарабатывал тем, что водил экскурсии по местам «боевой славы».

Господин Одиночество

Как и «Шкатулка с пряностями», рассказ «Господин Одиночество» основан исключительно на моей фантазии, реальны разве что упомянутые чемпионы НХЛ. На самом деле между городами Мидуэст и Кейси (штат Вайоминг) никаких других населённых пунктов нет.

Хитроумный Холман

История, описанная в рассказе, имела место на самом деле; это одна из самых известных американских афер конца XIX века. Патент на листер действительно получен Холманом в 1926 году — это его последний патент. Правда, главного инженера Baldwin Locomotive Works звали вовсе не Слейтер, но это не слишком-то важно.

Холман, Уильям Дженнингс (около 1835 — после 1926) — известный американский изобретатель и аферист. В конце XIX века прославился несколькими курьёзными патентами в железнодорожной отрасли, принесшими ему большие деньги.

Окно на шестом этаже

Официальной версии убийства Джона Фицджеральда Кеннеди ни одно описанное в рассказе событие не противоречит. Одна из теорий заговора (расследование Джона Гаррисона) и в самом деле обнаружила в убийстве «кубинский след». Имеются также подозрения, что был и второй стрелок, находившийся именно в той точке, которая описана в рассказе. Байку про «отчество» дочери рассказывал друзьям сам Ли Харви Освальд, она фигурирует в книгах о нём. Непосредственного начальника Освальда действительно звали Рой Трули.

Освальд, Ли Харви (1939–1963) — подозреваемый в убийстве президента США Джона Фицжеральда Кеннеди. Вина или невиновность Освальда так и не были доказаны ввиду смерти последнего от пули Джека Руби.

Филлипс, Дэвид Этли (1922–1988) — американский спецагент, руководитель операций ЦРУ на Кубе, куратор американских антикастровских движений.

Монолог охотника за привидениями

Рассказ написан по мотивам моего одноименного стихотворения. Города Бокс Элдер и Рапид-Сити действительно существуют, все названия улиц соответствуют реальным. Аэрокосмический музей в Бокс Элдере — одно из самых известных подобных заведений в США. История о трубе, которая стучала в холодные ночи, — сущая правда; её описывал в одной научно-

популярной книге настоящий охотник за привидениями.

Вэрик

Картина Алекса Каца «Вэрик», город Дэвид-Сити и школа Перкинса для слепых в Уотертауне действительно существуют. Детектив Ги де Кара «Чудовище» рекомендован к прочтению не только героем рассказа, но и мной лично.

Кац, Алекс (род.1927) — знаменитый американский художник и скульптор, чаще всего работает в стиле поп-арт.

Несгибаемые

Город Бойсе существует на самом деле, и там действительно имеется Капитолий. Правда, балисонги до Второй мировой войны в США вряд ли были, поэтому пришлось «отправить» Блэйда на Филиппины — уж очень хотелось, чтобы он красиво играл с ножом на протяжении рассказа.

Фотограф

Это «американская» версия рассказа. Также он существует в «немецкой» версии, где действие происходит в Берлине. Никаких привязок к реальному городу в рассказе нет. Все концепции фотовыставок придуманы мной; возможно, когда-либо я сам их и реализую.

Возвращение в Нанкин

Резня в Нанкине и Батаанский марш описаны по документальным источникам, последние часы жизни Айрис Чан — по оригинальному полицейскому отчёту. Все события, за исключением путешествия Айрис в прошлое, имели место на самом деле.

Чан, Айрис (1968–2004) — американо-китайская журналистка, автор нескольких исторических книг, в том числе нашумевшей The rape of Nanking: the forgotten holocaust of World War II (1997). В последние годы жизни постоянно находилась в состоянии депрессии, покончила с собой, застрелившись из револьвера.

Сюэсэнь, Цянь (1911–2009) — знаменитый китайский учёный, участник космической программы США и основоположник космической программы Китая, создатель межконтинентальных баллистических ракет.

Мацуи, Иванэ (1878–1948) — генерал японской армии, известен взятием Нанкина в 1937 году. Повешен по обвинению в совершении военных преступлений.

Асака, Ясухико (1887–1981) — японский принц, один из командующих Центрально-Китайского фронта наряду с Иванэ Мации. Как член императорской семьи, не был судим за военные преступления против китайцев.

Тани, Хисао (1882–1947) — генерал японской армии, один из командиров Центрально-Китайского фронта. Казнён за военные преступления.

Магистрал. Женщина на ростре

Рассказ написан по мотивам стихотворения Али Кудряшевой «Выведи меня отсюда…». Легенда о живом женском сердце внутри гальюнной фигуры бытовала среди моряков многих стран, правда, в основном, европейских. К моменту описываемых событий эпоха флейтов уже завершалась, их постепенно сменяли другие типы парусных судов.